

ISSN 0132-0637

6
ОК
Т
Я
Б
О
Р
Ь

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

6 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

1997

ИЮНЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис ХАЗАНОВ. После нас потоп. Роман	3
Дмитрий ПОЛИЩУК. Цветы побежалости. Стихи	70
Ирина МУРАВЬЕВА. Рассказы	74
Игорь КЕЦЕЛЬМАН. Зоопарк. Из записок перевозчика животных	94
Владислав ОТРОШЕНКО. Два рассказа	106
Игорь МЕЛАМЕД. ...И мрак, и свет. Стихи	111
И. ОЛЬШАНСКИЙ. Семеньч на фоне земных божеств. Рассказ	113

Искусство перевода

Ромен ГАРИ. Другая игра. Рассказы. Перевод с французского М. Аннинской	123
------------------------------------------------------------------------------------	-----

Дневник писателя

Олег ПАВЛОВ. Из нелитературной коллекции	136
---------------------------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Владимир КАНТОР.
Возможно ли построить в России «град цивилизации»? **143**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

«Это светлое имя — Пушкин»

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР.
Стихи и проза. Две прогулки с памятником Пушкину . . . **162**
Александр ЛЮСЫЙ.
Ангел Утешенья. О чем беседуют фонтаны Бахчисарая? **171**
Кирилл КОБРИН.
Беглец **175**

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Бродский **181**

В стиле реплики

Дмитрий БАК.
Лавацца, белая лавацца... **185**

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Литература как времяпрепровождение **188**

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ **191**

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ**.

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина**.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 29.04.97. Подписано к печати 22.05.97. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 10 285 экз. Заказ № 1611. Цена 14 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1794 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

После нас потоп

РОМАН

Памяти другого Рубина

Crebra relinquendis infigimus oscula portis:
Inviti superant limina sacra pedes.
Oramus veniam lacrimis et laude litamus,
In quantum fletus currere verba sinit:
Exaudi, regina tui pulcherrima mundi,
Inter sidereos Roma recepta polos,
Exaudi, genetrix hominum genetrixque deorum!
Non procul a coelo per tua templa sumus.
Te canimus semperque, sinent cum fata, canemus:
Sospes nemo potest immemor esse tui.

*Rutilii Cl. Namatiani.
De reditu suo. Laudes Romae¹.*

После нас, разумеется, не потоп,
Но и не засуха.

И. Бродский

1. Птицы, или Предупреждение

Впервых числах сентября всем нам памятного года произошло необыкновенное событие. Никто не знал толком, когда это случилось, скорее общественность столкнулась с уже совершившимся фактом. А именно: несколько больших улиц вдоль западно-восточной оси города вместе с прилегающими переулками и дворами оказались загрязнены липкой зеленоватой массой, издававшей отвратительный запах; вещество, как показал анализ, было животного происхождения и содержало селитру. Малыши, празднично одетые по случаю начала занятий, не могли добраться до школы, кое-где на перекрестках забуксовавшие трамваи сошли с рельсов. В центре, от бывших Сретенских ворот к площади, переименованной в честь забытого революционера, вниз по трамвайным путям сползала тускло поблескивающая на солнце, маслянистая серо-зеленая жижа; из домоуправлений поступили сигналы о том, что на крышах обнаружены скопления в виде широких блинов; фасады общественных зданий были обезображены, тестообразная масса свисала с карнизов, шлепалась на тротуары, неслыханному осквернению подверглись памятники вождям, зловоние витало над городом.

¹ Вновь и вновь я целую ворота города, который придется покинуть. Как неохотно переступают ноги священный порог! Обливаюсь слезами, молю о прощении, воздаю хвалы, внемли, царица, моим словам, звучащим сквозь рыдания, ты, прекрасней которой нет в мире, подвластном тебе. Рим, вознесшийся к звездам! Внемли, родительница людей, родительница богов,— в храмах твоих и мы воспаряем к небу. Тебя пою и буду петь вечно, покуда жив: можно ли быть счастливым, забыв тебя...

Рутилий Клавдий Намациан. О моем возвращении! Похвала Риму. 416 год н. э. (лат.)

Недоумение, растерянность, грозные запросы начальства и невразумительные ответы низовых инстанций напоминали дни начала войны и, как в первые военные дни, сменились лихорадочно-хаотической деятельностью; посыпались приказы, телефонограммы, кто-то лишился партийного билета, кто-то был арестован, была мобилизована служба очистки, объявлен коммунистический субботник. Перепаханные добровольцы самоотверженно размахивали метлами и отколупывали скребками быстро засыхающую массу. Пожарные в сверкающих касках, стоя с брандспойтами на головокружительной высоте, обдавали маслянистыми брызгами толпящихся на мостовой зевак. Были приняты особо решительные меры по сохранению спокойствия и порядка, пресечению паники и провокационных слухов. Громкоговорители передавали бодрые марши. Газеты сообщили о трудовых подвигах рабочих на предприятиях и тружеников полей, загадочный инцидент был обойден молчанием. Перед общественными банями выстроились километровые очереди. Оттого что в городе днем и ночью бесперебойно работало несколько сот пожарных стволов, возникли перебои с водоснабжением. Переполнились водостоки. Понизился, а затем резко поднялся уровень воды в реке, и в ряде мест грязная, дурно пахнущая вода залила набережные. Старые люди ломали шейку бедра, падая на скользких тротуарах. Грузовики с солдатами, потеряв управление, сталкивались бортами. Липкое вещество присохло к решеткам, телефонным будкам, парадным подъездам, вывескам, доскам с портретами передовиков, к городскому транспорту и к одежде прохожих.

Так прошло несколько дней, и волнение начало успокаиваться, когда внезапно перед рассветом население было разбужено шумом крыльев. Затем раздался оглушительный рев моторов, свист пиротехнических ракет, стук хлопущек и других подобных приспособлений: запоздалая, но все же не совсем бесполезная мера властей. Некоторые граждане, выбежав на улицу, хлопали в ладоши и размахивали швабрами, надеясь отогнать налетчиков от своего дома. Но за одной эскадрилей следовала другая. Стало ясно, что птицы, сделав огромный круг, вернулись. Обеспокоенные шумом, они уронили новые порции испражнений и, к всеобщему негодованию, загадили Красную площадь.

Птицы происходили, по заключению специалистов, из пустынь Центральной Азии. Было высказано предположение, что они сбились с пути во время сезонного перелета: сильный юго-восточный ветер отнес вожака, а следом и всю стаю далеко от привычного маршрута. Возможно, вид высотных зданий послужил ошибочным ориентиром для птиц, которые приняли их за скалы. Эти вопросы значительно позже, когда все уже было позади, стали предметом дискуссии в ученых кругах; журнал «Вестник орнитологии» организовал представительный «круглый стол», хотя место действия по цензурным соображениям было перенесено в одну из зарубежных стран. Бомбардировка испражнениями была тайной, о которой все знали или по крайней мере слышали, и оттого она выглядела еще таинственней.

Сказанное обусловило особую трудность, на которую натолкнулись наши старания отделить достоверную информацию от домыслов и преувеличений. (Некоторые из опрошенных лиц были убеждены, что вся эта история – легенда. Близкой точки зрения, по-видимому, придерживались и органы массовой информации, в появившихся наконец сообщениях говорилось об отдельных случаях загрязнения городских объектов.) Птицы принадлежали к отряду журавлиных и ближе всего могли напомнить туранских журавлей рода *grus suslops*, хотя и для этих, почти вымерших пернатых представлялись непомерно крупными. Как могли они залететь к нам? Говоря военным языком, как им удалось проникнуть в воздушное пространство города? А где же была ПВО? Птиц не засекали радары. Самая грозная в мире авиация даже не поднялась в воздух, чтобы отразить налет. Не была ли стая специально заслана в нашу страну? Не вызвано ли изменение потоков воздуха нарушением экологического баланса планеты? Представляют ли птицы неизвестный, еще не описанный в науке вид или мутацию известных видов? Каков гормональный баланс этих оживших ископаемых?

Практический интерес представлял вопрос, что с ними делать. Взъерошенные существа с тусклыми ночными глазами, обессиленные долгими блуж-

даниями и неукротимой диареей, опустились во дворах и переулках. Любопытно, что и здесь они пытались размножаться: кое-где в укромных местах были обнаружены самки, сидящие на яйцах. Застигнутые врасплох, пробуя взлететь, они с шумом пронеслись мимо окон, задевали за пожарные лестницы, ломали ветхие водосточные трубы. Чтобы подняться в воздух, птице такого размера нужен значительный разбег. Птицы сновали по тесным дворам на длинных чешуйчатых ногах, скользили в собственном помете, хлопая крыльями, выпускали хриплые крики; временами им удавалось взлететь до уровня второго этажа, и где-нибудь за углом слышался звон стекла: это гигантский журавль с размаху всаживался клювом в витрину, где отражалось небо. Хуже всего было то, что, несмотря на полное отсутствие питания, эти существа продолжали обильно испражняться.

Хотя милиция и внутренние войска оцепили центр, им не удалось надлежащим образом справиться со своей задачей. Сотни посторонних лиц просочились на площадь. Стоя по щиколотку в грязи, толпа, как зачарованная, следила за верхолазами, которые с помощью кранов, вооружившись шлангами, пескоструйными аппаратами, раздвижными трехметровыми швабрами, пытались счистить помет с исторических башен. Более или менее успешно удалось сгрести кал с мавзолея. Невыполнимой задачей, однако, оказалась очистка кремлевских звезд. С гигантских, опрaвленных в стальную арматуру лучей из рубинового стекла, подобно чудовищным сталактитам, свисали грязные, засохшие комья. Исключительную опасность представляло вращение звезд на шарнирах вокруг опорных осей под напором ветра.

Размочить окаменевший помет не смогли бы даже многодневные проливные дожди. Это не было неожиданностью для копрологов – специалистов по экскрементам животных и птиц. Но они не решались – по понятным соображениям – высказать свои опасения вслух.

В свою очередь, начальство, хоть и прекрасно понимало опасность паники, недооценило психологию глупого населения. Хуже того, руководство не учло громадного политического и национального значения звезд. Граждане столицы привыкли к сиянию малиновых светил в вечернем небе, и не просто привыкли; можно сказать, что искусственное неугасимое созвездие раз и навсегда утвердилось в умах астрологию надежно предугадающего будущего. Вот почему народную душу так тяжело поразило временное отключение сверхмощных ламп в тысячу свечей. И то, что затем произошло, представляло собой уже вполне очевидный и несомненный плод расстроенного народного воображения; упомянуть этот эпизод можно разве только для полноты рассказа.

Говорили, что в полночь раздался грохот. Якобы этот грохот слышали во всем старом городе, в пределах бывшего Бульварного, отчасти и Садового кольца. Эхо разнеслось еще дальше, докатилось до окраин, где его приняли за рокот непогоды. Гром повторился через две-три минуты. Некоторым жителям послышался звон стекла, почудился звук чего-то лопнувшего. Кое-кто клялся, что видел молнию короткого замыкания. После чего, как утверждают, наступила зловещая тишина. На рассвете люди высыпали на улицы. К этому времени все главные улицы, все радиусы столицы были перегорожены грузовиками, на перекрестках выставлены конные пикеты, проходные дворы перекрыты, чердаки заняты милицией и войсками. Шепотом, под большим секретом, со ссылками на осведомленных знакомых, будто бы узнавших об этом из надежного источника, из уст в уста передавалось, что звезды, каждая весом в тонну, накренились и, не выдержав тяжести, сверзились со своей державной высоты. Население с ужасом внимало этим известиям.

Оценить в полном объеме экологические и санитарные последствия воздушного бесчинства невозможно; государственное телеграфное агентство сочло необходимым в специальном сообщении опровергнуть ложные провокационные слухи, как принято было в то время называть разного рода прискорбные происшествия; результаты анализов питьевой воды не были опубликованы; наши выводы отнюдь не претендуют на полноту, наши догадки в значительной мере основаны на эмпирических наблюдениях. Так, усилилась общая нервозность населения. По ничтожному поводу вспыхивали ссоры в публичных мес-

тах; столкновения в очередях, в коридорах государственных учреждений, в магазинах и кинотеатрах, на остановках городского транспорта стали характерной чертой повседневной жизни, матерная брань не стихала в пригородных поездах, в автобусах и вагонах метро, спор из-за свободного места, точнее, из-за нехватки мест мгновенно перерастал в идеологическую схватку; мировоззрения и поколения то и дело скрещивали шпаги. Инвалиды поносили здоровых, старики — молодежь. Город ненавидел деревню, деревня отвечала ему тем же. Жители столицы называли приезжих паразитами, обвиняя их в том, что они скупают продовольствие, чтобы перепродать его в своих дырах. Приезжие осыпали ругательствами горожан за то, что они объедают деревню. У женщин, казалось, не было худших врагов, чем мужчины — пьяницы и лоботрясы. В свою очередь, мужчины дружно называли всех женщин шлюхами.

Каждый выступал в защиту государственных интересов, от имени народа. Каждый грозил другому расправой, и все вместе уличали друг друга в том, что они евреи. Неизменным пунктом и центральной темой попреков было уклонение от работы. Дискуссия о том, что никто не хочет работать, что народ распустился, что бездельников надо наказывать по всей строгости закона, а не так, как это делалось до сих пор, посвящались нескончаемые часы и дни. В сущности, о том же размышляло и руководство на своих тайных заседаниях. Об этом — о всеобщем и удручающем нежелании работать — неутомимо напоминали газеты на присущем им языке, когда с ликованием возвещали о новых трудовых победах. Образовались особые профессии покрикивателей и погонял, целые ведомства истощали свое хитроумие в попытках заставить нерадивый народ работать, хоть и сами подчас нуждались в понукании. Поистине это была какая-то всеобщая болезнь. Подозревали, и не без основания, что это инфекция.

В тот год многими овладел беспричинный страх. Многих посещали видения. Предположение о том, что в помете птиц содержались галлюциногенные вещества, не кажется нам фантазией ввиду многочисленных сообщений о ночных кошмарах. Апокалиптические вести потрясали воображение; в небесах реяли летающие тарелки; упал урожай зерновых; вспомнили Нострадамуса; размножились секты; увеличилось число гадателей и ясновидящих, лунатиков, вылезавших на крыши, и людей, беспрестанно говоривших сами с собой. Тихая панника, мечта о бегстве завладели умами.

Видимо, дало о себе знать кумулирующее действие токсических действующих начал, осевших в сером веществе коры головного мозга и, возможно, в базальных ядрах межзачаточного мозга. Страх породил отвагу. Апатия сменилась подозрительным возбуждением. Блеснула догадка, стало казаться, что больше нельзя терять ни минуты. Появились люди — их становилось все больше, — которые принялись ни с того ни с сего паковать чемоданы, проявляли повышенный интерес к географии, предлагали купить у них имущество, интересовались расписанием поездов и международных авиалиний, заказывали телефонные разговоры с заграничной и целыми часами, не считаясь с затратами, вели переговоры с мнимыми родственниками на ломаном английском языке. Подслушивающие органы буквально не верили своим ушам; весь могущественный аппарат сыска и пресечения, остолбенев, следил за этими сношениями. Дошло до того, что граждане кучками и поодиночке, бравирюя своим антипатриотизмом, осаждали государственные учреждения, ссылались на мифические права, домогались приема у руководящих работников, с беспримерной назойливостью требовали разрешения эмигрировать — те самые люди, которые еще недавно писали в анкетах, что никаких родственных связей с заграницей у них не было и нет. Тщетно старались руководители возбудить против отщепенцев народный гнев. Нечто невиданное творилось на глазах у обескураженных представителей власти: потерявшие страх и совесть граждане демонстрировали откровенное презрение к карательным органам, закону и правопорядку. Трудно объяснить этот психоз иначе, как нервно-паралитическим и одновременно возбуждающим действием фекальных ядов, хотя выдвигались и другие гипотезы.

II. Одиссей отправляется в плавание

Тем не менее все проходит и все забывается; и пролог на небе был бы забыт, если бы он не был тем, чем в конце концов оказался,— прологом; резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в конечном счете цепь абсурдных происшествий обнаружила свою скрытую логику. Каковы бы ни были причины смуты, в ней сквозило предчувствие конца. Все вещи сны сбываются, в противном случае они не были бы вещими, все пророчества правдивы, иначе какие же это пророчества.

С другой стороны, предсказатель способен сам накликасть беду. Прогноз деформирует будущее. Предметы притягивают к себе то, что они предвещают. Некоторые считают, что, если бы не проклятые птицы, все бы обошлось. Оставим эту версию без обсуждения.

Знали, догадывались ли подданные Ромула, «маленького Августа», что их держава обречена, что ночь Рима на пороге? Догадывались ли византийцы, что их ожидает? И если высказывали свои догадки вслух, не значило ли это, что они стали союзниками рока, совиновниками крушения? Как в пятом веке, как во времена последних Палеологов, многие спрашивали себя, как могло случиться то, что, казалось, никогда не могло случиться. Искали ответа на небесах, винили правителей. Нижеследующая хроника обманет ожидания тех, кто хотел бы найти в ней портреты государственных деятелей. Но не следует поддаваться и впечатлению кажущейся недостоверности. Следует помнить, что едва ли не главная черта страны, о которой идет речь,— это ее возмутительное неправдоподобие.

Обычай предписывает автору с порога предупреждать читателей и рецензентов, а также судебные органы, что его персонажи не имеют реальных прототипов, однако мы не решаемся сделать такое заявление: это было бы неправдой. Сходство героев этой хроники с реальными лицами нельзя считать случайным; если бы кто-нибудь их узнал, отпираться было бы невозможно. Этих людей уже нет в живых (что облегчает наше положение), но весь ужас, срам и трагедия в том, что и страны, где они жили, больше не существует.

Вдруг оказалось — и это после того, как все вроде бы успокоилось, и следы безобразий были устранены, и руководители отправились отдохнуть на свои дачи и поправить здоровье в санаториях, и золотушное солнышко вновь озарило город, и запели искусственные птицы,— вдруг оказалось, что вся почва поплыла, пошатнулись опоры, сгнили тысячелетние сваи. Люди отказывались этому верить. Мало кто решался сказать об этом вслух. Сгнили устои, а это значило, что под подозрением оказалось все прошлое. История, слава, державная мощь предстали как одно грандиозное Якобы.

Согласимся, что никто так слабо не разбирается в своем времени, как тот, кто в нем живет. Никто не понимает его так плохо, не оценивает так наивно и ошибочно его провалы и взлеты, никто так не жесток к его мученикам, не глух к его пророкам. Надо знать, что наступило потом, чтобы постигнуть, чем была эта эпоха.

С этой точки зрения автор находится в выгодном положении. Будущее, к которому зывала ни о чем не подозревавшая эпоха, наступило и принесло ей смерть. И повествователь имеет возможность спокойно обозреть ее с холма, как турист — остатки древнего городища.

Так угасшее время чудесным образом обретает то, чего ему не хватало при жизни,— цельность. Законы, нравы, установления, архитектурный стиль и манера носить башмаки — всему находится свое место, ничто не выглядит случайным. Ничто больше не кажется устарелым, ибо находится по ту сторону старины, не кажется изжившим себя, ибо уже не живет. Надгробные памятники не могут выйти из моды.

Кстати, раз уж зашла речь о памятниках. Цицерон рассказывает, как он отыскал могилу Архимеда в Сиракузах. Пришлось нанять людей, чтобы прорубить дорогу в диких зарослях к могильному камню, на котором виднелось полустертое изображение шара и цилиндра; никто уже не помнил о человеке, которому был стольким обязан некогда славнейший из городов Эллады!

Некоторые из наших героев принадлежали к особому роду граждан. Хотя они родились там, где родились, и жили там, где они жили, имели метрическое свидетельство и паспорт с гербом, числились на рабочих местах, ходили голосовать, состояли на военном учете, но уверяли себя, что живут в какой-то совсем другой стране. Они называли эту призрачную страну по-разному: Россией, Культурой, Духом, Журналом,— вообще предпочитали изъясняться с помощью метафор. И вопрос, над которым они ломали голову: какое из обиталищ подлинное?— остался для них без ответа. Речь пойдет, однако, не только о них, в чем читатель тотчас же и убедится. Попрошу пройти за ограду.

В конце аллеи, где песок не так чист и бурьян с обеих сторон скрывает свалки мусора, полусгнившие ленты, проволоку прошлогодних венков, узкая боковая тропинка приведет нас к первому экспонату скромной выставки прошлого. Не ломайте голову над эпитафией, здесь лежит Илья Рубин. Так пожелали родственники: никакой другой надписи, кроме древнееврейской, для чего пришлось умастить кладбищенское начальство. Друзья же, принимая во внимание занятия и образ жизни покойного, настояли на том, чтобы не заточать его в загробное гетто предков. В самом деле, кого тут только нет.

Быть может, лучшим способом воскресить наше, по видимости, бессвязное время было бы раскопать прошлое всех ушедших, разыскать родню, найти документы, терпеливо, как склеивают обломки вазы, сложить это прошлое по кусочкам. Быть может, только так и удалось бы реконструировать искомую связь и единство. На большой глубине все корни сплетены, и то, что на поверхности выглядит беспорядочным нагромождением камней и крестов, представляет собой подобие огромной грибницы.

И вот они лежат все вместе и видят сны. От них уже ничего не осталось, но они видят сны. Они все еще видят сны! Собственно, сны и остались.

Помнит ли еще кто-нибудь Августина Ивановича, изобретателя времени, его камень должен быть где-то неподалеку... Ах, если бы не свинская погода, не эта чудовищная глина, облепившая подошвы, эта жидкая грязь, засосавшая, можно сказать, всю православную цивилизацию. Мы отыскиали бы многих. Мы не обошли бы вниманием крест с медальоном прелестной черноглазой женщины. Боже мой, да ведь это Шурочкино лицо: и ты, дитя!..

Все еще прочный, тесаный крест напоминает о том, что здесь обрел последний приют писатель-мыслитель, совопросник мира сего Петр Максимович Нежин-Старковский. Мир праху его; желающие могут сфотографироваться на фоне могилы.

Дальше двигаться будет совсем трудно, бурьян выше человеческого роста, бугорок земли, заросший крапивой холмик — вот и все, что осталось от человека. Говорят, территория в скором времени будет расширена для новых поколений. А вернее, здесь будет строиться новый квартал. Под бугром, на глубине двух метров вкушает мир виконт Олег Эрастович, некогда известный в узком кругу как «тот самый», баснословная личность; и нам даже чудится вой седовласого пуделя; ужели оба не заслужили хотя бы скромного памятника?

Зато чуть подальше, о, вот это уже экспонат. Заляпанный птичьим пометом (не тем ли самым?) двухметровый мемориал из поддельного мрамора, в каком-то монгольско-мавританском стиле, с алебастровой луной и кривой саблей, с письменами якобы из священной книги,— на самом деле это черт знает что такое. Воздвигнут объединенными стараниями приближенных и вдов. *Perché la grande regina n'aveva molto!*¹ У хана их было много. Мы называем его по старой памяти ханом, чтобы не путаться в сложном юго-восточном имени. Лишь условно памятник может быть назван надгробием: тело, по непроверенным сведениям, было транспортировано на родину.

А там еще кто-то, ржавые оградки, следы позолоты. Имена и даты, которые уже невозможно разобрать. Что же связывает этих людей? В какой мистической бухгалтерии им выписаны путевки именно сюда, чтобы лежать друг подле друга? Если мы вынуждены начать с этого грустного паломничества, если приходится предлагать читателю вместо связного рассказа ворох фрагментов,

¹ Потому что у великой царицы было много... (А. С. Пушкин. Египетские ночи.) (итал.).

то не из недостатка художественного воображения — как уже сказано, речь идет о реальных людях. Но такова была наша изорванная в клочья жизнь. Скажут: всякая жизнь есть хаос. Скажут: искусство должно внести гармонию и порядок. Скажут: измученный человек жаждет смысла, лада, композиции.

Но что же делать, если подгнили сваи, если время сорвалось с оси, как вырился некий принц, держа в руках череп шута... Или это было сказано по другому поводу?

«Сколько раз я сидел у него на коленях».

Да, провещал Йорик, сколько раз ты сидел у меня на коленях.

«Горацио, он разговаривает!»

«В самом деле, милорд?»

«Я своими глазами видел, как задвигалась челюсть».

«Этого не может быть, милорд, так не бывает».

Он прав, провещал беззубый Йорик, так не бывает. За оградой, вдали — полог туч. Бугристое поле, овраги, картофельные плантации, и на грифельном небе смутно рисуются корпуса новых районов.

Окраина паразитирует на городе наподобие некоторых диковинных форм биологического паразитизма, когда паразит живет не внутри хозяина, а, наоборот, хозяин оказывается внутри паразита. Окраина обступает город со всех сторон, и по мере того как она размножается, разбухает и захватывает все новые пространства, чахнет и съеживается город. Сухая, крошащаяся сердцевина столицы затерялась в рыхлой опухоли окраин. Не следует путать окраины с пригородом, который делит с городом его историю; у окраин нет никакой истории. Но зато им, а не дряхлому городу принадлежит будущее.

Ранним вечером — можно было бы сказать: поздним дождливым днем, точное время не имеет значения, а погода в наших краях всегда одна и та же — на конечной станции метро бородатый молодой человек в джинсовом костюме, с толстым и выдавшим виды портфелем выезжает на эскалаторе к автобусной остановке, в сырую фиолетовую мглу.

Подземелье изрыгает все новые порции человеческого фарша. Движение пассажирского транспорта на окраинах описывается простейшей математической формулой: чем больше народу на остановке, тем дольше не придет автобус. Стемнело, и в мохнатом воздухе зажглись вокруг площади иловые фонари. Портфель путешественника опасно раскачивается над толпой, штурмующей автобус, как революционные матросы — Зимний дворец. Грузная колымага отваливается от остановки, отряхивая повисших на подножке, и кто-то бежит следом, цепляется, падает, автобус плывет среди вод, трясется по грязным проездам, все выше громады домов, темнее и глуше улицы. Все дальше от одной остановки до другой. «Аптека», «Заготсырье», «Шинный завод» — так они называются. Где мы, все еще в городе? Но окраина — не город; мы в пространстве, чья метрика, словно метрика сферической вселенной, растягивается по мере отдаления от центра; пятьсот метров на окраине — совсем не то, что пятьсот метров в городе. Безмерная плодовитость автобусной самки не иссякает, роды происходят на каждой остановке. Целый выплод помятых пассажиров вывалился на остановке с табличкой «Корпус 20». Остались те, кто сидит, экипаж уже не покачивается, а подпрыгивает на выбоинах, и рокот мотора сливается с плеском луж.

Пассажир вылезает с последними седоками; растянув над собою зонтики, люди расходятся в разные стороны. Медленный шаг выдает неуверенность человека с портфелем, однако предположение, что он плохо знает окрестность, ошибочно; он высматривает телефонную будку. Телефоны возникают и исчезают в этих районах, где лишь прочные конструкции и крупные сооружения способны противостоять бесчинству стихий и населивших окраину феллахов. Он забирается в будку с неразбитым аппаратом, с необорванной трубкой, с шатающимся, но все еще функционирующим диском. Попытки соединиться безуспешны, стальная утроба глотает монеты, молодой человек с портфелем, зажатым между ногами, изрыгает вялую брань, молотит кулаком.

Аппарат живет мистической полужизнью: ухо ловит потусторонний шелест; отрыжка после съеденной мелочи, сырая тухлятина, запах железного пи-

щеварения. Сквозь стекло телефонной кабины видны утесы зданий, видна рябая водная гладь. В последний раз перед тем, как пуститься в путь, мореплаватель набирает номер. Чудо, аппарат откликается. Гудки на другом конце света и щелчок рычажка.

«Алё... Это ты? Это я... Дуся моя, я тут рядом, алё? Ты как? Сейчас приду...»

Выйдя из будки, он озирается. Несколько мгновений спустя мы могли бы увидеть, как он прыгает со своим портфелем между лужами вдоль домов, пересекает пустырь, сворачивает, пропадает в паутине дождя.

По всей вероятности, нам придется еще побывать в квартирке на двенадцатом этаже, куда только что ввалился в хлюпающих башмаках, в потемневшей от влаги джинсовой куртке Илья Рубин. Хозяйка — ей можно дать лет двадцать пять — стоит перед зеркалом. Комната-квартира Шурочки ничем не отличалась от комнат в других квартирах блочного дома, совершенно так же, как дом мало чем отличался от других домов. Но это была ее комната, скромное чудо которой, как и чудо всякого жилья, будь то берлога зверя или апартаменты вельможи, состояло в том, что каждая вещь была более или менее частью ее души и продолжение ее тела. Некто утверждал, что человек — это его поступки. Ошибка: человек — это его вещи. Флаконы и пудреница на крошечном столике перед трюмо дожидались прикосновения ее пальцев. Чулки, брошенные на спинку стула, изнывали от ревности к другим, роскошным вишнево-серебристым чулкам на ее икрах. Ржавый трехколесный велосипед на балконе был немым укором умершего ребенка.

Скосив взгляд, выставляя то одно плечо, то другое, переступая туфельками, она оглядывала себя, она была в необыкновенном платье, эффектно-скромном, сдержанно-вызывающем — черное с красным, — таинственное отражение манило и будоражило Шурочку, а визитер помещался на особой разновидности тогдашней мебели, оригинальном изобретении эпохи, под названием диван-кровать, шевелил лоснящимися почернелыми пальцами голых ног и чувствовал себя вещью среди вещей, хотя главной вещью, если говорить правду, была она сама. Не правда ли, поведение женщины перед зеркалом тем и отличается от глупого глаzenia мужчины, что он видит в стекле только себя, а она созерцает чудную дорогую вещь, вроде тех, какие стоят в витринах?

«Не коротко?»

Он усмехнулся. «Чем короче, тем лучше».

Постояв еще немного, глядя себе в глаза, она спросила:

«А кто он такой?»

«Я тебе уже тысячу раз говорил».

«Боюсь я что-то... Может, не пойдем?»

«Волков бояться, в лес не ходить».

Она одергивала подол, выставив грудь, разглаживала платье на талии.

«Сама не знаю», — пробормотала она.

«Никто тебя силой не тянет, сама напросилась».

«А ты предложил!»

«А ты согласилась».

«А ты, если бы меня хоть капельку уважал, никогда бы не посмел заикнуться об этом». Она прикладывала к груди брошь, примеряла клипсы.

«О чем?»

«Сам знаешь, о чем».

«Ну, посмотрит он на тебя, ну и что?»

«Тебе это безразлично?»

«Скажешь: раздумала — и общий привет»:

Молчание.

«Сама не знаю... А кто это такие?»

«Между прочим, никто тебя не агитирует. Решай сама. Желающих достаточно...»

«Вот я и решила». Она наклонилась, приподняла подол платья, чтобы подтянуть чулки. Гость стоял позади нее, она выпрямилась, он лениво обнял ее. Босой, она на каблуках, черные волосы щекотали его лицо.

«И хватило же наглости,— сказала она,— предлагать мне. Никуда я не пойду».

Она сбросила с себя его руки. Он снова обхватил ее за талию.

«Убери лапы».

«Никто тебе не предлагал, сама вызвалась».

«А кто рассказывал, кто меня науськивал?»

«Науськивал?»

«Кому сказано — убери свои грабли!»

«Ну вот что, нам пора».

«Никуда я не пойду».

«Хорошо, я пошел».

«Ботинки не просохли».

«Они до утра не просохнут. Пошли, хватит вертеться. Ты ослепительна. Вот что, одно из двух. Или мы идем, или я позвоню и скажу, что ты раздумала».

«Коротковато,— сказала она задумчиво,— особенно когда сядешь. Может, опустить пониже? И проглажу, одна минута... Далеко идти?»

«Я думаю, пешком — самое разумное».

«Может, не пойдём?»

«Не пойдём».

«Я знаю, почему ты это все затеял. Чтобы от меня отделаться».

«Причем тут я?.. Ладно, забудем эту историю. Дай-ка мне портфель, там записная книжка».

«Чего ты с ним все таскаешься?»

«Дела, дуся моя...»

«Какие же это дела?»

Он развел руками, изобразил покорность судьбе.

«Если бы не дела, плюнул бы на все и женился на тебе».

Она скривила губы.

«Только ведь ты за меня не пойдешь. Тебе надо кого-нибудь посолидней».

«Ах, ты гад! Все вы сволочи».

«Хорошо. Дай мне портфель. Сообщим, что визит отменяется, только и делов».

Он крутил телефонный диск.

«Занято»,— сказал он.

«Вот если бы ты был кавалером...— приникнув к зеркалу, она покрасила рот, растерла помаду движением губ, вымела кончиком мизинца крошку черной краски в углу глаза,— если бы ты был кавалером...»

«То что?»

«То взял бы такси!»

«Какое тут такси, сюда ни одна собака не поедет...»

Она вздохнула.

«Все-таки коротковато».

Дождя не было. Белесая мгла обволокла тлеющие фонари. Пропали дома, пропал весь район, огни окон светились в пустоте, подъезды появлялись и исчезали в известковом растворе. Немного спустя в тумане обрисовались две фигуры, высокая и пониже, протащились мимо; Илья обернулся, они остановились, точно ждали оклика.

«Гм... девоньки, помогите сориентироваться».

«Заблудились, что ль?»

«Такая каша, ничего не видать».

«Мы сами ищем...»

«Тут должна быть где-то Кировоградская».

«Это она и есть,— сказали девоньки,— тут все Кировоградские. Вам какой корпус?»

«Двадцать второй».

«Ну и нам двадцать второй. А, Зинуля? Нам ведь двадцать второй? Евстратова, тебя спрашиваю!»

«Я почему знаю»,— сказала высокая.

«Ну, в общем, нам тоже в двадцать второй».

«Это какой корпус? Там должно быть написано».

«Сейчас погляжу,— сказала низенькая.— Двадцать второй!»

«Все в порядке,— сказал Илья,— а вам какая квартира?»

«Нам? Да в общем-то все равно. Зинуля, я правильно говорю? Нам все равно, какая квартира».

«Как это все равно?»

«А вот так, нам все одно, верно я говорю?»

«Ладно болтать-то»,— сказала высокая.

«Мы вам мешать не будем,— сказала низенькая,— возьмите нас с собой».

«С собой?»

«Угу».

«Девоньки,— сказал Рубин,— с особенным удовольствием пригласил бы вас в гости. Можно сказать, мечтал всю жизнь. Но войдите в наше положение».

«Мы не будем мешать. Мы в другой комнате будем сидеть».

«Все понятно. Не в том дело. Мы сами идем в гости».

«Ну и что?»

«Да и Зина, мне кажется, не очень расположена».

«Зинуля? Да она только и мечтает. Правильно я говорю?»

«Ладно болтать-то».

«Все понятно. Давайте, милые, так договоримся. Мы сейчас быстро сходим — пятнадцать минут, не больше. Потом возвращаемся и идем вместе. Вы пока погуляйте!» — крикнул он, поднимаясь на крыльцо, и больше их не было, пучина сомкнулась над ними.

В тускло освещенной, шаткой коробке лифта Шурочка разулась, держась за провожатого, вставила ноги в узкие туфли на шпильках. Кабина доехала до последнего этажа и с лязгом остановилась. Дом был повышенной категории, как тогда выражались, другими словами, не совсем новый, согласно правилу: чем новее, тем хуже,— с широким лестничным пролетом, с просторными темными площадками. В полутьме поблескивали высокие общерпанные двери жильцов. Илья Рубин трижды нажал на кнопку, в недрах квартиры продребезжали три звонка, два коротких и один длинный, издав слабое отозвался собачий голос, подкатился к дверям, прислушался, пролаял снова свой вопрос.

«Он сейчас скажет, что не ждал нас. Не обращай внимания».

«Какими судьбами, кель сюрприз!— вскричал Олег Эрастович.— А я уж, признаться, и надежду потерял!» Человек, чье имя здесь уже промелькнуло, стоял, держась за дверную ручку, как будто готовый тотчас захлопнуть дверь: это был господин лет пятидесяти, а может быть, семидесяти, малорослый и чрезвычайно импозантный: в голубых усах, остренькой эспаньолке, с холеным мясистым лицом, густобровый, в косо надвинутом лиловом берете на седых кудрях и в пенсне, которое, несколько подбочась, если можно так выразиться, сидело на его породистом носу. Одет был в домашнюю вязаную кофту, на жилистой шее — лазоревая в темный горошек собачья радость, на ногах шлепанцы, отороченные собачьим мехом.

«Наслышан, как же, как же... но не ждал!»

Он помог даме высвободиться из мокрого макинтоша, Шурочка тряхнула головой, ища глазами зеркало, хозяин отступил назад, как бы пораженный ее красотой, открывшимся зрелищем от туфелек и вишневых чулок до нимба волос, церемонно поцеловал руку у застыдившейся гостьи и устремился вперед. Жилище выглядело несколько запущенным и все же роскошным; на стенах в коридоре висели светильники наподобие канделябров, на полу лежал невероятно пыльный ковер; вдобавок квартира оказалась двухэтажной, что указывало на повышенную категорию владельца: как уже сказано, человек — это его жилье. В конце коридора находилась невысокая лестница, перед ней стоял со шляпой в руке деревянный карлик, весьма похожий на Олега Эрастовича, и пудель, вертевшийся под ногами, был тоже копия хозяина. Сам же он напоминал директора театра оперетты или заведующего домом для престарелых работников сцены, словом, лицо административно-художественное; возможно, и был некогда кем-то в этом роде, хотя, по некоторым сведениям, проработал всю жизнь бухгалтером конторы «Заготскот». Малоубедительная версия, принимая во внимание его хоромы.

«Погода монструозная; живем в бесчеловечном климате. Надеюсь, вы не промокли. Прошу наверх... А вы,— он щелкнул карлика по носу и нацелился на пуделя,— вы оба останетесь здесь, вам там нечего делать».

Особу такого рода трудно представить себе без трубки, которую даже не курят, а держат несколько на отлете и помахивают ею, но как раз трубку Эрастович не курил; устроившись под оранжевым торшером в продавленном кресле, откуда был виден его нос и торчала подрагивающая нога в домашней туфле, он держал двумя пальцами, словно бабочку, пенсне, а в другой руке согрел бокальчик с благородным напитком. Гостья осторожно брала конфеты из коробки с бумажными кружевками.

«Гм, Ариадна...— говорил он,— позвольте мне быть откровенным, имея что-то не того... Дорогие мои, надо шагать в ногу с временем. Все эти Ариадны, Эльвиры, Элеоноры вышли из моды, они просто больше не котируются! Сознайтесь, вы его просто придумали, я угадал?.. Вообще я предпочел бы что-нибудь более скромное, душевное, что-нибудь русское. Я бы сказал так: ближе к действительности, ближе к народу, это сейчас особенно ценится... Между прочим — о чем тоже нередко забывают,— каждое имя требует соответствующей внешности. Бывают имена жаркие, знойные, откровенные, они предписывают форсированную косметику, ярко-алые губы, платья горячих расцветок. Ваше имя — это имя приглушенное. Допустим, Катюша, или Саша, или, может быть, Люся. В зависимости от обстоятельств возможен западный вариант: Люси».

«Олег Эрастович, вы просто ясновидящий».

«Что такое?»

«Я хочу сказать, папа и мама именно так ее и назвали».

«В самом деле?— сказал Олег Эрастович, насаживая пенсне на мясной нос.— Вы действительно Людмила?»

«Александра»,— потупилась Шурочка.

«Это подтверждает мою теорию: знаете ли вы, Илюша, что имя обладает таинственным обратным действием, я бы сказал, определяет облик женщины! Хотя из чисто практических соображений, вы правы, было бы лучше пользоваться псевдонимом. Вроде того как, знаете ли, актрисы в старину брали себе сценическое имя. Оно и практичней. Мы подумаем... Ну-с, а теперь я хотел бы перейти к делу. Рюмочку коньяку... Вы позволите?»

Она поглядывала украдкой на себя в стекле книжного шкафа.

«Милая моя, я не спрашиваю никаких подробностей, рекомендации Илюши вполне достаточно. Разрешите взглянуть на ваш паспорт... чистая формальность... Гм, вы замужем?»

«Давно с ним не живет»,— уточнил Рубин.

«Дети?»

«Детей нет».

«Так-с, детей нет»,— рассеянно констатировал Олег Эрастович, подрагивая туфлей. Неожиданно туфля свалилась, Шурочка увидела, что из продранного носка торчит черно-желтый коготь. Хозяин втянул воздух в широкие ноздри; нога нырнула в туфлю.

«Детей нет, так-с. Надеюсь, мы работаемся... Возможно, понадобятся кое-какие усовершенствования, кое-какие дополнительные штрихи. Мне не хочется обижать вас, но, дорогая моя, эти...— он показал на свои уши, покачал головой,— эти... клипсы, кажется, они называются? Просто невозможны. Да, в сущности говоря, и прическа, мягко говоря, оставляет желать лучшего... Поймите меня правильно, я не хочу вас обидеть! Вы получите для начала необходимую сумму, для предварительного обзаведения. Впрочем, это потом, всему свое время. Итак. Вы ведь, кажется, медсестра? Я не ошибся? Прекрасно, медсестра — это чистая профессия, это аккуратность, чистоплотность, белая шапочка, свежий, подтянутый вид. Это молодость, это расторопность. Это, между прочим, дисциплина!— Олег Эрастович поднял палец.— Но увы! Это бедность. Будем смотреть правде в глаза».

И он погрузился в созерцание своего бокала.

Шура сидела, составив ноги в туфельках, с видом плохо успевающей ученицы. Илья Рубин оглядывал комнату. Книги, вещички. Над головой хозяина

висел писанный маслом портрет вельможи александровских времен, впрочем, не масло, а вставленная в рамку репродукция.

«Олег Эрастович, а это правда...»

«Что такое?»— сказал Олег Эрастович, пробуждаясь.

«Это правда, что вашим предком был?..»

«М-м. Простите?»

«Я хотел спросить. Это правда, что?..»

III. Виконт, или Добродетель

Автора упрекнул в непочтительности. Скажут: чуть ли не каждое попавшее на глаза лицо превращается в карикатуру, чуть ли не вся наша жизнь — повод для зубоскальства. Это, разумеется, не так, можно было бы вспомнить и знаменитый афоризм насчет невидимых миру слез, и все же оснований для упреков достаточно. Жуткая и неправдоподобная катастрофа, постигшая столицу, тяжкие предчувствия и общий раздраг,— во всем этом нет ничего смешного, а между тем каков тон! Прав читатель, испытывающий злость и усталость от бесконечных ухмылок, и трижды правы были бы действующие лица, если бы они были живы и выступили с опровержением. Но что делать, что делать, о Господи, если серьезный слог сам звучит как пародия. Итак, *revenons*¹... к нашим баранам.

«Да, это правда. Если вас это интересует... Мой прадед был его родным братом, стало быть, сами решайте, в какой мы степени родства. А мать этих двух братьев была родом из Шотландии, князь Андрей Саврасович, наш прапрадед, увез ее от мужа в Россию... Есть в нашем роду и шведская кровь, и немецкая. А вот это место, где мы с вами находимся, эта гнусная окраина когда-то называлась Олсуфьево, мы ведь не только Вяземские, не только Гризехахи, мы еще и Олсуфьевы. Здесь было... но, я думаю, нам все-таки надо ближе к делу».

«Олег Эрастович, а это правда,— сказал Илья, подмигнув соседке,— что вашим предком был маркиз, как его...»

Олег Эрастович сверкнул стеклышками пенсне.

«Не маркиз, а виконт. Огюстен-Этьен виконт де Бражелон. Что тут странного? Впрочем, минуточку. Раз уж вы так интересуетесь».

Он зашлепал из комнаты, гостья растерянно смотрела ему вслед. Рубин вертел в руках кремлевскую башню из янтаря с надписью над воротами: «Многоуважаемому О. Э. В. в день 60-летия в знак благодарности от друзей».

Голос хозяина послышался в закоулках квартиры:

«Зимой 1812 года...»

Башня упала на пол, Шурочка в ужасе прижала ладонь ко рту. В последнюю минуту удалось кое-как насадить отвалившуюся звезду на обломок шпиля, сувенир был пристроен в шкафу перед книгами, стекло задвинуто.

Явился Эрастович с пожелтым канделябром, на этот раз настоящим, и фанерным щитом с ручками для продевания руки. Он прислонил щит к своему креслу, перед креслом поставили канделябр, потушили торшер и зажгли свечи.

«Раз уж вы так интересуетесь,— промолвил хозяин,— маленькая романтическая история. Зимой 1812 года, при отступлении Наполеона из Вязьмы, там остался раненый поручик, его перевезли в загородный дом помещиков Кулебякиных. Была такая, если не ошибаюсь, вдова Варвара Осиповна Кулебякина. Вдвоем с дочерью они выходили раненого француза, а года через два его разыскал в Вязме отец, виконт де Бражелон. Вы, наверное, уже решили, что дочка вторилась в молодого поручика. Ничуть не бывало: она подарила свое сердце старому виконту. Поручик, он даже, кажется, был не французом, а вюртембержцем, побочный сын, хрен его знает, обычная история, все мы в каком-то смысле побочные дети... так вот, поручик остался с носом, принужден был уступить поле боя, отбыл в свой Вюртемберг, и что с ним было дальше, неизвестно и неинтересно. А вот папаша, который был, между прочим, старше самой

¹ Вернемся (франц.).

матушки, папаша-таки женился на дочери и стал одновременно и зятем, и отцом семейства. Вдова была вне себя от ревности, однако злые языки утверждали, будто он утешал обеих дам. И будто бы, но это уже легенда, обе имели детей. Впрочем, я происхожу от старшей. Фу! — сказал, нагибаясь, Олег Эрастович, и канделябр потух, распространяя слабую вонь. — Можете ли вы мне объяснить, зачем я приволок эту руину?»

Шит был водружен на кресло.

«Так на чем, э, — пробормотал он, — мы остановились?»

В самом деле, на чем?

«Да! В левой половине золотой шеврон с тремя ядрами и тремя звездами на голубом поле. Знак того, что прапрадед мой был лейб-кумпанцем и находился среди тех солдат, что помогли Елизавете взойти на российский трон. Все были возведены в дворянство, получили наделы и все такое... Что касается правой половины, то она принадлежит виконту. Три луны, значение их неизвестно. Согласно глухому преданию, этот астрологический рисунок содержит предсказание о будущем рода... Я занимаюсь сейчас конструированием совокупного герба, объединяющего все четыре фамилии».

Наступила тишина. Снизу донеслось какое-то движение, осторожный подвыв.

«Все умерли, — прошептал Олег Эрастович, — и Кулебякины, и Олсуфьевы. И шведы, и немцы, и хрен знает кто!»

Послышалось цоканье когтей вверх и вниз, урчанье, и снова кто-то гавкнул.

«Молчать! — закричал хозяин. Пудель залился лаем. — Вот я тебя сейчас, проходимца... Так на чем, э... Ну-с, — промолвил он, расправил на шее бабочку и приосанился. — Прошу».

Комната, называемая студией, была перегороджена ширмой, у окна помещался фотоаппарат на треноге.

«Милочка моя, не волнуйтесь, дело есть дело. Рядом, если надо, туалет... Сниматься пока не будем. В другой раз, может быть... Фотографии понадобятся для альбома... Но сперва я должен оценить ваши данные. Илья, будьте любезны...»

Он показал пальцем, где включить подсветку.

«Пожалуй, верхний свет не нужен... Если вы мне принесете, э, чуточку подкрепиться, там, на столике... буду благодарен по гроб жизни. Шторы опустите. Нужно учитывать все: цвет волос, глаз... О-о, вечная поясница! Позвольте, я прилягу... Милочка, вы живы?... Мы ждем. Мы терпеливо ждем».

Прошло довольно много времени, прежде чем она выступила, сильно робея, из-за ширмы. Студия преобразилась, сияние ламп придало спектаклю фантастический вид. Олег Эрастович лежал на кушетке. Он взглянул на Шуру, грозно втянул воздух мясным носом и тотчас прикрыл рукой глаза.

«Дорогуша, вам придется, — пробормотал он, — самым внимательным образом заняться своим бельем. Таких тряпок никто больше не носит. Их нужно просто выкинуть. Теперь совсем».

Она исчезла за ширмой и вышла через минуту, близкая к обмороку. Эрастович лежал, не отнимая руки от глаз.

«Готово?» — спросил он.

«Да», — сказала она еле слышно.

Он сел, держа перед собой бокал. «Жарко», — промолвил он и снял берет, чтобы обмахиваться им. Или это был жест уважения к красоте? Лилово-седые кудри окружали его череп. Олег Эрастович отхлебнул хорошую порцию. Бокал стоял на полу возле его ног. Он снял пенсне, подышал, протер, вновь насадил на мясной нос, нахмурил пышные брови.

«Ну-с, по-немецки орех, обратите внимание на эту линию. Люсенька, или как вас... чуть-чуть влево. Голова повернута в противоположную сторону, слегка косить глаза. Нет, так нельзя, опустите руки. Правая — на лоне. Я сказал: на лоне. Поза Афродиты. Прекрасно... Теперь станьте прямо, просто так, руки опустите. Старые мастера называли это позой добродетели, почему бы и нет... Вам не холодно? Здесь не должно быть холодно. Теперь спиной. Ягодицы про-

сто прелесть... Я положительно уверен, что вы будете иметь успех. Видите ли, друзья мои...»

Мерный голос Эрастовича напоминал голос лектора или экскурсовода.

«Видите ли... Майоль создал женщину с тяжелыми бедрами, этакую Астарту с могучими формами, мощными, почти каменными ногами — это было актом исключительной смелости, это было революцией. Но я остаюсь верен классическому канону. Я счастлив, милая, поздравить вас с тем, что вы не успели отяжелеть. Бедра должны иметь форму фригийской лиры. Живот, как это ни парадоксально, должен оставаться маленьким, хотя и выпуклым. Видно, впрочем, что вы рожали... И без абортос небось тоже не обошлось? Жизнь есть жизнь... Видите ли, я вам скажу так, — продолжал он, отнесясь к Рубину, — все дело не столько в формах, сколько в пропорциях. Это звучит как банальность, и тем не менее далеко не все это понимают. Женщины склонны придавать преувеличенное значение той или иной детали, женщины вообще поглощены деталями, так сказать, не видят из-за деревьев леса, одни обеспокоены тем, что у них слишком маленький бюст, другие думают, что надо обязательно иметь шаровидные груди, а грушевидные — это якобы уже не так красиво, большая грудь — тоже плохо... Все это вздор! В действительности размеры сами по себе не имеют значения, важно, чтобы они вписывались в общую панораму. Согласовывались со всем остальным, с ростом, с шириной бедер. Для художника это азбучная истина. Но главное — это музыкальность линий. Терпение, милая, станьте бочком... Внимание! — Его палец вознесся в воздух. — Что я подразумеваю под музыкальностью? Проследивая линию, идущую от подбородка к коленкам, мы должны получить единую мелодию, непрерывный тематический ход. Как всякая тема, эта мелодия обладает внутренней логикой; это пока еще только контур, посвящение в женственность, ибо, заметьте, вы еще не видите женщину, не владеете ее образом, то, что вам предстает, — лишь мелодия женственности. Люся... или как вас там. Прошу терпения. Вас касается... Вот: круглый, слегка подтянутый к нижней губе подбородок, затем плавное диминуэндо шеи, переходящее в проникновенную песнь, в торжествующий дуэт грудей, который завершает легкая фиоритура, форшлаг сосков, при этом второй форшлаг как бы эхом звучит позади первого. Вот почему, кстати, спелые груди требуют и хорошо развитых, выпуклых сосков... После чего... пардон. — Он прервал себя, чтобы отхлебнуть из бокала. — Гхм! Да... После чего мелодия, нисходя, делает небольшой ритмический перебой: вы слышите синкопу, теплая тяжесть молочных желез, их мощный, но приглушенный аккорд переходит в задумчивую, прохладную кантилену живота. Мелодия растет... и вновь легкий провал, снова форшлаг, впадина пупка, вот, кстати сказать, один из наиболее спорных вопросов музыкальной эстетики женского тела: как отнестись к пупку, нужен ли он, не нарушает ли он мелодию? Еще Рескин писал о том, что пупок Афродиты Арльской — единственное, что грозит нарушить ее совершенство, вот почему он едва заметен. Читайте Рескина, мой друг! Дело дошло до того, что некоторые знаменитые красавицы в эпоху Возрождения — известный факт — зашивали себе умбиликус, да, да, предпочитая хирургический рубец восхитительному природному дефекту, который, на мой взгляд, не только не портит женский живот, но, напротив, придает ему пикантность. Это, если угодно, родник среди пустыни, это глаз, который смотрит на вас посреди живота... У индусов существует поверье, что из зернышка, брошенного в пупок богини, возрастает лотос. Из пупка Вишны рождается Брами. Можно понять, впрочем, — продолжал вдохновенно Олег Эрастович, — откуда возникло это гонение на пупок: не только из соображений эстетики, тем более что эстетические аргументы, на мой взгляд, неубедительны, я решительный сторонник пупка... Взгляните... Александра, чуть-чуть влево... достаточно. Взгляните, какая прелесть этот пупок, эта крохотная раковина, не правда ли? Так вот: откуда же все-таки это гонение? В чем дело? Почему? Я вам отвечу. Потому что пупок претендует, так сказать, на привилегию считаться центром тела! У индусов так оно и есть. Вообще пуп как середина и средоточие тела, а значит, и центр мироздания, *umbilicus mundi* у древних римлян, — это интереснейшая тема! Центр тела — и, следовательно, отвлекает от другого центра. Это, можно сказать, вопрос принципиальный. Но мы отвлеклись. Итак! Нисходящий звукоряд, спуск

к низинам разрешается мягким аккордом, я говорю о венерином холме — тоже, знаете ли, своеобразный композиционный ход. Ведь, казалось бы, мы ожидаем плавного нисхождения, равномерного спуска к кратеру, к завершению, в тайную щель, а вместо этого мелодия, хоть и обессиленная ожиданием, взмывает в последний раз. Как бы перед смертью, словно вспыхнувший и затухающий огонь, в последний раз — чтобы окинуть взором всю себя!.. У вас бывают ночные дежурства?» — спросил он, когда демонстрация была окончена.

«Суточные, — пролепетала Шурочка. — Сутки отработала, два дня свободных».

«Гм».

Все трое находились снова в комнате с книжным шкафом, торшер тускло отражался в стекле, и сам Эрастович после лекции выглядел несколько оплывшим, струйки пота блестели на его лбу, словно растаявший воск, пенсне едва держалось на отсыревшем носу.

«А изменить расписание невозможно? Вы не должны приходиться на работу утомленной. Мы сделаем так: я буду стараться приспособливаться к вам, а вы уж как-нибудь приспособьте свое расписание ко мне... Но мы еще вернемся к материальной стороне дела».

Он обвел полки томным коньячным взором, увидел искаленный подарок, покосился на сидящих. Шура задумалась. Рубин изобразил преувеличенное внимание. Олег Эрастович втянул носом воздух.

«Вы будете зарабатывать достаточно, чтобы прилично жить. Мы подумаем о том, чтобы улучшить ваши жилищные условия... И тем не менее... Я хотел бы вас просить, я даже настаиваю на этом. Вы не должны ни в коем случае бросать работу в больнице. Так надо. Надеюсь, вы меня понимаете... Вы получаете твердый гонорар, наличными, мне — две трети. Вы не будете обделены, Александра, уверяю вас...»

«Кстати, — заговорил он снова, — знаете ли вы, э-э... кто мне преподнес вот эту... вон там... Спасскую башню?»

Он ждал ответа, но Илья ограничился тем, что пожал плечами.

«Так вот... Два слова о наших клиентах. Большая часть из них — люди приезжие. Ответственные работники, серьезные, солидные люди, исключительно по рекомендации... Некоторые пользуются моей дружбой много лет... Абсолютная благопристойность, рыцарское отношение к даме. Это одно из моих правил. И, замечу попутно, люди щедрые. Я не вмешиваюсь, не требую отчета о том, какие подарки преподносятся сверх установленного гонорара, единственное, о чем прошу, — ставить меня в известность... Женщина, знающая жизнь, не будет спорить, если я скажу, что пожилой друг с твердым положением в обществе, с партбилетом в кармане, разумеется, на хорошей должности предпочтительней молодого вертопраха... Об абсолютной конфиденциальности, я полагаю, незачем говорить, она подразумевается сама собой. Я звоню, я рассчитываю, что вы дома, по телефону никаких подробностей, сообщаю только адрес гостиницы. Там вам не будут чинить препятствий, называть себя тоже не обязательно... Сообщаю этаж, номер, время визита. В отдельных случаях возможна экскурсия за город, музей, концерт, что-нибудь в этом роде, ужин... Задерживаться на всю ночь — ни в коем случае. Впрочем, я сам договариваюсь об этом с заказчиком... Финансовый отчет — каждые две недели. Если вы больны или надо отлучиться из города, покорнейше прошу ставить меня в известность. Это касается и женского недомогания».

Наступило молчание.

«Все понятно? Или есть какие-нибудь вопросы?»

Илья Рубин взглянул на Шурочку, она сидела, выпрямившись, в своем черно-красном платье, положив сумочку на колени.

«Олег Эрастович...» — промолвил Рубин.

«Что Олег Эрастович? Что Олег Эрастович?! — неожиданно вскричал хозяин, ловя падающее пенсне. — Олег Эрастович должен крутиться, как карась на сковороде. Всем надо угодить, чуть что — Олег Эрастович, он все может, все устроит. Фигаро здесь, Фигаро там! Думаете, это так просто?.. Не устраивают мои условия — ради Бога. Скатертью дорога! Желающих достаточно...»

Услышав громкий голос, пудель внизу проснулся и присоединился к хозяину.

«Молчать!»

Мелкий стук собачьих когтей, пудель взбежал по лестнице.

«Я кому...» — грозно начал хозяин.

Когти скатились вниз.

«Ну, что такое? — спросил он утомленно. — Что вы хотели спросить?»

«Мы уже уходим, Олег Эрастович, я только хотел вам напомнить... Вы обещали насчет машинистки».

«Какой машинистки? Ах, да. Оставайтесь».

«Олег Эрастович, я бы хотел проводить...»

«Ничего, сама дойдет».

Вполне понятное смятение молодой женщины объяснялось более сложными, чем может показаться, обстоятельствами; мы не ошибемся, предположив, что стыдливость Шуручки была отчасти наигранной. Не то чтобы она без колебаний, как чему-то, что само собой разумеется, решила подвергнуться этому странному экзамену. Но если не говорить о первых минутах, когда она вышла из-за ширмы с колотящимся сердцем, ужаленная ярким светом, уронила голову, если не говорить об этом минутном страхе, похожем на панику дебютантки на подмостках, — страхе, с которым она благополучно справилась, — то дальнейшее представление волновало ее не так уж сильно. Особенно когда она убедилась, что «экзамен», так сказать, носит не только деловой характер. (В альбоме Олега Эрастовича, пополнившим материалы следственного дела и впоследствии исчезнувшем, о чем можно пожалеть, ибо редкий документ эпохи может быть так красноречив, фотография Шуручки отсутствовала. Заметим, что далеко не все из представленных на снимках дам отвечали строгим эстетическим критериям Олега Эрастовича; в качестве рекламного проспекта альбом, очевидно, был рассчитан на разные вкусы. Тем не менее коммерческую сторону не следует абсолютизировать. Беглое знакомство с обитателем двухъярусной берлоги, где он проводил время среди книг и аристократических воспоминаний, убеждает, что им владел не один лишь голый чистоган. Рискнем высказать предположение, что в конспиративном заведении Олега Эрастовича смотрины были неким эквивалентом того, что некогда называлось *jus primae noctis*¹.)

Так вот, если вернуться к Шуручке, едва ли ее неуверенность была вызвана самой этой демонстрацией, ведь она приблизительно знала, куда идет, приблизительно догадывалась, что предстоит что-то «в этом роде». Мужчинам свойственно преувеличивать стыдливость другого пола. Вернее сказать, мужчины не в состоянии понять, где кончается истинная стыдливость и начинается театр, не в состоянии уразуметь простой факт, что стыдливость — это уступка тому преувеличенному значению, которое они придают наготы. Дрожала ли она от холода или при мысли о том, как бы не подкачать в телесно-профессиональном смысле? Профессией предстояло еще овладеть, и, как многие начинающие, несмотря на свои 27 или 28 лет, она несколько романтизировала ее.

В былые времена, если верить романистам, на рынке любви преобладали соблазненные горничные, изгнанные из богатых домов; в наши дни, когда горничных давно уже не существовало, общественную потребность удовлетворяли продавщицы магазинов, подавальщицы в пивных, уборщицы, парикмахерши, медсестры. Нам довелось беседовать с Шуручкой. Она была откровенной — насколько позволяет женщине быть искренней ее лицедейство перед самой собой. Что прельстило ее, почему она согласилась работать у Эрастовича? Она пожалала плечами. А почему бы и нет? В самом деле, вместо того чтобы спрашивать, что побуждает девушку выйти на панель, следовало бы спросить, что удерживает ее от этого.

Десять, а то и больше суточных дежурств в месяц, весь день на ногах, ночью тоже нет покоя, так что к концу смены валишься с ног; а ведь и дома тоже не сидишь без дела. А зарплата? За такую зарплату вкалывать — надо еще по-

¹ Право первой ночи (лат.).

искать дураков. Да и вообще... В этом «вообще», собственно, и заключался ответ, заключалась правда, для которой ссылки на трудную жизнь были скорей оправданием.

Укажем на очевидный парадокс публичного ремесла: проституция, как нам объясняли, представляет собой опредмечивание женщины; не столько надругательство над телом, сколько пренебрежение личностью; женщина есть товар, объект желания и наслаждения, прочее несущественно. И в то же время, да, в то же время это ремесло обещает ей то, чего никогда не может дать обыденная жизнь. Разве не она, эта тусклая, скучная, безжалостная и бесперспективная жизнь, аннулирует ее личность? Тогда как «ремесло» возвращает свободу. Если хотите, возвращает чувство собственного достоинства! Ремесло приносит деньги, но так же, как скудость средств не была единственной причиной схождения на стезю порока, гонорар сам по себе еще не есть единственный резон продажной любви. Проституция тела есть раскрепощение души, да, не что иное, как особый способ самоутверждения, если угодно, самоосуществления.

Быть может, парадокс этот задан самим языком. Разве шум языка, риторика языка, демагогия языка не навязывают нам готовый образ мыслей, готовый ответ, едва только мы произнесли все эти слова: купля, продажа, отчуждение, унижение? Шурочка ожидала увидеть циничного поработителя, презрительного хама — чего доброго, для начала предстояло разделить постель с ним самим. Вместо этого ее встретил джентльмен изысканных манер. Шикарный дядька! Дуновение иной жизни, похожее на аромат французских духов, обдало ее; она почувствовала себя в мире романтической богемы, в пестром и переливающимся, как финифть, мире кино, эстрады, конфет и коньяков, беспечности и головокружительного веселья. Проституция... При чем тут проституция? С этим грязным словом связывалось что-то непотребное, пьяные девки на вокзалах, темные углы, венерические болезни. Это слово было оскорбительным. В нем было то самое, что мы называли демагогией языка.

Не говоря уже о том, что в нашей стране проституции нет. Проституция как социальное явление в нашей стране уничтожена. Проституцией вынуждало женщину заниматься полуголодное существование. У нас голодных нет. Олег Эрастович показался ей немножко комичным, немножко дураковатым, даже трогательным, очень ученым и бесконечно обворожительным. Должно быть, в молодости был орел... Он рассмешил и поразил ее в первую же минуту. Когда в прихожей она сняла свой плащ. Когда она взбила волосы. Как он смотрел на нее! Или, лучше сказать, какой юной, стройной, манящей, изящной и таинственной она увидела себя в мерцающих стеклышках его пенсне!

Позировать перед несколькими зрителями — совсем другое дело, чем перед одним: проще и безопасней; хорошо, что Илья присутствовал на смотринах. Но что Илья! Настоящим зрителем и ценителем был этот старикашка в лиловых усах, именно это зеркало дало ей понять, что она женщина, открыть в себе то, что дремало в ней и что было сковано предрассудками, лицемерием, задушено тухлой жизнью, унылым бытом, всеобщим хамством. Что он там пел? Она почувствовала себя несколько сбитой с толку, услышав ученые слова, ее насмешил этот комментарий, может, он и вправду какой-нибудь профессор. Но она понимала, что не в словах дело, слова сами по себе ничего не значат. Голос Олега Эрастовича был точно бархатная ладонь. Она видела, как он повел мясным носом, широченными ноздрями, точно принохивался. Пенсне Олега Эрастовича щекотало ее нежными молниями. Увидеть свое отражение и испытать восторг. Увидеть себя в зеркале мужских глаз — и в страхе обнаружить, что от тебя ждали большего? Ведь и это могло случиться. Вот что было причиной ее неуверенности, волнения и стыда.

«Послушайте, молодой человек... чья это работа?»

«Гм. Э...»

«Я спрашиваю, чья это работа».

«Олег Эрастович, я сам не понимаю. Уверяю вас, я тут ни при чем. Хотел книжки посмотреть... А она свалилась».

«Сама свалилась».

«По-видимому. Странно, что она так легко сломалась. Мне кажется, янтарь ненастоящий».

«Но, но! — кричал хозяин. — Вы даже не представляете себе, кто мне преподнес эту башню. Самый дорогой подарок в моей жизни».

«Можно склеить?».

«Все можно склеить. Жизнь не склеишь... А, что говорить! — Он сидел в кресле, сняв пенсне, тяжело вздыхал, сопел и дергал себя за эспаньолку. — По-настоящему вам бы следовало компенсировать мне эту потерю. М-да. Так чем могу служить?»

«Насчет машинистки...»

«Машинистки? А, ну да! Совсем забыл. Из головы выскочило. То есть, конечно, не совсем, но, знаете ли... Войдите в мое положение, — сказал Олег Эрастович, — у меня неприятности, у меня всегда были и всегда будут неприятности, увы, характер такой, не умею отказывать. А неприятности, как вы, может быть, знаете, всегда означают дополнительные расходы. Неприятности означают: плати и плати!»

«Что... опять?»

«Нет, нет! Слава Богу, пока еще не то, что вы думаете, хотя, разумеется, и властям придерживаясь требуется положенное, кесарю кесарево! То есть не то чтобы кто-нибудь так уж прямо стал напирать, но, знаете ли, никогда не мешает приобрести друзей заранее. Я вам скажу так: это правило жизни — друзей надо приобретать своевременно! Кстати, могу похвастаться: один из крупных чинов, там... — он показал на потолок, — не буду его называть, но действительно крупных, на уровне города, — мой друг. Я думаю, эта девочка ему очень придется по вкусу. Тем более что я обещал ей похлопотать насчет жилплощади».

«Кстати, Олег Эрастович... я бы хотел вас попросить: проявите к ней заботу».

«Всенепреренно. А что, вы с ней в близких отношениях?»

«С чего вы взяли? Старая дружба... просто так».

«Угу, — отозвался Олег Эрастович. — Милый мой, я ко всем моим подопечным отношусь с одинаковым вниманием. Но в том-то и дело, что не все отвечают необходимым требованиям. Я ничего не говорю о вашей протее. Слов нет, недурна, ноги, правда, коротковаты, но это ничего. Характер, кажется, неплохой, не избалована, не знаю, как насчет технических навыков, но это дело наживное. А вот с еще одной дамой я постоянно наживаю неприятности, уволить жалко: ни кола ни двора, нет московской прописки, надежды на брак никакой, одна дорога — на панель, на Курский вокзал, и, конечно, моментально сопьется, а между тем уже сильно за тридцать и, сами понимаете, шарм уже не тот... Одним словом, — продолжал он, и в руке у него снова появился заветный фиал, — ваше здоровье, как говорится, дай нам Бог всем... Одним словом, клиент звонит, какой-то кавказец, я даже не успел как следует с ним познакомиться. Был мне рекомендован, первый раз в столице, кто мог знать? Громы и молнии. Убежала от него в слезах, и вот теперь он грозит дойти чуть не до Верховного Совета, грозит прокуратурой, у него там брат или сват, у всех невероятные знакомства и аристократическое родство. Мне, мне грозит, вы понимаете? Разумеется, я не поддаюсь на угрозы, я, знаете ли, при случае сам могу пригрозить. Но пришлось платить! Пришлось срочно вызывать замену, гонорар за мой счет, чтобы эта сволочь заткнулась».

«И что же?»

«Ничего, уехал довольный».

«Олег Эрастович, так как насчет...»

«Да, да. Память! Память! — вскричал Эрастович. — Пойдите... ага. Могу вам рекомендовать одну очень интеллигентную машинистку, пожилая дама, из наших, превосходно владеет русским языком. Может одновременно быть редактором, безупречная грамотность, видите ли, по-русски уже давно никто не в состоянии писать грамотно...»

«Угу... Можно на вас сослаться?»

«Сослаться-то можно, но...»

«Олег Эрастович, я ничего лишнего не скажу».

«В самом деле, кого я учу? Старого конспиратора!»

«Вот именно, можно ей позвонить?»

«Все эти ваши игры. Доиграетесь когда-нибудь...»

«Да мы ничего не делаем, Олег Эростович. Мы в политику не ввязываемся».

«Это вы им скажите. Я сам с ней переговорю. Так будет лучше... Но, дорогой мой, это очень квалифицированная машинистка. И, сами понимаете, коэффициент секретности. Одним словом, это дорого стоит».

«Может, мы как-нибудь с этой тетенькой договоримся?»

«Тетенька! Вы не представляете себе, кто она такая. Наши бабушки были кузинами! Словом, короче говоря, поручиться не могу, впрочем, посмотрим. Могу ли я в общих чертах, э-э, узнать, о каком материале идет речь?»

«Номер еще не совсем готов, но лучше начать уже сейчас. Остальное буду подкидывать по мере поступления материала. Полтора интервала. Двадцать экземпляров».

«Mon Dieu¹, двадцать экземпляров, куда вам столько? А вы мне все-таки Спасскую башню... того... должны компенсировать».

Внизу слышались стук когтей, подвывание, перешедшее в длинный монолог, пес жаловался на черствость хозяина, одиночество, неблагодарность друзей, скверное пищеварение, пес предрекал новые беды и конец времен, и деревянный карлик у входа на лестницу со шляпой в руках тщетно старался его урезонить.

IV. Визиты. Что говорит глухая полночь?

«Послушайте, мы договорились в восемь. Фи-и-и-у! Вы меня слышите?»

«Слышу. Алё».

«Мы договорились... а сейчас...»

«Алё...»

«Фи-и-и-и-у!»

Мистическое пространство телефонии можно сравнить с загробным царством, с четвертым измерением, с пространством коллективного сознания, с акустикой морской раковины. Вой ветра, шум океана, позывные терпящих кораблекрушение. Постепенно звуки стихают. Шелестит эфир. Вращается диск, палец набирает номер. Ухо улавливает далекое мелодичное позвякивание, словно постукали ложечкой о графин. «Это ты, сволочь?» — буркнул Рубин. Он вешает трубку. В это время гипотетическая «сволочь» сидит с огромными наушниками на голове в одном из этих зданий, похожих на колонии полипов. Держать вас в постоянной неизвестности, в неуверенности. Все слышать, присутствовать везде. Повсюду быть — и в то же время не быть. Главнейшее правило сыска. Если они подключились к линии, могут ли они определить местонахождение «объекта»?

Дождь стекает по стеклу, в мутной мгле светятся окна домов. Он разглядывает коробку аппарата, дует в трубку в смутной надежде отогнать демона. Техника совершенствуется, не исключено, что уличные телефоны снабжены особыми приспособлениями.

Он усмехается: допустим, что так оно и есть; но можно ли процедить сотни километров подслушанных разговоров, всю эту словесную жижу, которая течет по каналу, — сыск захлебнется! Ему приходит в голову забавная мысль. Телефонная сеть с ее волокнами и ганглиями совершенствуется подобно естественной нервной системе. И однажды эта эволюция приведет к тому, что в искусственном нервном клубке проснется сознание. Чудовищный организм заживет собственной призрачной жизнью.

Спиритизм вытеснен в наше время общением с электромагнитными духами. Почему не допустить, что потусторонний мир нашел для себя удобным общаться с миром живых посредством электроакустических импульсов? Крутящийся диск телефона-автомата, не напоминает ли он столоверчение?

¹ Боже мой (франц.).

«Алё?»
«Фи-и-э. У».

Бесчисленные подстанции, дублирующие и аварийные линии, блоки-отстойники, электроакустические шлюзы, координатные соединители, миллион импульсов в секунду. Заблудившиеся токи, подключения и соединения, возникающие сами собой, голоса, блуждающие по проводам, голоса умерших, голоса неродившихся, голоса людей, которых нет и не было, несуществующие разговоры, галлюцинирующий мозг телефонии! Система сама начинает продуцировать фантастическую информацию. А эти ослы там сидят и все это слушают.

Дождь брызжет в будку, вертится шаткий диск. Он набирает номер, вешает трубку, вынимает монету, снова сует ее в щель, набирает, слышит шелест, гудки и позывные подслушивания. Существует ли все эти службы — палец вращает диск, трубка, как теплая ладошка, греет ухо, — существуют ли эти службы на самом деле или все это только призрак телефонии, блуждающие токи, измышление гигантского, разбросанного по городу искусственного мозга?

«Послушайте, нельзя же так, мы договорились в восемь. А сейчас...»

«Буду у вас через десять минут», — прошептал Илья Рубин и выскочил в потоп дождя, потерявшего всякую совесть.

Филология давно уже произвела инвентаризацию сюжетов, свела их к буквенным формулам, так что, к примеру, «Мёртвые души», по сути, мало чем отличаются от Гомера: *А* путешествует и посещает *Б, В, Г*. Чего филология не учла, так это того, до какой степени жизнь находится в рабской зависимости от литературы: в конце концов мы все — ходячие буквы. Но погода, сволочь... Как приятно нырнуть в подъезд!

Скиталец сбрасывает с промокших ног некогда щегольские мокасины и греет пятки у тепловатой батарее центрального отопления. Наверху хлопнула железная дверь, в шахте лифта дернулись канаты. В полутьме, крадясь вдоль стены, он влачит по лестнице свой набитый крамолой портфель и встречает тускло освещенную кабину между пятым и шестым этажом с человеком, который мечтательно провожает его глазами. Выше, выше... Он поглядывает на канаты лифта, они неподвижны. Пятый этаж, шестой этаж. Динь, дилинь! Часовых дел мастер стоит в дверях.

Некоторое время гость, перегнувшись через перила, вглядывается в лестничный пролет.

«Не хотелось бы...»

Из квартиры:

«Дзинь, дзвонн!»

«В чем дело?»

«Не хотелось бы подвергать вас неприятностям...»

«Дилинь, дилинь, дилинь. Цик, цак».

«А мне наплевать».

«Там кто-то застрял в лифте».

«Это бывает».

«Цик-цак. Тик-так. Цик-цак».

«Как вы думаете, они могут узнать, из какого автомата я звонил?»

«Они все могут. Послушайте, я вас ждал к восьми. Точность!» — сказал хозяин квартиры, закрывая дверь за вошедшим. Вопреки впечатлению, которое производил по телефону его голос, он не казался стариком, скорее выглядел человеком без возраста. Время не имело власти над тем, кто сам заведовал временем.

«Точность, деточка, — это вежливость королей. Что было бы, если бы Цезарь опоздал на заседание сената, если бы Наполеон не явился вовремя к месту сражения? История пошла бы под откос. Страны, где люди не привыкли смотреть на часы, хиреют на обочине цивилизации. Что же мы стоим, прошу».

И он отворил дверь для прихожей в комнату, служившую спальней, мастерской, кабинетом для размышлений и лабораторией для опытов.

Мы должны описать ее хотя бы в общих чертах, так как это было что-то необыкновенное. На стене была прикреплена фотография Бюраканского телескопа. Висели таблицы и номограммы, висело еще что-то, но главным обра-

зом комната была увешана часами различных фасонов. Отовсюду — со стен, с полок и с потолка — позванивало, постукивало, пощелкивало. В углу помещались похожие на стоячий гроб столовые часы, круглый циферблат без стрелок напоминал лицо покойника; на стеллажах тикали будильники, подрагивали стрелками приборы сложного назначения; часы-сейсмограф, часы-вольтметр, часы — вечный двигатель, к сожалению, остановившийся, отчего и пришлось отдать его в починку, часы, состоящие из одного маятника, без циферблата, и даже часы, где вообще ничего не было: ни маятника, ни стрелок, ни механизма; так сказать, платоновская идея часов. И, наконец, посреди мастерской, на рабочем столе, находилось сооружение, которое можно было принять за алхимический перегонный аппарат. Следовало бы остановиться на нем подробней. Но Августин Иванович, едва только гость сделал шаг к столу, потушил электричество в комнате. Остался виден слабый фиолетовый свет, струящийся в трубках.

«После, всему свой черед,— пробормотал часовой мастер.— Всему свое время, как сказано в Библии. Сперва перекусим... Я ждал вас целый вечер.— Оба сидели на пластмассовых табуретках в крошечной кухне.— Скажу только, чтобы вас не мучить, это время... Да, это слово следовало бы писать с большой буквы! Время — это абсолютно замкнутая система. Ничто не добавляется, ничто не выливается. Опять же, как в Библии говорится: все реки текут в море, а море не переполняется, к тому месту, откуда они текут, они же и возвращаются, чтобы снова течь. Голубое свечение, разумеется, чисто искусственный эффект...»

Из комнаты: цик-цик, так-так! Цирлидзинь. Цирлидзинь!

Он продолжал:

«К стеклу добавлен люминофор. Само по себе время бесцветно... Так вот. То, что вы видели, вот эта самая жидкость, которая перетекает из одной трубки в другую, поднимается по градуированной колбе, сливается в сосуд, оттуда снова по трубкам и опять в колбу и так далее...— Его палец описывал плавные круги в воздухе.— Так вот, это не просто переливание из одного сосуда в другой. Это даже совсем не переливание. Я бы мог вам доказать, что то, что там течет, тотчас же исчезает. Непрерывно уничтожается и непрерывно возникает. То, что там течет,— это, детка моя, не просто жидкость. Это жидкость невесомая... Возможно, вы заметили там на градуированной колбе цифры — жидкость поднимается, отсчитывает часы, минуты, но это не то, что вы думаете, то есть это не просто жидкие часы, которые показывают время. Это часы, которые вырабатывают время!»

«Я думал, это запрещено»,— заметил Рубин.

Часовщик свирепо расхохотался.

«Время не запретишь! Время никому не подчиняется!»

«Я не об этом».

«А о чем же?»

«Я думал,— сказал Илья,— заниматься ремонтом часов на дому запрещено».

«Почему же это запрещено? У меня есть справка. Как инвалид я имею право работать на дому. К тому же, если есть знакомства, все разрешается. Мажьте масло. Чайку? Может, водочки?»

«Отличная идея».

Хозяин Августин Иванович добыл из холодильника белую от инея бутылку. Выпили и закусили бородинским хлебом с крахмальной колбасой.

«Мажьте масло, у меня масло настоящее... В нашем роду все были часовыми мастерами: и отец, и дед. У дедушки был завод. Мой дедушка, если хотите знать, лично руководил ремонтом спасских курантов, в каком году, дай Бог памяти... Существует предание, что будто бы когда эти часы были построены немцами, то на торжественном молебне куранты вместо «Боже, царя» заиграли «Ах, мой милый Августин». Я думаю, сами немцы эту сплетню и сочинили... Слушайте: а может, это было предсказанием? А? Короче говоря, я, можно сказать, вырос среди часов. Ну и, конечно, моя квалификация ценится. Некоторые мои заказчики, знаете ли, оч-чень влиятельные люди... Я вам могу не только любые часы починить, старинные, с секретом, какие угодно. Я могу соорудить

любые часы, могу из старых деталей собрать — не поверите, будут, как новые. Послушайте,— сказал он с укором,— я тут перед вами бисер мечу, а вы? У меня такое впечатление, что вас как будто даже ничего не удивляет!»

«Нет, отчего же? — сказал Рубин.— Просто я не успел рассмотреть».

«Рассматривать необязательно. Я говорю об идее. По-моему, вы не отдаете себе отчета, что все это означает!»

«Нет, отчего же, очень интересно...»

«Интересно, х-ха! — сардонически воскликнул хозяин.— Вы так считаете, дорогуша... Вы даже не представляете себе, какие невероятные перспективы открываются!»

«Например?»

«Например? Режьте колбасу, тогда все станет ясно. Ваше здоровье...»

«И ваше».

«Ах, хороша!.. Послушайте, не в службу, а в дружбу, мне трудно из этого угла вылезать. По-моему, здесь сквозит. Еще схватишь воспаление легких, в моем возрасте... Сделайте милость, прикройте дверь».

«Августин Иванович, простите за любопытство: сколько вам лет?»

«Сколько мне лет, хе-хе. Сколько хотите, столько и будет! Сколько есть, все мои... Так вот: какие перспективы. Да хотя бы аккумуляция времени. Нравится вам это или нет. Конечно, технически очень сложная задача, ведь время возникает только при условии непрерывного самоуничтожения. Но ничто не говорит о том, что это в принципе невозможно. Часы-аккумулятор — можете вы себе представить, что это такое?»

«Гхм».

«Вот именно. Вы правы, над этим надо еще поработать. Ваше здоровье. Ах, хороша! Погодите, то ли еще будет. Это не поддается воображению. Деточка, я вам скажу вот что. Не знаю, правда, интересно ли это для вас... Проголодался я, черт бы меня побрал!» — воскликнул Августин Иванович, жуя хлеб, лук, все подряд, что было на столе, и усердно подливая себе и гостю.

«Я тоже где-то слышал...»

«Что? Что вы слышали?»

«Что время — это особое вещество. Есть такой астроном Козырев, он тоже доказывал, что...»

«Не смейте при мне упоминать это имя! Это шарлатан. В лучшем случае душевнобольной. Такие люди способны только скомпрометировать идею».

Гость выбрался из-за шаткого стола и воротился из прихожей с портфелем.

«Августин Иванович, я вам хочу показать, чтобы вы имели представление... Здесь материалы для первого номера. Если хотите, можем придумать вам псевдоним».

«Зачем?» — спросил часовщик.

«На всякий случай... для безопасности».

«Чтобы потом говорили, что это не я? Чтобы кто-нибудь присвоил мое открытие? Милый мой, вы не знаете, что за люди нас окружают».

«Хотите взглянуть?»

«В другой раз. Видите ли...— Он вздохнул, поскреб на затылке траченные молью волосы.— Все никак не соберусь. Опять же надо выбрать время, чтобы изложить мои результаты систематически, а времени свободного нет, смешно, не правда ли? Сапожник сидит без сапог. Так и я: не хватает времени! Дело, как вы понимаете, упирается не в технику — тут вопрос философский. Мой знаменитый тезка считал, что время — это протяжение духа, что-то в этом роде, где-то у него что-то такое написано. Туманное определение. Я подозреваю, что он так считал, чтобы не вносить лишнюю путаницу в картину мира, которая сложилась к тому времени... Но если время — это субстанция — вас не пугает этот философский язык? — или, скажем так, невещественная материя, или, еще лучше, первооснова мира, так что все вокруг нас и мы сами не что иное, как объективация времени, так сказать, сгустки времени, вы сгусток, я сгусток, так вот если это так — а это именно так! — то ведь тогда все меняется, вся картина мира. И, конечно, вся философия: тут и Кант летит кувырком, и хрен знает кто!»

«Вот я и говорю. Устройство прибора, все эти технические детали — это вы можете опубликовать в каком-нибудь специальном журнале...»

«Да в том-то и дело, что не могу! Время — это материя... Да за одно это слово, попробуй я только заикнуться, эти материалисты меня повесят! Эх, дорогая мой! Такова судьба всех новых идей. Выпьем. И я вам вот что скажу, — зашептал он, — только это пока сугубо, сугубо между нами! Если весь этот балаган — вы понимаете, что имею в виду? — вся эта империя, наше с вами отечество, черт бы его побрал! — если все это в самом деле идет ко дну, то ведь я могу спасти Россию. Все эти чучмеки, казахи, вся эта шобла пусть катится к едрене фене, на хера они нам нужны! А вот Россия! Эти часы тикали тысячу лет... Я могу завести их заново! Я могу продлить жизнь этому государству, могу ему одолжить время, раз уж собственного времени больше не остается. А? Как вы на это посмотрите? Или вам это безразлично?»

«О, нет!»

«Только это сугубо между нами...»

«Потрясающе! И такие мысли вы хотите скрыть от...»

«От кого?»

«Гм, от кого. От тех, кто вас поймет. Кто оценит ваше изобретение. От читателей!»

«Каких это таких читателей?» — прищурился Августин.

«Вы не волнуйтесь, — сказал Илья Рубин. — Пишите, а я подредактирую. О стиле не беспокойтесь, главное — изложить вашу идею.»

«Да, но это же чрезвычайно сложный философский вопрос. Вы, вероятно, не отдаете себе отчета...»

«Если хотите, — сказал редактор, — можно под псевдонимом.»

«Псевдоним? Ни в коем случае!» — закричал часовщик.

«Так я могу рассчитывать?»

«Гхм. Вы хотите сказать?...»

«Вот именно.»

«Чем черт не шутит?»

«Совершенно верно.»

«Но это же чрезвычайно сложный философский вопрос!»

«Тем лучше», — отвечал Рубин.

Из лаборатории: цик-цак. Донн, донн.

Складывается впечатление, что царя Итаки все время преследовали неблагоприятные навигационные условия. То и дело буря заносит его к неведомым островитянам. Между тем дождь перестал, выйдя, как на палубу, на крыльцо панельного дома, где находилась мастерская часовщика, странник увидел звездное небо. Поодаль, наискосок от подъезда, стоял автомобиль, невозможно было понять, сидит ли там кто-нибудь, это могли быть «они», это мог быть местный житель, техник-строитель, которому посчастливилось заработать деньги на машину в братском Йемене, это мог быть поздний любовник, прикативший на левой машине, это мог быть халиф Гарун аль-Рашид, переодетый славянином, в брезентовом макинтоше вместо бурнуса. А на другой день настало бабье лето.

Тусклое солнце озарило кварталы новых районов. Дом-хибара выдающегося мыслителя, молва о котором гремела в те годы в интеллектуальных кругах, находился на окраине окраины. В отличие от окраинных жителей, ненавидевших природу, ибо они сами были ее детьми, философ придавал принципиальное значение жизни на лоне природы. Все было предусмотрено планом градостроительства: рощи, луга, газоны, — однако человек предполагает, а Бог располагает, или, лучше сказать, Бог предполагает, а человек обращает его благие предначертания черт знает во что: лужайки превратились в выставку строительных материалов, куртины — в свалки мусора; от деревни остались полусгнившие срубы; трясина, по которой ныряли грузовики, некогда была улицей, здесь и обитал в возвышенном уединении в единственной уцелевшей избе вдвоем с женой Петр Максимович Нежин-Старковский.

За домом находился огород, где он возделывал помидоры и табак-самосад, стояли огромная береза, употребляемая для особых целей, и сарай, куда нам еще

предстоит навеститься. В ту самую минуту, когда гость, ступив с опаской на шаткое крыльцо, готовился грохнуть кулаком в дверь, хозяин в валенках, галифе и майке появился из-за угла избы. «Милости прошу,— промолвил он,— entrez¹, говорили наши предки! Давно наслышан, почту за честь познакомиться».

Петр Максимович изъяснялся на языке девятнадцатого века, который он обогатил собственными нововведениями. Он числился старшим научным сотрудником института истории революционного движения, где руководил сектором стран, освободившихся от колониального ига. Это значило, что в его ведении находился наиболее перспективный район, куда в настоящее время переместился очаг мирового революционного процесса. Это также означало, что не было никакой спешной необходимости ходить на работу. Два раза в месяц, первого и пятнадцатого числа, он снимал валенки, облачался в цивильную одежду и ехал в институт за скромной зарплатой, где, кроме того, платил членские взносы, посещал собрания и голосовал за резолюции. Все это составляло то, что можно было назвать его общественными обязанностями. Что же касается личной жизни, то жить означало для Петра Максимовича мыслить; в этом пункте он был согласен с Декартом, с которым расходился во всех остальных пунктах. С Шопенгауэром он был согласен в том, что творческий и мыслящий ум обращается не к современникам, а к потомкам; во всем остальном он не был с ним согласен. С Гегелем он сходил на том, что мировой дух, соскучившись в своем абстрактном одиночестве, пускается в авантюры, превращаясь по ходу дела в природу и в историю; в остальном он с Гегелем расходился. Аристотель, по его мнению, был прав, когда сказал: Платон мне друг, но истина дороже; в остальном Аристотель был не прав. С Бердяевым он соглашался во всем, за исключением того, с чем нельзя было согласиться. Что же до Маркса, то к нему Петр Максимович относился непримиримо за вычетом того, с чем волей-неволей приходилось мириться. Из сеней прошли в горницу, где посетителя ждал накрытый стол.

За столом сидела жена, из открытой двери виднелась спальенка — кровать с подзором и горой подушек.

«Что ж? Приступим...» — промолвил хозяин, озирая скудную закуску. Гость галантно вознес бокал за здоровье хозяйки.

«Утром проснулся, выхожу — на ум пришло «Письмо матери» Есенина. Ты жива еще, моя старушка? — И Петр Максимович нежно погладил руку жены. — Жив и я, привет тебе, привет. Что может быть проще, чище и божественней?..»

Вздыхнув, он разлил по второму разу желтоватый напиток, настоящий на березовых вениках, и капнул себе валидол. Занес графинчик над рюмкой жены. Высокая грудь Капитолины Федоровны была прикрыта кружевами. Она взглянула на него широко раскрытыми васильковыми, точно эмалированными, глазами.

«Ничего,— пробормотал он,— хотя бы для виду. За компанию. Оно не вредно...»

Застенчивое лимонное солнышко заглядывало в окно, ни единого звука не доносилось снаружи, гость и чета хозяев погрузились в благоговейное молчание, наступил блаженный миг насыщения и согласия с миром.

«Знаю,— проговорил Петр Максимович,— догадался о цели вашего визита и готов всемерно соответствовать. Делаю отсюда вывод, что вы хотя бы отчасти знакомы с моими трудами... Постоянным источником вдохновения служит для меня поэзия моей жены. Капитолинушка... ты бы нам почитала».

Держа перед собой самодельную тетрадку, Капитолина Федоровна долго смотрела в окно, губы ее шевельнулись, она произнесла низким голосом:

«Это из последнего... Последний луч, блеснувший над Вселенной, последний возглас: о, спаси меня! Твой вечный дух, твой взор нетленный...»

«Живу на природе-воле. Ум свой держу в позитиве, а не в критиканстве упражняю. Полагаю, с государством надо жить в обнимку, мы подпираем державу, держава осеняет нас. Начальство, какое ни есть, воплощает Начала,— говорил, балансируя между грядками, Петр Максимович.— Сказано: покорствуйте

¹ Входите (франц.).

властям... Я человек свободный, пишу-мыслю, того, что имею, мне хватает. За чужим не гоняюсь, чужеземному не завидую. И никуда я не хочу ехать, никуда! Зачем? Чего я там не видел? Русская душа чурается сухого рассудка. Русскому человеку не страшна смерть, была бы только Русь, природа-родина, а она есть: была, есть и никуда не денется. Другие проявили себя кто в чем: греки — это искусство, евреи — это их Бог. А Россия соединила-связала все в один узел, все переварила в своем котле — и татар, и немцев,— и не надо нам ни у кого просить, не надо ихнему благополучию завидовать. Вот она, наша земля,— сказал Петр Максимович.— Благодать-то какая, а?.. Но! Пустует земля, засыпается обломками, эрозируется почва, стонет баба-земля, губят ее города.

Вошли в сарай.

В луже света, сочащегося сквозь ветхую крышу, возвышался треножник с цинковым баком. В углу, забытая, может быть, еще со времен коллективизации, стояла ржавая сеялка. Вдоль задней стены сарая, за самогонным аппаратом, на полках из неоструганных досок стояли и лежали переплетенные в картон, ситец и дерматин рукописные труды.

«Мои думы... Слово «дума» — емкое слово, исконное наше слово, ни на какие языки не переводимое. Западному уму оно невнятно. Западный философ — это рассудок, логик-математик, он тебе систему выстроит, все по полочкам разложит, а Россия ни в какие системы-философемы не влазит, никаким классификациям не податлива. Оттого и дума в русском смысле — дума всецелая, всеединая, образная. Дума-думушка... Тут тебе и философия, тут тебе и поэзия, и душевный разговор, и забота, и древнее наше государственное собрание, соборное думание. Вот-с, выбирайте...»

Рубин углубился в чтение. Он сидел с рукодельным фолиантом на каком-то ящике, а хозяин заглядывал к нему через плечо.

Рубин прочел:

«И они тоже явились по воле Рока к большому русскому столу. Наша гордость — Суворов — взял Прагу, вошел в Варшаву, и заполучила Россия целых три миллиона, а с ними — и революцию, и казнь царя, и социализм. Так что грех великий произошел. Нет у них ни почвы, ни родины и вместо космоса один только логос...»

«Это так, теория,— застыдился Петр Максимович.— Не принимайте на свой счет. Может, что-нибудь другое?»

«Отчего же, очень интересно»,— отозвался Рубин.

«Я там дальше пишу, что не надо никого гнать, раз уж они тут живут. Русский человек терпелив. Я считаю, что для свободной мысли не может быть предрассудков и неприкасаемых наций тоже нет. Вы как полагаете?»

«Совершенно с вами согласен».

«Раз уж так случилось, что они все лучшие места заняли, пока наш брат русак в затылке почесывал».

Рубин развел руками.

Петр Максимович добавил:

«Да только за свободу надо расплачиваться».

«В каком смысле?»

«Да в самом обыкновенном, житейском».

«Вы хотите сказать...»

«Нет, нет! Я уже вам сказал. Критиканством не занимаюсь. Критиканство не одобряю! И на державу не посягаю, наоборот. Держава всех нас держит. Что мы без нее?.. Но, знаете ли, живу нелегко... Зарплата моя ничтожная. Пенсия будет кот наплакал. А ведь надо и что-то жевать, пищу добывать себе телесную, хлеб насущный. И жена у меня хворая — сами видели... Уж каких я только докторов не приглашал, частным порядком, разумеется. А где взять денег? Тружусь от зари до зари, а ведь ни копейки за это не получаю.— Наступила пауза.— Понимаю, конечно,— проговорил хозяин упавшим голосом,— что моя просьба покажется неуместной. Уж вы не взъщитесь. Может, какой-никакой гонорарчик подкинете?»

Поднимаясь по лестнице, Илья Рубин слышал дальние взрывы. Мощные руки брали аккорды. Он вошел в комнату, где все дрожало и дребезжало, дрожали оконные рамы, черный облупленный инструмент, за которым сидел му-

зыконт, сотрясался, люстра раскачивалась под потолком, на столе подпрыгивала тарелка с неоконченным завтраком. Музыкант работал: нога без устали нажимала на педаль, над челом, лоснящимся от пота, взлетали остатки волос, плечи вздымались и опускались, руки с растопыренными пальцами молотили по желтой, похожей на старые зубы клавиатуре. Последний громopodobный аккорд расколол потолок, хозяин схватил карандаш, что-то исправил в помятой и засаленной нотной тетради на пюпитре. Отшвырнул карандаш, взял с пианино и поставил себе на колени огромную пепельницу и принялся ворошить содержимое. Рубин подал ему другую пепельницу с подоконника.

«Вот что может сделать самая обыкновенная восходящая кварта! Ти-ри-ри...»

Музыкант нашел подходящий окурок, гость подскочил с зажигалкой. Музыкант перхал и кашлял.

«Как вы понимаете, клавир дает слабое представление о замысле. Я расширил группу духовых,— кашлял он,— до десяти тромбонов, кланг-резонаторы, я вам как-нибудь объясню, что это такое, плюс ансамбль ударных, причем литавры расставлены в разных местах... И, кроме того, ввожу в заключительную часть два четырехголосных хора... Колоссальный замысел, поверьте мне... А как вам нравится вот эта реплика? Это, кстати, тоже политональный аккорд». Повернувшись к желтой пасти инструмента, он вперил взор в тетрадь и ударил нечто неслыханное.

«Тут есть маленькая хитрость... Помните? У Моцарта в соль-минорной симфонии... три-ри-ри,— его пальцы прыжками неслись по клавиатуре,— и так далее... пи-рим-пам-пам! На-а, ра-а-ра... Казалось бы, все так просто, так мило. И вдруг... и вдруг!»

Он приподнялся над круглым кожаным стулом и, примерившись, грохнул из последних сил. Тетрадь свалилась с пюпитра. Композитор, тяжело дыша, с измочаленным видом и дотлевающей папиросой во рту смотрел на Рубина с выражением величавой тоски, отчаяния и восторга.

Гость пролепетал:

«К сожалению, я... Но я много слышал о вас... Моя мать — преподаватель музыки, так что я с детства... Но, понимаете... Как медведь на ухо наступил!» «Вам можно посочувствовать»,— сказал хозяин надменно.

«Но это не значит, что я не в состоянии...»

«Будем надеяться!»

«Может быть, в двух словах?»

«В двух словах, ха! Вы думаете, это так просто?»

Маэстро обвел глазами убогую комнату. Нетерпеливо пошевелил пальцами, гость поднес пепельницу.

• «Я всегда недокуриваю. Начну, брошу, потом приходится искать...» — бормотал хозяин.

Он откопал почти целую папиросу, задумчиво поглядел на нее, бросил. Взял в руки тетрадь, полистал, швырнул на пианино.

«Конечно, это можно только условно назвать симфонией. Но как ее еще назвать: симфоническая поэма? Очень уж все это затрепано, да и что это значит — поэма? Вообще я не могу отнести ее ни к какому традиционному жанру. Первая часть еще выдержана в сонатной форме, а дальше начинается черт знает что».

«Может быть, кантата?»

«Ха-ха-ха! Вы меня насмешили. Нет уж, друг мой, хватит с нас этих кантат».

«Оратория».

«Я подумаю... Остановимся пока на старом обозначении. Малеровские симфонии — это ведь тоже, знаете ли... все что угодно, только не традиционная симфония!»

Он запел:

«O Mensch, gib acht! Was spricht die tiefe Mitternacht? Нет, это совсем не то... Так вот. В чем состоит, э-э?...»

«В чем состоит замысел».

¹ «О человек, внимли: что говорит глухая полночь?» (2-я симфония Г. Малера, слова Ф. Ницше) (нем.).

«Вот именно. В чем?»

Илья Рубин пожал плечами.

«O Mensch...» — мурлыкал композитор.

«Мм... да», — промолвил гость.

«Что вы хотите этим сказать?»

Рубин поднял глаза к потолку, развел руками.

«Нет, уж вы договаривайте, договаривайте! Что вы хотели сказать этим вашим «да»?»

«Собственно, ничего...»

«А ничего, так молчите и слушайте. Слушайте! — сказал вдохновенно хозяин. — Моя симфония — это грандиозное видение грядущего воскресения. Я смотрю поверх времен, поверх наций, речь идет обо всем человечестве».

«Гм».

«Я просил меня не перебивать!»

«Пардон».

«Мы приблизились к такому моменту в истории, когда человек должен ответить на главный вопрос. Больше увливать невозможно. Зачем все это? Войны, революции, неслыханные жертвы, надежды, разочарования, какой все это имеет смысл? Чтобы лучше жить? Или чтобы разрушить окончательно всю землю? Но согласитесь, ведь это не ответ. Великий вопрос: зачем? Может быть, вся история — чья-то чудовищная шутка, может быть, миром правит большое божество? Великие сомнения — вот содержание первых двух частей».

Маэстро курил, сосал что-то почти уже нематериальное.

«В прежних моих сочинениях я уже пытался ответить. Любовь, природа... Но это — как вам объяснить? — только предварительное решение. И вот тучи сгущаются. Мелькнул и пропал последний луч. Великое отчаяние охватывает душу. Это пока еще чисто субъективная музыка, несчастное, не знающее выхода сознание... Знаете ли вы, что одна из труднейших задач музыки — это преодоление субъективности, преодоление того, что со времен романтиков стало чем-то само собой разумеющимся? Вся дальнейшая история музыки — это не что иное, как эволюция человеческого сознания, его усилия разломать клетку, выйти на простор, приблизиться к вселенскому, универсальному — называйте как хотите, — к божественному сознанию... И еще одно важное замечание... Моя музыка чудовищна, но заметьте, это все еще тональная музыка. Вы, может быть, слышали... — хотя где уж вам? — что в начале века произошел отказ от тональности, это считается неизбежным, и это, конечно, следствие тотального одиночества человека, крушение всякой веры. Вот почему я хочу доказать, что радикальный ответ на вопрос о смысле истории может быть дан только средствами тональной музыки. Но все это произойдет в будущем, в заключительной части симфонии, а пока... пока безысходная печаль, разъедающая горечь разочарования, убийственный скепсис. Скрежещущие звуки, корчи оркестра... Так что же? По-вашему, на этом все и кончается?»

Он отшвырнул окуроч. Рубин сделал неопределенный жест.

«Вы хотите что-то спросить?»

«То, что вы пели. Это тоже из вашей симфонии?»

«Да нет же! Это Малер, это совсем другое... Вот видите, — сморщился композитор, как будто нюхнул что-то гадкое, — вы опять меня перебили».

Наступила неловкая пауза.

«Да, так вот. В глубоком сумраке, откуда-то издалека звучит мрачный зов. Он возмещает конец всему живущему на Земле. Близится Страшный суд. Дрожит земля. Рушатся города... Пробуждаются хтонические чудовища. Тщетно просит человек о пощаде, все человечество стонет, молит о милосердии. Эхо разносится в пустых небесах... И вдруг мы слышим чистые, хрустальные голоса. Это хор святых и небожителей. То, что должно произойти, и есть, собственно, не что иное, как воскресение, всеобщее воскресение, но, — композитор глубоко вздохнул, — это пока еще не написано. Это то, над чем я бьюсь, и не знаю, сумею ли найти решение. Будьте добры... вон там на окне... Может быть, — продолжал он, — даже к лучшему, что моя музыка не исполняется. Она и не будет никогда исполнена. Я просто не знаю такого коллектива, который мог бы с ней справиться...»

Рубин сказал:

«Но ведь совсем необязательно излагать программу».

«Моя музыка запрещена. Независимо от всяких программ. Знаете, что сказал председатель этого собачьего комитета? По делам музыкальной пропаганды, культуры, или, уже не знаю, как он там у них теперь называется... Он сказал: до тех пор, пока я здесь, ни одной ноты этого бумагомарателя, вредителя, этого отравителя нашей молодежи, ни одной ноты! Вот так! — сказал композитор и радостно раскашлялся...— Впрочем, знаете ли... В конце концов вся современная музыка существует гораздо больше на бумаге, чем в концертном зале. Важно, что она существует. Музыка существует сама по себе, понятно? В некотором сверхчувственном пространстве. А исполнение — дело второстепенное».

«Пожалуй,— пробормотал Рубин.— Тем более что соседи...»

«Что соседи?»

«Возражают, наверно».

«Было дело. Ничего. Не умрут. Привыкнут».

Гость покинул квартиру, откуда снова раздавались пушечные удары пианино.

V. Лицо без определенных занятий

Из всего сказанного как будто следует, что имеются все основания отнести Илью Рубина к этой обширной социальной категории.

Обычно, говоря о людях без определенных занятий, подразумевают, что парень, возможно, чем-то и занимается, но неизвестно чем; что-то делает, но незаконно, а главное — нигде не числится. Но последнее к нашему другу Рубину как раз и не относилось, ибо у него все же был официальный статус, было то, что можно считать статусом, правда, с некоторыми оговорками. В табельной ведомости должность Рубина носила загадочное обозначение «младший лаборант». Никто не знал, что это значит, и еще труднее было понять, что он делал в своем институте. В те времена все порядочные люди работали в институтах. Вообще надо заметить, что в наш век все может стать предметом научных изысканий и темой для диссертации, так что, например, вполне можно себе представить научно-исследовательский институт бань и прачечных, академию самогонарения или экспериментальный центр игры в преферанс. В институте, где подвизался Илья Рубин, экспериментировали с бумагами.

Коллеги находили, что он ни хрена не делал: с этим можно было бы согласиться, если бы удалось выяснить, чем именно занимались коллеги. Так как за всякую работу полагается получать зарплату, то регулярное получение зарплаты само по себе есть доказательство работы. Порядочный человек, занимающий сколько-нибудь приличное место, занимал его скорее символически. «Работа дураков любит», — гласит народная мудрость (из чего не следует, что дураки любят работу). Работали пиджаки. Порядочный человек с утра вешал пиджак на спинку стула, выкладывал на рабочий стол очки и до конца рабочего дня не появлялся. Порядочный человек дорожил временем. Он смотрел на часы, говоря озабоченно: опаздываю на симпозиум, спешу на заседание комиссии, ждут на бюро, — и больше его не видели. Так оно и шло.

Но по крайней мере в одном отношении коллеги были правы: в эпоху трудового энтузиазма, ставшего государственной религией, Рубин не давал себе труда соблюдать ее главнейший ритуал — делать вид, что что-то делается. В рабочее время Рубин слонялся по коридорам. Часами, не обращая внимания на косые взгляды начальства, травил анекдоты в курилке. Мог вообще не прийти на работу, хотя опять-таки что значит работа?

Некогда поразившая Гулливера Великая академия Лагадо по сравнению с институтом Илья оказалась бы в выигрыше: там по крайней мере занимались чем-то вещественным. И все же мы погрешили бы против истины, если бы попросту, что называется, одним росчерком пера, объявили коллектив научных работников скопищем дармоедов. Возможно, отдельные лица и заслуживали такой характеристики, быть может, даже целые отделы, но в целом институт

занимался отнюдь не очковтирательством. Институт выполнял ответственную государственную задачу. И даже считался секретным.

Ничего необычного в этом обозначении не было: мало ли существовало секретных лабораторий, заводов, институтов и даже целых строжайше засекреченных наук. Удивиться надо тому, как это человек с непатриотической фамилией, с сомнительной анкетой мог находиться, хотя бы и на смехотворнейшей должности, в таком институте, каким образом он мог получить, как тогда выражались, допуск. Было ли тут особое везение, сыграли ли роль коробка шоколадных конфет, преподнесенная девочке в отделе кадров, чье-то заступничество или просто халатность? Как он мог удостоиться? Факт, который мы не решаемся обобщать, но, во всяком случае, свидетельствующий об утрате бдительности.

Дело в том, что коллектив выполнял оборонное задание. Пусть не говорят, что секретность чаще всего царила там, где никаких секретов не было. Институт — об этом теперь можно сказать вслух — работал над секретным оружием. Подробное объяснение, что это было за оружие, здесь было бы излишним да и потребовало бы специальных знаний. Известно (в общих чертах), что это было наступательное оружие, соединявшее преимущества артиллерии, авиации, танков и боевых отравляющих веществ. Известно, что новое оружие предназначалось для операций в тылу врага, известно, что оно на сто процентов гарантировало победу. К несчастью, дело не дошло до решающей схватки, но при испытаниях в условиях, максимально приближенных к боевым, на полигонах Ближнего Востока, оно доказало свою неслыханную мощь. Оказалось, что устоять против него невозможно. Враг располагал обычными видами вооружений, а это было оружие необычное, так как оно было нематериальным. Это было сверхоружие. Короче говоря — теперь об этом тоже можно сказать вслух, — институт, где числился Рубин, работал над созданием секретного идеологического оружия.

Тут требовалось соединение эрудиции и фантазии. Разумеется, мы можем охарактеризовать эти изыскания лишь в самом общем виде. Речь шла о новой и неопровержимой системе доказательств, о совершенно необычном подборе цитат. Неисчерпаемость источников, которые никто не был в состоянии прочесть от начала до конца, предоставляла возможность отыскивать еще не использованные изречения. Ядром же, настоящей боеголовкой нового оружия был высший и доселе еще неизвестный Аргумент, способный сразить врага наповал. Аргумент был известен только руководству. Как уже сказано, его эффективность была испытана на специальных полигонах. Новая комбинация цитат обещала решение любых задач, политических, теоретических, экономических и моральных, и результат был всегда один и тот же. Каждый, кого постигало это оружие, должен был убедиться в безусловном превосходстве нашего государственного строя над всеми строями, где-либо существовавшими или существующими в мире.

В качестве лаборанта Рубин в письменном столе не нуждался, он не торопился на симпозиум, не мог быть членом комиссии, у него не было пиджака, и он не носил очков. Во все времена года он был одет в один и тот же побелевший от стирок джинсовый костюм. Черные кудри и черная борода оттеняли его блестящие и желтоватые, как ядро ореха, конские зубы. Его смех напоминал молодое ржание. Илья был летучий человек. Окруженный женщинами, он не знал забот. Как всякий холостяк, он возбуждал инстинкт опеки и сострадания. Ему покупали цветы, вызывались дежурить вместо него в больнице. Само собой, сообщалось кому надо, что Рубин отсутствует по уважительным причинам. В крайнем случае на вопрос: а где такой-то? — отвечали: где-то тут, пошел в бухгалтерию, в секретариат, в директорат. Институт был велик. Тем временем Илюша Рубин, нагруженный кульками, с букетом садовых ромашек отправлялся проведать маму на другой конец города.

Два слова — раз уж об этом зашла речь — о матери и отце, о детстве Ильи Рубина. Он был, насколько известно, единственным сыном; его родители происходили из маленького городка в Могилевской губернии, там они познакомились и в начале двадцатых годов, подхваченные волной, оказались в обезлюдев-

шей столице; мать Рубина, Берта Владимировна, проживала в коммунальной квартире в старом центре города, в доме с высокими потолками, сумрачными лестницами, с черным ходом во дворе и парадным подъездом на улице, с эркерами, пилястрами, и как там они еще назывались в те времена, когда все это существовало, откуда и была выдворена, впрочем, законным порядком, вместе с другими жильцами. Когда это было? Где был их дом?

Одному философу принадлежит остроумная теория памяти: он утверждал, что мы ничего не забываем. Все увиденное и услышанное, когда-либо пережитое хранится в закромах памяти, в ее темных подвалах; надо только спуститься туда по замшелым ступеням с ночным фонарем. Так можно объяснить удивительный факт: спящему снятся иной раз люди, о которых он никогда не вспоминал, места, казалось, безвозвратно забытые.

Детство — это огромный, нескончаемый сон, который мы видим как бы для того, чтобы убедиться, что память есть в самом деле род несгораемого шкафа, откуда ничто не может быть похищено временем. Как многие из нас, Илья Рубин был человек без роду и племени, говоря языком газетных передовиц — «без корней», и не потому, что он был потомок скитальцев, а потому, что корни отсохли. И все же у него было отечество, это был кишечник старого города, задворки и переулки, не имевшие ничего общего с Вавилоном окраин, где теперь проживал Рубин. Старый город детства, который он никогда не посещал, ибо теперь этот город существовал лишь во сне, а то, что осталось на самом деле, было неузнаваемо, сморщилось, раскрошилось, было запущено и заброшено, перерыто траншеями строек, тоже заброшенных, — старый город, а точнее сказать, старый район, был реликтом ушедшей эпохи, когда существовали отеческие очаги, эпохи, откуда доносились беззвучные голоса.

Район назывался «Дворы». Во дворах стояли снеготаялки. Из подворотен мимо мусорных ящиков текли ручьи. Гирлянды хрустальных сосулков висели под скатами крыш, и сверкающие россыпи со звоном и грохотом валились из раструбов водосточных труб. Веревки для белья — остались лишь вбитые в стену крюки, — женщины с тазами залубеневших рубах, простынь, подштаников, звон стекла, футбольный мяч, влетевший в сумрачную коммунальную кухню, призраки запахов, эхо криков, звуков. Толстым мальчишкам кричали: «Жиртрест! Мясосбыт!» Тощим кричали: «Кощей Бессмертный!» Татарам кричали: «Свиное ухо, эй!» Евреям кричали: «Жид, на ниточке бежит!» Очкарикам кричали: «Самурай!»

На булыжном перекрестке стоял краснощекий милиционер в шапке-ушанке, в перетянутой ремнем шинели с воротником из собачьего меха, в черных валенках с галошами. Вечером под тусклой лампочкой, освещавшей похожий на домик номер дома над подворотней, по обледенелому снегу можно было кататься на коньках, которые привязывались веревкой к ботам, особого рода обуви, исчезнувшей вместе с примусами, корытами, чердаками, черными лестницами, с гнутыми деревянными перилами, с изоляторами из фаянса и проводами под потолком, с множеством вещей, со словами, которые их обозначали, и людьми, которые ими пользовались.

Итак, она была выселена, точнее, переселена: получила комнатку в блочном доме на окраине, как уже сказано, в законном порядке, ввиду того, что дом подлежал ремонту и усовершенствованию для вселения важных лиц. В мерах подобного рода следует видеть не только акт исторической необходимости, но и акт исторической правоты. История всегда права. Рассказывают, что однажды председатель Центрального Исполнительного Комитета выступал, по обычаю первых лет, на митинге в селе и чей-то бабий голос крикнул из толпы: «Вот ты небось в сапогах разгуливаешь, а мы?...» На что оратор ответил: «Ты что же, тетка, хочешь, чтобы правительство тоже в лаптях ходило?» — и был награжден громом аплодисментов.

Смысл этого справедливого возражения состоит, во-первых, в том, что сапоги лишились бы престижа, если бы не существовало лаптей; другими словами, лапти — такое же необходимое условие государственного порядка, как и хромовые сапоги. Во-вторых, число желающих носить сапоги во все времена многократно превосходило количество сапог. Следовательно, необходимо раз

и навсегда определить, кому положено месить дорожную грязь лаптями, а кому разгуливать в сапогах. Очевидно, что квартира в доме с эркерами, и пилястрами, и потолками нормальной высоты, равно как и престижная обувь, импортное белье, настоящая колбаса и все остальные условия для исполнения ответственных государственных обязанностей, была бы неоправданной роскошью для граждан, не обремененных такой ответственностью. Но мы отвлеклись.

Большую часть времени комната пустовала. Илья, прописанный где-то, воспользовался ею для своих, как позднее выяснилось, неблагоприятных дел, между тем как пожилая женщина кочевала по лечебным учреждениям. Соседи — молодуха с ребенком, родом из очень дальних мест, и сморщенная старуха с хворым мужем, тоже выселенная из центра, — были немало раздосадованы появлением Ильи Рубина в их квартире, так как имели свои виды на пустующую каморку: старуха надеялась присоединить ее к своим владениям на основании справки о болезни мужа, мать-одиночка — к своим, ссылаясь на то, что она мать-одиночка. Обе написали совместный донос; обе слышали стрекотание пишущей машинки за тонкими стенками своих комнат. Прибавил ли что-нибудь их навет к делу о Журнале, неизвестно, тут мы вступаем в область туманных домыслов.

Едва ли соседи были осведомлены об отце, тем более что история была давнишней, темной и в некотором смысле осталась там, в старом доме. Придется, однако, сказать и о нем несколько слов.

Он вел мистическое существование не только потому, что исчез при малоизвестных обстоятельствах — исчезли многие, — но главным образом оттого, что вопреки всему постоянно и незримо присутствовал. С другой стороны, Илья своего отца почти не помнил. Нельзя сказать, что в истории с отцом многое было неясным, потому что в ней все было неясно. Он окончил технологический институт; это были годы индустриализации, бурное и восторженное время, как-то незаметно сменившееся временем страха, и с этих пор жизнь отца заволочлась туманом. В довоенные времена официально считалось, что он находится в длительной командировке на Севере, где руководит секретным строительством. После войны было получено извещение: отбыв срок, он работает счетоводом в совхозе, в Кемеровской области, — удалось даже после изнурительных хлопот узнать адрес. В эту краткую пору биография Рубина-старшего начала как будто вырисовываться из потемок. Письмо вернулось спустя несколько месяцев с пометкой, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Было не так-то просто попасть к заместителю начальника главной канцелярии, и даже узнать, к кому именно надо обращаться, было непростым делом, тем не менее мать добилась приема, отстояла во всех очередях, замначальника неожиданно оказался милым, внимательным человеком: он выслушал ее, мягко объяснил, что остаток ссылки отцу предписано провести в другом месте. Теперь он работал в столовой на прииска. Намекалось даже, что у него там новая семья. Где — там? В ответ пожималось плечами, разводилось руками; дескать, страна наша большая. Можно ли к нему поехать, разрешена ли переписка? В те времена пользовалась признанием теория, согласно которой писание заявлений во всевозможные инстанции — чем больше инстанций, тем лучше — обладает кумулятивным действием: рано или поздно терпение начальства должно истощиться. И оно в самом деле иссякло. Прибыло — сравнительно недавно, накануне описанных нами событий, накануне истории с птицами и всего этого безобразия — постановление об отмене приговора и прекращении дела ввиду отсутствия оснований. Получалось, что вся биография полетела кувырком. Тайна местопребывания отца разъяснилась, она состояла в том, что никакого местопребывания давным-давно уже не было.

Но даже теперь, когда сын вырос, и времена изменились, и можно было назвать вещи своими именами, даже теперь таинственность не рассеялась; логически рассуждая, эта последняя версия тоже могла быть не больше, чем версией. Подобно тому как умерший сорок лет считался живым, так теперь, объявленный мертвым, он вполне мог продолжать свое существование. С одной стороны, что и говорить, не оставалось никаких надежд, раз уж «они сами» признались. Где-то там, неизвестно где, может быть, даже совсем близко, в десяти

минутах ходьбы, в знаменитом доме бывшей страховой компании «Россия» — какое, однако, зловещее название, — в подвальной камере, через три или четыре недели после ареста, или сколько там требуется для оформления дела, все это совершилось согласно инструкции, гласившей: «Выстрел производится в затылочную ямку на расстоянии 8—12 сантиметров, без предупреждения, непосредственно после команды «стой»; и, должно быть, день был самый обыкновенный, дом, казавшийся в те времена очень большим, потому что рядом не было еще пристроено другое громадное здание, мирно поблескивал своими окнами, и в синеве над часами плескался флаг; площадь, тогда еще на ней не было памятника, в разных направлениях пересекали машины, казалось, они несутся вовсю, но это только казалось, только что выпущенные марки, «ЗиС» и «М-1», их было не так много; милиционер в летнем белом шлеме с шишаком и в белой форме дирижировал, стоя на тумбе; люди шагали по тротуарам, постукивали низкими каблучками женщины в полупрозрачных блузках, в юбках ниже колен; стояли продавцы газированной воды с сиропом, и сидел нищий перед двумя полукружиями только что сооруженной станции метрополитена, входом и выходом; с юго-запада над керамикой Политехнического музея ползли тучи, вспыхнули фонари, посыпались искры под дугой трамвая, который выворачивал с Мясницкой, два года назад переименованной в улицу Кирова, и никто ничего не знал, никто не догадывался, как не догадываются о смерти, разве только некоторым приходило в голову, что в доме, где теперь на всех этажах горел свет, происходит огромная, тайная, важная, непрерывная и необходимая работа, героическая и опасная работа, так что трудно было связать ее с представлением о чернильницах, папках, справках, ведомостях и определениях, с утомительным многочасовым бумагописанием; никто не знал, а те, кто знал, все равно не знали, потому что не полагалось знать, что в подвалах люди в фуражках и гимнастерках всаживают пули в затылки, сегодня, и завтра, и ночь за ночью, день за днем, никто не узнал и не узнает, как они там, остриженные наголо, сидели и ждали, а те, другие, сверялись со списками, выдергивали смертников из камер, вели вниз, по лестницам, по коридорам, налево, направо, стоп, лицом к стене, руки назад и по очереди, одному, другому, вдоль всей шеренги, ничего не поделаешь, такая работа, в затылочную ямку, потом следующая партия, и снова одному, другому, ничего не поделаешь; или на специальной дорожке, в звуконепропускаемом коридоре, или, может быть, во дворе, при свете фар, с заведенным мотором, чтобы заглушить выстрелы; да, никаких сомнений теперь, через сорок лет, не могло быть. Это — с одной стороны. А с другой...

Тайный голос, инстинкт, подсознание, называйте как угодно, твердили, что все бывает. Все может быть! И похоронки с фронта приходили, а потом, глядишь, возвращается, спутали с кем-то, ошибка. И кто знает, может быть, по сей день он где-то живет, где-то скитается. Человек не человек, призрак не призрак. И даже нашлись люди, которым будто бы приходилось разговаривать с теми, кто его видел. Странник кочевал по стране. Нищий шел по дороге.

Тайный голос предлагал свои версии. Если они так долго ошибались или так долго поддерживали ложь, то почему не может оказаться ложью обратное? Почему им надо верить, ведь это те же самые люди, ведь они лгут непрерывно, потому что это такое учреждение и такова их природа. Ведь в конце концов прошло столько лет, люди сменились, одних расстреляли, других уволили, третьи сами отдали концы. Одни говорили одно, другие — другое; ложь на ложь — получается правда. В этой казуистике обмана, как в густых тучах, неожиданно мелькнул просвет. В день расстрела пришло распоряжение свыше: наверху узнали о произволе, почему бы и нет. Допустим, расстрел отменен, а по бумагам все еще числится высшая мера. И так и пошло — из одной канцелярии в другую. Допустим, приговор отменен, но просто так выпустить на свободу тоже нельзя. Отменили, но с запрещением возвращаться и с запрещением переписываться. Этапирован в ссылку, на край света, куда Макар телят не гонял, но, Боже мой, ведь это не смерть. И ведь находились люди, которые его видели. Прав был этот полковник: страна-то колоссальная.

Сколько людей в этой стране кажутся живыми, а на самом деле мертвы. И сколько людей исчезает, а на самом деле где-то живут. Числятся мертвыми, списаны, похоронены, а сами живут: в полувымерших деревнях, в каких-нибудь

тажных поселках, на приисках, у бывших старообрядцев, под другим именем, с новым паспортом. Где-то существуют, где-то бродят.

Надо верить — она это твердо знала. И тогда сбудется.

Если (как утверждал один писатель) у каждого народа есть свой любимый образ, свой исторический универсальный символ, как, например, у англичан палуба корабля, у немцев лес, у голландцев дамба, у евреев шествие по пустыне, то символом и образом этой страны будет, конечно, дорога. Туранские журавли видели под собой не только тайгу и великие реки, они видели змеящуюся дорогу. Бесконечный тракт, по которому ныряет в разливах луж кибитка с фельдъегерем, по которому бренчит колокольчик почты, по которому ползет цыганский обоз. Шагают в снегу французы, вязнут в колдобинах немецкие бронетранспортеры, плетутся по обочине бабы и нищие. Разбитая грузовиками, разлившаяся, как река, дорога с шаткими бревнышками мостов, с белыми столбиками по краю оврагов, сосущая душу, тускло поблескивающая и манящая вдаль: бросить все, махнуть на все рукой, подтянуть заплечный мешок — и поминай, как звали.

VI. Шура, или Вождение

Судьба играет человеком, как поется в песне, а вернее сказать, судьба устраивает нашу жизнь, как романист — свое повествование: исподволь завязывается интрига, копятя подробности, на первый взгляд малозначительные, рассказываются вещи, единственное назначение которых — отвлечь внимание, главное предложение несущественно, истинный ключ к дальнейшему скрыт в придаточном. Правила жанра запрещают автору прямо сказать, куда он клонит. Так и судьба зарывает свои намерения в ворохе обстоятельств, вроде бы не имеющих отношения к делу. Жизнью правит канон криминального романа; лишь добравшись до последней страницы, начинаешь понимать, что все было подстроено.

Судьба... Пожалуй, слишком громкое слово. Случай? Тоже не объяснение; случайности — это маски, которые надевает судьба. С ромашками и кулками Илья Рубин вошел в отделение; палата находилась в конце коридора; он приоткрыл дверь, едва не столкнувшись с дежурной сестрой. Она выносила никелированный штатив с пустой капельницей. В палате было восемь коек, по четыре с каждой стороны, и еще две раскладушки с прибывшими ночью стояли в проходе. Женщины лежали или сидели, одна больная мыла посуду в умывальнике. Раскладушка матери находилась ближе к окну. То, что ее поместили в общую палату, было хорошим признаком, но он привык к тому, что хорошие признаки чередовались с плохими, привык обманывать сторожей-гардеробщиков, являясь в неположенное время, и очкастых старух в окошках регистратуры, привык к лестницам и названиям отделений — первая хирургия, вторая хирургия, неврология, терапия, — к стуку тазов, скрипу каталок, к ковыляющим по коридору пациентам в больничных тапочках и халатах из застиранной байки, к запаху дезинфекции, старости, скуки и нищеты. Посидев возле матери положенное время, он вышел переговорить с врачом, заранее зная, что ему скажут. Темноглазая сестричка, дитя Золотой Орды, снова попала ему; с лотком, прикрытым марлей, она спешила по коридору, в лотке катались шприцы. Перед уходом он услышал в комнатке рядом с кухней голос старшей сестры и голос, пытавшийся возражать, ее голос, и присел на минутку рядом с ее столиком в коридоре. Она вышла, утирая слезы. Он спросил, что случилось. «Так, ничего», — сказала Шуручка и засмеялась.

Невысокие женщины выглядят еще моложе, пока они молоды. Несомненно, она была старше, чем казалась, ее имя выражало запоздалую, затянувшуюся юность, лоб прикрывала смоляная челка, высокий накрахмаленный шлем имел целью увеличить ее рост, глаза подведены, грудь подчеркнута тесно заправленным белым халатом, в ней было какое-то раздражающее очарование. Как будто при ее появлении вам надавливали на некую тайную железу. Прошло несколько недель. Однажды они столкнулись внизу в вестибюле. На ней было пальто в талию с круглым беличьим воротничком, модным в те годы, и

меховая шапочка. Вместе ехали в лифте. В другой раз он пришел поздно, после ужина, за столиком на мужской половине сидела другая сестра. Он побыл с матерью, покурил на лестничной площадке, было тихо, пусто; он вернулся, в коридоре горели матовые шары, слышался шелест лифта, стукнула железная дверь на верхнем этаже. Случайно или повинувшись смутной надежде, он толкнулся в дверь без таблички, рядом с кухней, это была узкая комната без окна, где стояли шкафчики для одежды, у стены напротив двери помещался хозяйственный столик и висело зеркало. Он увидел ее со спины и увидел ее лицо в зеркале, она стояла перед столиком, подняв локти, ее пальцы на затылке заправляли колечки темных волос под белый колпак; она смотрела на себя и на входящего.

Она привсталала на цыпочки, слегка повернув голову, держа руки на затылке, отчего короткий халат приподнялся, обрисовал талию и небольшой круглый зад; эта подробность — девушка в босоножках, с напрягшимися икрами — отпечаталась в памяти, в это мгновение, собственно, он и вошел в комнату, неслышно прикрыл за собою дверь; и, глядя в зеркало, опустив руки, она произнесла:

«Сюда заходить не положено».

Илья Рубин смотрел на ту, смотревшую из зеркала, и на эту, которая стояла к нему спиной и поправляла волосы на затылке, и ему казалось, что комната и ее отражение поменялись местами: настоящий мир находился в провале стекла, а здесь было нечто мнимое; здесь надо было что-то говорить, произнести какую-нибудь чушь, необходимую для сближения, а там существовал язык взглядов, полный глубокого смысла, там они были рядом, она стояла, поправляя что-то на затылке, отчего обнажились ее руки и поднялась грудь, и смотрела прямо перед собой, он — за ее спиной, нечто лохматое и чернобородое; она опустила руки, одернула белый халат, Илья Рубин перевел взор на ту, что стояла к нему спиной, и в зеркале ее глаза, темный мед, в котором была подмешана капля татарской крови, следили за его блуждающим взором, она оглядывала себя сзади его глазами и, вернувшись в зеркало, видела себя спереди, свою прелесть, и задумчивость, и темную печаль, и погрузилась в нее. Она вздохнула. Ее ладони медленно прошлись вдоль груди и талии. Чувство, ею владевшее, было возможно только в присутствии мужчины, ничего подобного не могло бы происходить, если бы она прихорашивалась дома одна, но это чувство совсем не было желанием заполучить его, он был ей не нужен, а скорее возвращалось, как немое признание двойника в стекле, к ней самой; необъяснимое вожделение к собственному телу охватило ее, и, уронив руки, легко вздохнув, она переступила с ноги на ногу и сказала, глядя в зеркало:

«Нечего вам тут делать. Посторонним входить не положено».

Что-то в этом роде произнесли ее губы.

Он молчал.

«Посетительский час окончен».

«У меня пропуск», — возразил Илья.

«Какой такой пропуск, больные уже спят».

«Мне зав отделением дала, круглосуточный».

«Ну и нечего тут торчать! — сказала Шурочка, поворачиваясь к нему. — Здесь служебное помещение».

Он взялся за ручку двери, но не для того, чтобы выйти, а чтобы плотней прикрыть дверь.

«Вы что, не слышите? Сюда посторонним вход воспрещен».

Что-то было потеряно, оба вышли из зазеркалья, где они были вместе. Что-то рисковало уйти в песок, и мотор знакомства работал на холостых оборотах. То, что она говорила, предназначалось лишь для того, чтобы мотор не заглох. Оба почувствовали это; самовлюбленность женщины исчезла, и с ней ушла ее независимость; исчезла магия, оба поняли, чего они хотят, и все, что они делали: строгий тон барышни, игривая небрежность кавалера, — все это должно было заглушить легкое разочарование, помочь освоиться и вернуть счастливую инерцию сближения, когда ничего от тебя не требуется и все происходит само собой. Но зачарованного мира по ту сторону зеркала уже не вернуть.

«Некогда мне с вами лясы точить», — проговорила Шурочка и попыталась выйти из комнаты. Вернее, выпроводить его. Наступило замешательство, несколько наигранное, оба стояли перед дверью.

«Шу-у-ра», — проворковал он.

«Какая я тебе Шура? — сказала она грубо. — Я на работе. Пустите, некогда. Привыкли рукам волю давать...»

Свет в больничном коридоре был потушен, горели только настольные лампы под черными колпаками на двух постах дежурных сестер, на мужской и женской половине. Было, вероятно, не позже десяти часов вечера, но казалось, что уже глубокая ночь. Изредка звонил телефон, слышалось глухое погромыхивание лифта, шаркали шаги, кто-то плелся в уборную, ангел смерти курил на лестничной площадке, и дежурный врач дремал в ординаторской за своим столом, перед папками с историями болезни. Шурочка поднялась со своего места, неслышной поступью прошла по коридору, мимоходом отперла ключом кабинет заведующей отделением, но не вошла, ключ остался в скважине, она заспешила дальше, в конце коридора над дверью палаты мигала лампочка: вызывали сестру.

Инстинкт обладает свойством воплощаться в предметы, он больше уже не в нас, он принес себя в жертву; он прячется в потемках вещей, как насекомое, в складках портьеры; он прикинулся книжкой, ключом, ароматом духов, часовой стрелкой, забытым носовым платком, принял правила, навязанные нам нашей гордостью, стыдом, традицией, воспитанием, но на самом деле это его собственные правила, он их установил; он удалился, чтобы управлять нами на расстоянии. Прошло двадцать, сорок минут, прошел час, нужно было набраться терпения, наконец дверь приоткрылась: она. «Кто это вам разрешил сюда заходить?» — спросила она надменно. Он ответил: «Дежурный врач». Это была ложь, но ложь по правилам. «Это кабинет заведующей, — сказала Шурочка, — что вам здесь надо?»

Илья Рубин сидел в служебном вращающемся кресле, спиной к зашторенному окну, перед ним горела настольная лампа и лежали бумаги, словно он был начальником, а она подчиненной. Это избавляло ее от необходимости немедленно уйти. Ключ от кабинета лежал на столе, она потянулась за ключом. Рубин поймал ее руку. Шурочка попыталась вырваться, он держал ее запястье и потянул к себе, она неохотно придвинулась. Она стояла, упираясь низом живота в край стекла, которым был покрыт стол. Рубин разглядывал ее ладонь, и она тоже смотрела на свою ладонь. «Сейчас узнаем всю твою жизнь». Она вырвала руку. «Испугалась?» — сказал он. Она отступила на два шага. Илья взглянул на нее иронически-вопросительно, забарабанил пальцами по стеклу. Она медлила, очевидно, ждала, что он встанет из-за стола. Он барабанил пальцами. Она вздохнула, пожала плечами и повернулась к двери, возможно, рассчитывая, что он подкрадется сзади. Илья сидел за столом.

«Ладно, — сказала она, — поиграли, и хватит».

Она приблизилась, чтобы взять ключ. В эту минуту шаги прошелестели в коридоре, кто-то медленно прошел мимо кабинета. Илья Рубин смотрел на Шурочку, прижав палец к губам. Она озабоченно взглянула на него, он кивнул еле заметно. Вещи были их союзниками. Ключ проник в скважину. Из коридора не доносилось ни звука. Неслышно повернув ключ, Шурочка заперла дверь, и вдруг раздался звонок, на столе дребезжал телефон.

Шура бросилась к столу, но он сам поднял трубку, подержал и положил на рычажок. Оба смотрели на черный аппарат. Телефон снова зазвонил. Илья взял трубку, произнес басом:

«Але. Нет. Вы ошиблись».

Он сделал знак Шурочке, она приблизилась; там продолжали говорить, он поманил ее еще ближе, как будто хотел передать ей трубку, она обошла стол кругом. Вещи были посвящены в их заговор, но сами они как будто не знали о нем и все происходило ненароком; получилось даже, что телефон зазвонил весьма кстати; Илья прижимал к уху трубку, другой рукой обнимал Шуру за талию, она старалась сбросить его руку.

«Вам дали старый номер, — сказал он. — Номер сменился. Нет. Не знаю».

Он положил трубку и указал ей пальцем на провод. Она усмехнулась, села на короточки в узком пространстве между стеной и креслом, вырвала вилку из розетки. Оба засмеялись, теперь ей некуда было деться, путь отступления был отрезан. Илья тянул ее к себе, кресло крутилось под ним то вправо, то влево, волей-неволей пришлось сесть к нему на колени. Он протянул руку, нащупал выключатель и потушил лампу.

Поцелуи и необходимая борьба отвлекли ее внимание, рука мужчины проникла под халат, пальцы отколупывали пуговицы между лопатками. Она повела плечами, оттого ли, что не давалась или чтобы помочь ему, руки соскользнули вниз, он держал ее за мягкие прохладные бедра, больше ничего на ней не было, и он обрадовался этой предусмотрительности. В темноте они сидели лицом друг к другу, словно индийские божества, кресло медленно поворачивалось, он увидел лунный блеск ее глаз, и его охватило счастье, глупая радость мужчины от того, что на ней ничего нет, что там вообще ничего нет, прохладная кожа, шелковистый тайник, нежная раковина и больше ничего.

Невзоров (о родителях которого известно немного, о предках вовсе ничего, разве что можно предположить, что шесть или семь столетий тому назад заезжому ордынцу пришло на ум потребовать от мужика, чтобы тот уступил ему место возле бабы на лежанке), Невзоров, одиннадцати лет от роду, был раскулачен, ехал несколько суток в товарном вагоне с отцом, матерью, бабкой, братьями, грудной сестренкой, с соседями, кумовьями, с неизвестными лихими людьми, с уймой всякого народа, в дороге потерялся, был снят с другого поезда, скрыл происхождение, сбежал из детдома, добрался до Тулы, где проживала дальняя родня. В Туле учился в ремесленном училище, потом служил в армии, вернулся, работал, пил понемногу, родил сына и дочку. Город Тула, как знает всякий, издавна славился оружейным и самоварным производством; и сам Невзоров, когда его спрашивали, мастер ли он, отвечал с достоинством: «Около мастеров». «Что там Москва, — говорил он, — вот у нас...» Для него Тула всю жизнь оставалась большим городом. Для Шурочки же, с тринадцати лет мечтавшей попасть в столицу, Заречье да и весь город были дырой, наводившей тоску и скуку; то ли дело шагать легким шагом, в воздушном платье, на каблучках по чистым, широким, солнечным улицам и встретиться невзначай глазами где-нибудь на перекрестке с элегантным дянькой в шляпе, с седеющими висками, в заграничном каком-нибудь макинтоше и пройти мимо; или с капитаном дальнего плавания. Дальше ее фантазия не загадывала, прелесть этих видений состояла именно в их незавершенности. Все должно было совершиться по ее желаниям и мимо ее воли, само собой. Шурочка верила в уличную легенду, согласно которой мать ее, беременная, загляделась на прохожего цыгана; несколько раз она испытала свой взгляд на мужчинах, на ребятах в фельдшерско-акушерском училище и убедилась, что он обладает магической губительной силой.

В пятнадцать лет Шурочка считала всех двадцатилетних перезрелыми девами, в двадцать лет считала старухами всех двадцатипятилетних. Она страдала из-за своего невысокого роста, но успокоилась, увидев в одном фильме актрису, которая на две головы была ниже своего кавалера, отчего выглядела даже еще соблазнительней. Она дала себе слово, что выйдет только за москвича, жадно слушала рассказы о фиктивных браках, дело верное, говорили ей, и не надо даже знакомиться — просто сходить с ним в загс, потом прописаться, а остальное уладят опытные люди; одна подруга так и сделала, теперь живет в Москве. А развестись нетрудно. Шурочка даже начала копить деньги. Но тут выяснилось, что существует лимит для медсестер в новые больницы на окраинах.

Она была способной и прилежной девочкой, мечты о капитане дальнего плавания давно уже казались ей смешными, вопрос был в том, как устроить жизнь; учеба доставляла ей удовольствие; она окончила училище лучше всех и могла бы по пятипроцентной норме поступить в мединститут, как и советовал ей один преподаватель, но поступить можно было только в Туле. Этот преподаватель пришел провожать ее на вокзал, стоял в сторонке, пока она прощалась с родными, а потом вошел в вагон и стал умолять ее остаться. Поезд тронулся, а он все еще обнимал ее, плакал и говорил, что оставит жену.

В вагоне, сидя у окна (на полке лежали ее чемоданы), Шура взглянула на свое сумрачное отражение среди полей и перелесков, увидела свои блестящие заплаканные глаза и низкую челку; так, моргая неумело накрашенными ресницами, всхлипывая и сморкаясь, она ехала навстречу своему будущему, оставив другое будущее в Туле; ей было жалко Заречья, жалко преподавателя и жалко саму себя. «И куда потащилась?» — думала она. Поезд остановился на первой станции, там ожидала, готовясь к штурму, толпа на перроне, люди ворвались в вагон, но уже и так все места были заняты, и на каждой следующей станции повторялось то же, никто не вылезал, а входили, напирали и втискивались все новые пассажиры. Великий город, еще невидимый за горизонтом, всасывал в себя потоки машин, к нему тянулись товарные составы, телефонные провода и чернильные тучи; все несло к Москве, и уже мелькали пригородные платформы. И когда наконец она вышла с толпой, неся в обеих руках багаж, на залитую дождем платформу Курского вокзала, она уже не испытывала сожаления, а только голод, усталость и возбуждение.

Первые дни она ночевала у подруги, той самой, которая вступила в фиктивный брак, после развода подруга разменялась и жила теперь в комнатке на окраине, где-то работала, постарела; хотя у Шурочки было направление на работу, оказалось, что на места в общежитии очередь; ее прописали условно, ей приходилось ночевать то у подруги, то в больничном отделении, после дежурства она отправлялась на поиски жилья, уславливалась с какими-то хозяевами, снова искала, отбивалась от сомнительных приглашений, одно время снимала угол за городом. Постепенно все устроилось. Была ли она довольна?

Она говорила себе, что «не видит Москвы». Та столица, о которой она мечтала, оказалась чем-то неуловимым; счастливая, легкая жизнь была рядом — и оставалась недостижимой. Между тем она чувствовала, что достигла своей лучшей поры. Или теперь, или больше уже никогда, «поезд уйдет», через несколько лет она состарится.

Шура Невзорова обладала тем, что по справедливости следует признать преимуществом многих женщин. Раздвоение духа и плоти — достояние так называемого сильного пола, его проклятие и его спасение, ибо цельный мужчина, право же, чаще всего идиот. Тогда как женщина способна приблизиться — без риска остаться примитивным существом — к идеалу цельного человека. Но если мы дышим легкими, двигаемся при помощи сухожилий и мышц, фантазируем оттого, что у нас есть мозг, то что нам мешает предположить, что дело обстоит как раз наоборот: что мозг — орудие мысли, тело — инструмент души; что, наконец, продолжение рода не функция органов продолжения рода, но сами эти органы вместе с проводящими путями спинного мозга и высшими нервными центрами подведомственны некой стоящей над ними воле. И что в конце концов речь идет даже не о том, что чему подчинено, но речь идет о чем-то едином, о двух проявлениях одного и того же. Эта теория как нельзя лучше подошла к Шурочке: ее тело было ее душой. Душа жила во всех уголках ее тела, а не только в мозгу, была, так сказать, представлена всей ее плотью, душа — это и была плоть, и чувство стеснения и стыда за свое естество, чувство, что ты заключен в свое тело, как в клетку, что некуда деть руки и ноги, мучительное чувство неловкости, так часто преследующее молодых людей, было Шуре попросту незнакомо; когда она шла по улице, то каждой клеточкой кожи, от кончиков пальцев до сосков, ощущала себя единым существом, каждым мускулом и каждым изгибом откликнулась на провозжавшие ее взгляды; отовсюду глядела и отзывалась ее душа. Можно сказать, не рискуя впасть в преувеличение, что она в такой же мере думала своим телом, как и мозгом, рассуждала с помощью стана и бедер, как мужчина рассуждает головой. Поистине она была существом одухотворенным с головы до ног, и если она пришла к убеждению, что тело было ее единственным капиталом, если она это чувствовала, строила на этом все свои надежды, кто посмел бы ее упрекнуть?

Из сказанного, однако, не следует, что ее поступками всегда и безусловно руководил расчет. Так же как нельзя заключить, что она всегда и во всем была рабой своего «низа». Что такое «низ»? Опыт научил Шуру быть осмотрительной, но то, чего ей хотелось, было всем сразу и ничем в отдельности. И любовь,

и деньги, и хороший человек, если попадется. И чтобы можно было развлечься, и чтобы оставался запасной выход.

Не в том дело, что влечение, как судьба, ведет желающего и тащит упрямого; что оно командует разумом и нашептывает разуму его софизмы, топчет совесть, извиняет порок, обесценивает добродетель, что влечение рождается вместе с нами, просыпается вместе с пробуждением души, и если душа бессмертна, то она останется, должна остаться такою же и в потустороннем мире, и там ею тоже будет владеть влечение, и там придется вожделеть — кого? Не в этом дело. А в том, чтобы спросить себя, что все это значит. Где кончаются сумерки, начинается день, что такое подвал души, где он, собственно, расположен; что такое инстинкт, что такое разум. Мы находимся во власти грубой предметности, нами владеет анатомия, мы сравниваем ее с домом, мысленно совершаем восхождение по его лестницам и в конечном счете находимся в царстве метафор; мы толкуем о пространстве и архитектуре, рассуждаем об этажах души, об уровнях психики, между тем как то, о чем идет речь, едино, и разум становится разумом, лишь когда сознает себя, лишь когда он спохватывается, что он разум, и влечение перестает быть инстинктом, как только вспоминает, что оно инстинкт. Мы находимся во власти языка. Можно было бы утешаться мыслью, что литература смеется над этой властью и обманывает язык, переводя, так сказать, все пункты вероучения в конъюнктив; литература говорит: допустим, что это так; возможно, что это совсем не так; и не исключено, что это и так и не так. Да, можно было бы воспользоваться этой лазейкой и, оставаясь внутри языка — куда же нам деться? — ускользнуть из-под его ига. Но мы пишем хронику, а не роман.

Шура (возвратимся к ней) не помнила, когда они познакомились, это произошло само собой. Во всяком случае, это было уже после того, как она окончательно рассталась со своим непутевым мужем. Она заметила, что бородатый и чернокудрый, с зубами, как у коня, не внушавший ей ни малейшей симпатии, стал часто попадаться ей на глаза. Иногда можно безошибочно почувствовать, выпив рюмку, как тонкая иголочка алкоголя вонзается в мозг, но это совсем еще не опьянение. Можно почувствовать, как что-то на одно мгновение чуть-чуть сжалось где-то внизу, но это еще не желание. Так было, когда он вошел в комнату для персонала.

Она стояла перед зеркалом, краем глаза видела в глубине его джинсовую куртку, он прикрыл за собой дверь, она что-то сказала, что-то вроде того, что нечего здесь торчать, могут войти и сделать ей замечание, зачем она пускает в комнату посторонних. В это время она прикалывала накрахмаленный медицинский колпак двумя заколками на висках и вправляла колечки волос на затылке. Между тем его лицо росло в зеркале, она слегка встревожилась, покосилась на гостя через плечо, он стоял на прежнем месте. Шура почувствовала разочарование, он ее совершенно не интересовал, и, если бы он повернулся и вышел, она забыла бы о нем в ту же минуту; тут ей пришлось в голову, что с ним можно было бы поиграть — так, от скуки. И она сделала мимолетное движение, как бы подала знак, привстала на цыпочки, держа по-прежнему руки на затылке, и слегка покрутилась перед зеркалом. Она любовалась собой и, поглядывая на него в зеркало, чувствовала себя погруженной в его взгляд, и ей было приятно думать, что она все еще молода, и одинока, и совершенно ни от кого не зависит; все это продолжалось несколько мгновений, он смотрел сзади на ее ноги, и, собственно, ничего больше не произошло; она бы и не вспомнила об этом эпизоде, если бы он исчез.

Шура хотела выйти из комнаты, тут он почему-то решил, что надо действовать, и она решительно поставила его на место, но вечером, увидев, что бородатый все еще околачивается в опустевшем отделении, как-то вдруг решила его ободрить, разумеется, в шутку, мельком взглянула на него, на минутку задержалась перед кабинетом заведующей. Она опустила ключ от кабинета в карман и побежала дальше по коридору в палату, над которой моргала сигнальная лампочка. Немного позже она решила сходить в хирургию за перевязочным материалом. Идти туда было обязательно, хватало бы до завтра, и вообще это было обязанностью старшей сестры, тем не менее она вышла на лестничную площадку, у окна стоял полупрозрачный юноша в сандалиях, с белыми

крыльями за спиной, это был ангел смерти, она зажмурилась и сбежала вниз по лестнице; через несколько минут она вернулась в отделение.

Шура не забыла, что она отперла кабинет и, поджав губы и качая головой, направилась в комнату для переодевания, где произвела некоторые перемены в своем туалете; все это делалось как бы нехотя. На всякий случай. И все это было совершенно не нужно, а, с другой стороны, почему бы и нет. Она чувствовала, что скользит туда, где все заканчивается одним и тем же, но ей приятно было думать, что она остается хозяйкой положения и в любой момент может остановиться. Поэтому она продолжала скользить. Сколько-то времени она просидела за столиком в коридоре, медлила, перелистывала журнал назначений, вынула из ящика роман о шпионах, сунула назад, наконец, поднялась и подошла к кабинету заведующей. Где-то наверху хлопнула дверь лифта, кабина с шорохом проехала вниз. Послышался шелест сандалий, она оглянулась. Прозрачный юноша вошел в отделение, и ей показалось, что он поднял руку, как бы подал знак, чтобы она не беспокоилась, и медленно приложил палец к губам. Но остановился, очевидно, передумав, и повернул назад. Она смотрела ему вслед. Стеклянные половинки дверей на лестницу все еще покачивались. Шура стояла, задумавшись, перед кабинетом; висела мертвая тишина; тут она заметила, что в скважине нет ключа, сунула руку в карман халата, и там тоже не было ключа. Она взялась за ручку двери, ручка опустилась сама собой, дверь была открыта. Шура вошла в кабинет и увидела, что он сидит в кресле заведующей и на столе лежит ключ.

На самом деле, конечно, она хитрила сама с собой, говоря себе, что оставила по забывчивости ключ в скважине; и, когда она бежала вниз по лестнице в хирургическое отделение в своих босоножках, легким, пружинистым шагом, точно ей было восемнадцать лет, когда она прыгала по ступенькам, она знала, что ключ в скважине был знаком, который она ему подала, и что он ждет ее в кабинете, и думала, почему бы и нет, и думала, что она прелестна, и эта мысль наполняла ее восхитительным томлением. Минут через десять она вернулась, прижимая к груди никелированный бикс, поднялась по лестничному маршу, не обращая внимания на белого юношу, который стоял спиной к окну и смотрел на нее, его крылья загородили стекло; она даже не взглянула на него. Толкнула стеклянную дверь и вошла в свое отделение; тот, кто сидел в кабинете, все еще маячил на горизонте ее мыслей, но музыка вождения стихла, и авантюрный восторг прошел. «Ничего, — думала она, — подождет, куда торопиться». С этой мыслью она зашла в комнатку для персонала и сняла с себя кое-что лишнее — на всякий случай, — но твердо знала, что лишь заглянет к нему в кабинет и больше ничего. Она отнесла бикс в перевязочную и уселась на свой пост за столиком в коридоре, она думала о своих делах, о завтрашнем дне, о покупках и очередах, мысли ее разбрелись. «Подождет», — подумала она и вынула из ящика шпионский роман. Время шло, тишина и сон объяли отделение, изредка погромыхивал лифт, вдруг ей пришло в голову, что никого в кабинете заведующей нет, он давно ушел, а она Бог знает что себе насочиняла. «И прекрасно», — сказала она вслух. Ей было досадно. Она совершенно не думала о Рубине, а думала: сколько упущено возможностей, а молодость между тем проходит.

Ей вспомнилось, как однажды, это было в самое первое время, ей сказали, что отец приехал и ждет ее внизу; она решила, что дома что-то случилось, но там сидел (на деревянной скамье, согнувшись, упираясь локтями в колени, опустив голову, так что она видела только его шляпу) не отец, а преподаватель училища, и ей стало стыдно, что она живет в грязном общежитии; было утро, он приехал с ранним поездом, Шура только что вернулась с дежурства, была усталой и некрасивой; остановилась перед ним, не зная, что ему сказать; они поднялись к ней в комнату, где стояло шесть коек с тумбочками, посторонних впускать не разрешалось, но можно было считать, что он ее отец; потом вышли из общежития, дождались автобуса, долго ехали и после весь день бродили по неизвестным улицам, катались на метро, ели мороженое и сидели в каком-то сквере. Шура ждала, что он скажет ей что-то окончательное, то, ради чего он приехал, но он говорил только о том, что у него никого не осталось в жизни, кроме нее, с семьей полный разлад и что он только о ней и думает. Почему же

ты не уйдешь от них, хотелось ей спросить, но она ждала, что он сам скажет. Здесь уже было не так, как в Туле; здесь они были на равных, и даже бросилось в глаза, что он приехал из провинции, а она столичная штучка: в модном пальто, с лакированной сумочкой и в чулках телесного цвета со стрелками; она даже стала говорить ему «ты». Ноги устали; когда оба они сидели в сквере на скамейке, Шура выпростала ноги из туфель, он отодвинулся, она положила ноги на скамейку; она смотрела на человека, сидевшего по ту сторону клумбы в тени, это был старик в меховой шапке и в пальто с поднятым воротником, не смотря на то, что уже установились теплые дни; кое-где, правда, остались островки грязного снега. Преподаватель училища грел в ладонях ее ступни в блестящих чулках, гладил ее ноги, сначала икры, потом колени. Наконец он сказал: «Мы должны выяснить отношения». «Какие отношения?» — спросила она. Он сказал, что остановился у дочери, оказалось, что дочь тоже работает в Москве; предложил зайти к ней. Шура отказалась, ей было неприятно, что он заговорил о дочери, которая была старше Шуры. «Там сейчас никого нет, — возразил он, — оба уехали и оставили мне ключи». Она ответила: «Тем более не пойду». «Почему?» — спросил он. «Не пойду, и все». И сейчас ей казалось, что она упустила возможность, казалось странным, что она предпочла солидному преподавателю своего беспутного мужа, который тогда только начал подбираться к ней и только и сумел что сделать ей ребенка; а главное, ей казалось странным и нелепым, почему она колебалась и разыгрывала недотрогу, ведь все это так просто.

С этой мыслью она встала и, вздохнув, направилась в кабинет заведующей.

Мать Ильи, Берта Владимировна, лежала в проходе между койками, в последней палате женского коридора, и слушала фантазию до мажор Шумана, которую играла ученица. Вещь была девушке совершенно не по силам, она не только неспособна была понять смысл этой музыки, изумительное соединение страсти и мужественной мысли, но попросту перевирала целые пассажи, пропускала такты, не играла, а барабанила и при этом лежала на койке, ногами к раскладушке учительницы, и даже похрапывала время от времени. Как-то так получалось, что все происходило одновременно: ученица лежала в палате наискосок от нее и играла на старом инструменте, занимавшем чуть ли не всю комнату, сама же Берта сидела рядом, переворачивала ноты, морщилась и терпеливо выносила ужасное исполнение, чтобы уж потом сразу высказать все свои замечания. Другие женщины в палате, очевидно, были тоже ее ученицами, но она не спрашивала, почему они явились раньше времени, почему очутились здесь, надо было дожидаться, когда закончится отвратительная, неумелая, до ужаса бездарная игра. Вдобавок оказалось, что рояль был расстроен, вероятно, оттого, что его перевозили и втаскивали на шестой этаж, поэтому она приняла сразу два решения: во-первых, она не будет ничего объяснять, просто скажет, что прекращает уроки. Скажет, что с такими данными продолжать занятия бессмысленно. Во-вторых, она вообще прекращает преподавание, так как теперь, когда приходится больше времени проводить в больнице, чем дома, все лишилось смысла. Ученица встала с постели, это была старая женщина с седой косичкой, протиснулась между спинкой кровати и раскладушкой, почти задевая лицо Берты Владимировны подолом рубашки, и потянула за шнурок, чтобы закрыть фрамугу. «Позовите сестру», — сказала Берта. Больная ничего не ответила, улеглась и натянула на себя одеяло. «Разве это так трудно? — продолжала Берта Владимировна. — У вас над головой кнопка вызова. Достаточно только протянуть руку. Хорошо, — сказала она, — я потерплю. Только, пожалуйста, не храпите». «Все спят, — проворчала больная, — тебе одной не спится». «А, знаете почему?» — спросила Берта. «Не знаю и знать не хочу». «Я умираю, — сказала Берта, — попросите, чтобы вызвали сына». «Небось не помрешь. Старое дерево век скрипит». «Вы так думаете? И почему вы так грубо со мной говорите?» В полутьме послышался скрежет кровати, ворчливый голос ответил: «Чего это грубо? Нормально разговариваю, как все». «Я... Мне...» — сказала Берта Владимировна и забыла, что хотела сказать. «Сама не спишь и людям мешаешь», — сказала больная. Берта хотела сказать, что надо немного потерпеть, музыка кончится и она умрет, но промолчала. После этого прошло

сколько-то времени, и голос соседки спросил из темноты: «Ты чего? Ты куда? Ты, может, пописать хочешь?» Берта молчала. «Да ты куда собралась, куда собралась?..» Берта Владимировна стояла посреди палаты, держась за спинку чьей-то кровати. Вторую раскладушку убрали накануне вечером, образовался свободный проход.

«Давай-давай ложись, а то простудишься»,— приговаривала больная, держа Берту под мышки. Берта Владимировна уцепилась за спинку кровати и не спускала глаз с двери. «Ложись, спи,— сказала соседка.— Ишь, разгулялась. Мне, бывает, тоже разное снится. Потом думаю: «Господи, кто ж это был?» Нет там никого, ложись. Может, я и сама тебе тоже привиделась». Дверь в палату была раскрыта настежь, и там стоял мужчина в белом, вероятно, дежурный врач.

В эту минуту (она снова лежала на раскладушке, в палате горел свет, стоял штатив с капельницей, сестричка искала вену, похлопывала пальцами по локтевому сгибу) Берта Владимировна почувствовала, что никогда ее мысли не были так отчетливы, никогда она не оценивала так ясно и трезво свою ситуацию. Она вздрогнула, когда сестра вколола ей иглу в тыльную часть руки, но кровь не шла из иглы, пришлось вынуть иглу, сестра хлопала ее по руке, снова протерла кожу холодным спиртом, снова вколола, это были бесполезные хлопоты. Берта Владимировна перестала обращать на них внимание, ее мысли были ясны, как никогда, Берта была спокойна, как может быть спокоен человек, освободившийся от всех надежд и иллюзий, и сказала:

«Ты не представляешь себе, сколько я написала заявлений».

Дежурный врач наклонился над ней, видимо, не расслышал.

«Сколько порогов пришлось обить,— продолжила она,— ты даже не представляешь. Чтобы наконец-то получить ответ».

«Что же это за ответ?» — спросил он.

Она усмехнулась. «Нельзя сказать, что я так уж сразу и поверила. Одного я не понимаю, зачем они меня водили за нос столько лет...»

«Значит, все-таки поверила».

«Как тебе сказать. Все же, как ни говори, авторитетная инстанция».

«Тут какое-то недоразумение»,— сказал врач, у которого под расстегнутым халатом была полувоенная форма: темно-синяя гимнастерка, широкий ремень, галифе. Он был в сапогах.

«Сделайте еще раз кордиамин»,— сказал он сестре.

«Нет необходимости,— сказала Берта презрительно.— Извини, я перебила. Какое недоразумение?»

«А такое, что они тебя снова обманули».

«Я тоже сначала так думала».

Он стал ей объяснять, что, с одной стороны, это верно, он действительно был приговорен к высшей мере, за что — это сейчас уже не имеет значения, и приговор приведен в исполнение, тут уж, добавил он, ничего не поделаешь. Но это было давно, теперь законность восстановлена. Он улыбнулся.

«Как видишь, все в порядке, я жив и здоров. И даже вот...» Он распахнул халат, у него оказался орден над карманом гимнастерки.

«Жаль,— сказала Берта,— очень жаль, что ты так поздно о нас вспомнил».

Врач пожал плечами.

«Мне дали телеграмму, и я приехал. К сожалению, всего лишь на один день».

«Дела?» — улыбнулась она.

Он снова пожал плечами.

«И так еле отпустили. Так что,— проговорил он,— придется ему взять на себя все заботы. Я уже кое-что заказал, цветы, место с великими трудами удалось выхлопотать, вот это,— он постукал пальцем по ордену,— мне помогло! Надо будет только проследить, чтобы все было сделано, как положено.— Она снова вздрогнула. На этот раз сестра попала в вену.— Прекрасно,— сказал врач,— вколите кордиамин прямо в трубку и, пожалуйста, преднизолон».

«Если ты имеешь в виду его, то он от меня очень отдалился, и вообще это другое поколение. Особенно теперь, когда меня выселили...»

«Странно, что тебя не выселили раньше».

Берта хотела спросить: а как у тебя с личной жизнью? Он махнул рукой: дескать, не стоит об этом. Давай попрощаемся. Да, еще одно дело... Он наклонился и прошептал: я хочу тебе сказать одну вещь, очень серьезную, но только чтоб никто не слышал, это секрет. Между нами... Он продолжал шептать ей на ухо, но она не могла понять. Что такое, сказала она, говори громче. Какие еще секреты, теперь уже и так все ясно. Отойдите прочь! — крикнула она. Дайте мне наконец побыть наедине с моим мужем. Мой муж приехал, неужели вам надо объяснять? Тут вот какое дело, шептал он и дышал ей в лицо, я думаю, тебе пора об этом узнать... Я ничего не слышу, говори громче. Невозможно было понять, что он там бормочет. Она собрала все силы и стала подниматься. Ну вот, сказал он, теперь ты все знаешь. Что, что? — спросила она, говори громче, а вы все уходите из палаты! Откройте окно, дышать нечем. И уходите, все уходите: Все послушались и ушли. Повтори, что ты сказал, я не могу в это поверить. Этого не может быть. Повтори. Что ты сказал? Но его уже тоже не было.

VII. Прибытие

В памяти нашей оживает зрелище правительственного прибытия, или, лучше сказать, некое видение встает перед нашим взором. Внезапно пустеет шоссе. Ни одно должностное лицо не знает, кто прибывает, акцент не на подлежащем, а на сказуемом. Здесь годилось бы немецкое неопределенное местоимение, но в нашем языке его нет; словом, некто прибывает. Летит невидимая молва из-за лесов, где прячется аэродром; летит прямая, как игла, дорога; горит серебряный небосвод, день еще не совсем угас, и как будто даже светает: наступил таинственный, оловянный, слюдяной час. Длинный луч шарит по небу, вспыхивают лиловые молнии, переговариваются мегафоны, и вдруг утробный голос где-то рядом из-под земли обдает начальственным матом водителя, который замешкался со своим автобусом. Мигают молнии, приближаются фары, с оглушительным шорохом проносится отряд машин. Блестит лезвие шоссе. Все смолкло, все ждет.

И вот является новое светило, зреет ослепительная звезда. Первым в ее луче катит автомобиль с самым главным и грозным распорядителем; возможно, это начальник милиции всей столицы или всей страны; а далее — мы уже не решаемся строить догадки о том, что или кто выбивается из-за полога туч, стоит, шевеля усами огней, на горизонте, ползет, катится, приближается с плавным свистом: низко летят над шоссе длинные, лакированные, крылатые, как черные жуки, лимузины, в которых полулежит на заднем сиденье Некто — или их несколько? — тот или те, кто четверть часа тому назад приземлился на аэродроме. Но на самом деле — заметьте, что в этом и состоит вся таинственность прибытия, — на самом деле никто не приземлился и никого нет в черных машинах с темными стеклами, а есть только бдительность, секретность, оперативность, утробная брань начальств, ртутно-лиловые молнии, милицейские мотоциклы на пустых перекрестках и мистическая сигнализация в воротах Кремля. Все есть, приняты все меры, и оловянный блеск замер на небе, как некогда солнце остановилось по воле Иисуса Навина, а в машинах, кто же сидит в машинах? В машинах нет никого. Некто — это никто. Поблескивают глаза окаменелого шофера, еле заметно кольшется в руках штурвал, свистит дорога, летят посты, летят заросли, чахлые рощи, поля, надвигаются грязно-белые корпуса окраин, а позади шофера, в недрах длинного, как вагон, лимузина, на мягком диванном сиденье никого нет.

Полчаса тому назад совершил посадку правительственный самолет, прибыл в глубоком секрете один-единственный человек, на другой день газеты поместят фотографию торжественной встречи. Но была ли встреча, и кого встречали? Этого никто не знает, ни одно ответственное за порядок должностное лицо и ни одно начальственное лицо, курирующее газеты. То, что им известно, есть лишь то, что должно быть. Это и есть главный секрет: то, что в самолете никого не было, или, что будет вернее, в самолете прибыл Никто. Никто не втиснул свое обрюзгшее тело в бронированный лимузин, вернее, втиснулся Никто. Никто промчался в жужжащей веренице черных жуков над тусклым, как

лезвие меча, шоссе, вдоль Ленинского проспекта, въехал в башенные ворота и подкатил к подъезду. Никто поднялся, коснувшись пальцами полей шляпы, по двум широким ступеням и вступил в мягко освещенный вестибюль. Вошел в кабинет и плюхнулся, словно живой человек, в кресло. И молвил, смежив тяжелые веки: уф! Я прибыл. Я здесь. Я здесь, но меня нет. Никто не приехал, вернее, приехал я. Я Есмь Тот, Кого Нет. Кого встречали, кому махали флажками на улицах, кого видели все и ни один человек не видел. Я есмь сущий. Кто смеет усомниться в том, что я был? Лишь тот, кто усомнится в том, что меня не было. Я тот, для которого существование и несуществование — одно и то же, бытие все равно что небытие, ибо небытие — это и есть мой способ быть.

Олово дня почернело, скорей назад — мы должны успеть вернуться в аэропорт, где нас ждет еще одно и, может быть, более важное событие: еще одного гостя доставил в столицу мира только что приземлившийся воздушный корабль. Отъехала в сторону эмалевая заслонка, высунулось бледное личико стюардессы, и следом за ней на площадку подъездного трапа ступил один, затем другой сапог, лоснящийся, как круп вороного коня. Заметим, что на диалекте известных социальных кругов слово «кони» (а также прохоря, лопаря и так далее) как раз и означает «сапоги». Ноги в просторнейших темно-синих галифе спустились по ступенькам на столичный асфальт и, бодро шуруя дорогой тканью, зашагали навстречу полярному сиянию аэровокзала. Тучный загорелый человек в тюрбанообразном кепи на бритой сиреневой голове, в пиджаке иноземного покроя и крылатых штанах, с единственным знаком отличия на отвороте — золотой звездочкой на крохотной алой колодке — промаршировал, слегка помахивая маленькими руками, в сопровождении двух, черт знает, как их назвать, соратников, царедворцев, телохранителей, чья незаметность, если можно так выразиться, бросалась в глаза. Оба сопровождающих были в габардиновых одеяниях и башмаках, в которых можно было угадать те же упрятанные в брюки вороньи сапоги. Оба в отличие от хана в фетровых шляпах. Шофер подскочил, помог влезть в машину; минуту спустя дородный гость и сопровождающие лица покачивались на упругих подушках; экипаж летел по шоссе.

Сразу скажем, чтобы не заставлять читателя теряться в догадках, что в столицу пожаловал Председатель Верховного Совета Половецкой АССР, депутат Верховного Совета и носитель других званий. Газеты не сообщили о его визите, прибытие не было оставлено чрезвычайными мерами, что лишь подчеркивало, как это бывает в дипломатическом обиходе, реальное, а не символическое значение его прибытия. Никто был никто, даже если в обычной жизни он был Кто-то, — тогда как хан степного и предгорного края воплощал наиреальнейшую действительность. Общество, в котором Никто функционировал главным образом в качестве портрета, не было ни чиновно-начальственным, ни классовым, ни классовым, ни бесклассовым, ибо оно было всем сразу. Века смешались: феодализм, социализм — кто мог во всем этом разобрататься? В некотором роде это были синонимы. В этом обществе были и сословия, и классы, и лестницы чинов, и уходящие ввысь уступы ведомств; точно так же в нем перепуталась география: Запад выглядел Востоком, а Восток напялил на себя одеяние Запада; в этом обществе существовали жреческая коллегия, верховный синклит, что-то вроде шахиншаха; и подобно тому как органы управления дополняли и повторяли друг друга, политический аппарат, административный аппарат, хозяйственный аппарат, идеологический аппарат соперничали, но каким-то образом уживались друг с другом, — так и социальный организм многократно дублировал себя и отражался в самом себе. Можно было говорить о параллельных иерархиях и об иерархии иерархий; можно представить это общество как галерею зеркал.

В четырех иерархиях своего родного края половецкий хан был номер один: в партийной — это уж само собой, в феодально-национальной, в коммерческой и в уголовной. Он притязал и на место в пятой, особо престижной иерархии, о чем будет сказано в свое время. Ироническая игра судьбы, ирония истории состояла в том, что народом, который покорил все соседние земли, управляли плебеи; Никто — если вернуться к тому, кто прибыл первым, — был именно никто, человек без роду и племени. Тогда как хан являл собой славную

древность в блеске клинков и дыме пожаров. Он жил в XII столетии, восседал в шатре, на алазанских коврах, и «вкруг рой абхазянок прекрасных», и все такое, и одновременно он жил в наши дни. Он утверждал, что происходит от брачного ложа ханской дочери и грозного Святополка, от внука его, тринадцатого хана, чье войско погибло на Калке, но, что самое замечательное, он так же уверенно чувствовал себя и в нашем все на свете перепутавшем веке.

Ему принадлежали государственные магазины вместе с директорами, склады с их заведующими, ларьки газированной воды, торговые ряды на колхозном рынке и орденоносный ансамбль национальной песни и пляски со всеми его певцами и танцовщицами. Ему подчинялось многое, его уважали весьма уважаемые люди, крупные осетры и негласные авторитеты заочно оказывали ему знаки внимания, и еще больше начальственных лиц низшего ранга охотно или неохотно считалось с его присутствием. И хотя явление половецкого хана не было обставлено такой тайной и мистикой, как прилет несуществующего правителя, — а вернее, именно потому, что оно не было овеяно мистикой, — оно было неожиданностью для всех, включая и тех, кому положено было ждать, трепетать, быть готовым в любую минуту предстать для расправы, поощрения, стратегических переговоров, увеселений и услуг.

VIII. Интервью. Глава, которую хочется пропустить

Хотя во всем городе о знаменитом редакторе едва ли знало полтора десятка человек — не считая, само собой, женщин и работников тайного ведомства, — он был тем не менее знаменит и оставил по себе живую память. Живую, то есть зыбкую, неверную, ненадежную, как сама жизнь; на нее, эту память, по необходимости опираются наши попытки восстановить историю Журнала или хотя бы понять, что такое представлял собой пресловутый Журнал: ведь ясно же, что никакого Журнала не было. То есть что-то было. Но что? Если многое остается непонятным, непроявленным, отчасти даже не вполне достоверным, если смысл и облик Журнала оказываются далеко не такими, как их до сих пор было принято представлять, а фигура редактора — не свободной от легендарных черт, то потому, что разные люди уснащали эту историю подробностями, которые трудно согласовать.

Так, например, существует несколько версий смерти Ильи Рубина. Говорили, что он сгорел во время пожара, во сне, в комнате покойной Берты Владимировны, вместе со всеми «материалами». Известно, однако, что он не курил. Ползли слухи, что пожар случился не без ведома тайного ведомства, но чего только не приписывали этому ведомству. Вряд ли оно было заинтересовано в исчезновении вещественных доказательств, за которыми так усердно охотилось.

Не менее романтическая версия ходила одно время среди оставшихся: арест и водворение в психушку. Там он якобы и отдал концы.

Наконец, приходилось слышать, что редактор уехал: по одним сведениям, в Америку, по другим — на Ближний Восток. И будто бы скончался от сосудистого криза в объятиях новой и чрезвычайно пылкой подружки, на каких-то коврах, среди восточных курений, под бубны и завывания библейского рок-ансамбля. Завидный конец, но как же тогда надгробье, да еще бок о бок с ханом?

Ни одна из этих легенд не может быть опровергнута. Ничье свидетельство не заслуживает доверия (почему мы и не настаиваем на том, чтобы эта глава была прочитана), за исключением, пожалуй, единственного документа. Историки Древнего Рима находятся в куда менее выгодном положении, своей находкой мы обязаны информационному прогрессу. Следует заметить, что уже в те годы техника записи достигла больших успехов. Лента из поливинилхлорида, покрытая ферромагнитным носителем, сочетает значительную информационную емкость с надежностью хранения. Катушку легко спрятать, при обыске незаметно выбросить в окошко и т. п. Что и предоставляет нам счастливую возможность услышать живой голос Рубина: редактор отвечает на вопросы, которые, за отсутствием интервьюера, задает сам себе.

Спрашивается, почему он избрал такой странный способ саморекламы. Было ли это рекламой? Для кого, собственно, предназначалось «интервью»,

собирался ли он опубликовать его, причем опять же, что значит опубликовать? Мы задаем себе вопрос, суть которого в том, что письменная культура есть не что иное, как продукт внутренней потребности некоторых людей, и если это так, то не обречена ли она задохнуться? Призрачная, выдуманная жизнь, которой жили в то время люди, почитавшие себя духовной элитой, не нашла ли она свое выражение в этом нарциссизме, в этой духовной разновидности самоудовлетворения, в ржавой катушке, похожей на улитку-отшельницу, свернувшуюся в своей раковине? Читателю остается вообразить ленивый час после позднего пробуждения в башне слоновой кости. Воскресенье и, должно быть, мутный облачный день, не утро, не полдень, не сумерки, не комнате-берлоге, запущенной, как может быть запущено жилище холостяка достаточно молодого, чтобы не страдать от грязи и нищеты, и уже настолько закоренелого, чтобы ни за что не менять свои привычки, буквально негде повернуться: все место загромождает рояль. Это старинный, славный, приобретенный в тридцатых годах «Бехштейн». Время от времени хозяин барабанит одним пальцем по клавишам, но главным образом рояль служит письменным, кухонным и обеденным столом. Между резными ножками на полу помещается техника, весьма громоздкая, на наш взгляд, напротив рояля — продавленное кресло. Бывают вещи, непонятным образом уцелевшие после войн, пожаров, погромов, революций и набегов одичалых крестьян. Быть может, в этом кресле сто лет назад восседал его ученый прадед.

Удивительная вещь родословная; у каждого человека — два родителя, два деда, две бабки, восемь прадедушек и прабабушек; сто пятьдесят лет тому назад у каждого из нас было полтора ста предков; тысячу лет назад — целый народ, а во времена Ноя над тем, чтобы мы когда-нибудь появились на свет, трудилось все человечество. Сколько женихов и невест, сколько забот и волнений, сколько семени брошено в плодоносную тьму — ради чего? Однако происхождение принято представлять себе так, как растут деревья — ветвями кверху, и генеалогию нашего друга Рубина пришлось бы начать с Авраама, сына его Исаака и внука Иакова, уже овладевшего, по некоторым сведениям, грамотой, что и дало ему преимущество перед косматым Исавом; и далее разраставшееся потомство вступило бы в древние, поздние, последующие и средние века и дало бы начало мудрецам, которые досиделись над своими истлевшими книгами до того, что вообразили, будто из этих букв с заусеницами сотворен весь мир и от них пошла ветвь, которая закончилась нашим другом; все утеряно, кроме фанатической веры в слово.

Сколько-то времени прошло в мечтаниях, в созерцании мутных небес за окном, в выслушивании магнитофона, после чего босая ступня протянулась из кресла и надавила большим пальцем на клавишу. Нажала другую клавишу. Катушки завертелись с удвоенной скоростью, голос кастрата выдал монолог на языке, напоминающем диалект жителей древнего Юкатана.

«Моренцесса воды ресницной изницца. Танцуль звероз утанцонна! Царедревич-склоо, упитьель изгубама, зуфра цаядь еды зублюдама. Винанец ли-ницль из уме рец»¹.

М-да, подумал редактор.

«Чирли, рли, рли, начнем, пожалуй!» — сказал магнитофон.

Начнем, буркнул Рубин.

«Мы находимся на квартире, вернее, в редакции, впрочем, какая к черту редакция, мы находимся неважно где».

Совершенно с вами согласен.

«Итак: в какой стадии подготовки находится первый номер?»

В заключительной.

«А точнее?»

А точнее, если нам не помешают, Журнал скоро выйдет в свет.

«Но когда именно?»

Скоро. Вот-вот.

«Значит, все материалы собраны?»

¹ Стихотворение С. Сигея.

М-м... почти.

«Вы как будто не уверены в сроке».

Это потому, что портфель непрерывно пополняется.

«А если помешают?»

Журнал все равно выйдет.

«Каков, если можно так выразиться, объем номера?»

Значительный. Точно сказать невозможно.

«Тираж?»

Странный вопрос. Журнал выпускает редакция, а дальше он размножается сам собой!

«Вы хотите сказать, тиражируется самими читателями?»

Если можно так выразиться.

«Скажите... А вы не боитесь?»

Рубин пожал плечами.

«Ведь должны же быть в вашей среде... Как сказал древний автор: у кого не было врагов, того погубили друзья!»

Такое предположение не исключено. Вполне возможно, что именно там находятся наши постоянные читатели.

«Где это — там?» — спросил магнитофон.

Редактор ограничился тем, что указал перстом на потолок.

«И вас это не пугает?»

Редактор поерзал в кресле. Видите ли, пробормотал он.

«Не валяйте дурака. Вы хотите сказать, что не занимаетесь политикой...»

Но вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Разве сам по себе факт нелегального распространения, если угодно, самый феномен нелегального существования, не является правонарушением?»

Воевать с государством — не наше дело, сказал Рубин презрительно. Пусть оно идет в ж... .

«Чш-ш-ш, чрлир, чрлир. Проверка записи».

Катушки вертятся в обратную сторону.

Стоп. Теперь вперед. «Чир, лир, ли». Стоп.

Воевать с государством — не наше... Пусть оно... Мы...

«Так когда же?..»

Скоро: вот-вот... А дальше он размножается сам собой. Не то чтобы очень пугает, но, конечно... А что мы такое делаем?.. Учреждение, о котором вы...

«Не мы, а вы. Мы о нем не упоминали. Мы ничего не знаем. Мы всего лишь техническое устройство. Наше дело — трли, рли, чш-ш-ш...» — Катушки завертелись, далее послышалось что-то невразумительное, после чего совсем другой, грубый голос произнес:

«Красивая баба, ничего не скажешь».

Кто?

«Будто ты не знаешь! Твоя любовница».

Которая?

«Нынешняя».

Бывшая, буркнул Илья.

«Ну и дурак».

Подумаешь, сказал Рубин.

«Она тебя любит».

Чего ж она тогда?..

«А что ей еще остается? Чш-ш-рлир. А теперь главный вопрос. Не могли бы вы дать приблизительное представление об авторском коллективе? Если его можно так назвать».

У нас много авторов.

«О, как интересно! Кто же это?»

Это выдающиеся умы нашего времени. Писатели, мыслители, поэты.

«Не хотите ли вы сказать, что в Журнале сотрудничают люди, ведущие двойную жизнь?»

Есть и такие.

«Значит, есть и другие».

Угу.

«Кто же они?»

Я бы не хотел называть имена. Скажу кратко: это последние чрлир-лир-лир.

«Как вы сказали?»

Чрлир-лир.

«Еще раз, пожалуйста».

Могикане духа.

«Что такое дух?»

Редактор, шевеля пальцами босых ног, устремил мечтательный взор в потолок, катушки вертелись, махая оборванным хвостиком пленки; вопрос повис в воздухе, как некогда вопрос, заданный Пилатом бродячему пророку. Мы знаем, что на этом беседа окончилась, но на вопрос, что есть истина, галилеянин мог бы ответить: истина — это Я. Примерно так же мог бы возразить редактор мнимому интервьюеру: Журнал — это и есть дух.

Первое впечатление при знакомстве с делом о Журнале — а мы теперь дожили до времен, когда можно заглянуть в секретные папки, если, конечно, нас снова не водят за нос, ибо, право же, легче добраться до дна Филиппинской впадины, чем измерить глубины подвалов, где хранятся дела, — итак, первое впечатление, когда листаешь следственное дело, — это необычайная разветвленность заговора. Разумеется, и сегодня далеко не все рассекречено, но даже то, что вам выдали для ознакомления, поражает объемом проделанной работы. Хорошая дюжина скоросшивателей, тысячи листов, десятки подследственных: виновных, подозреваемых, косвенно замешанных, никак не замешанных, так называемых свидетелей и так называемых понятых. Здесь вообще все — так называемое.

Необъяснимый парадокс: с одной стороны, о Журнале знали немногие, вероятно, каких-нибудь полтора десятка человек во всем городе. С другой стороны, к нему оказалась причастной уйма всякого народу.

Как известно, дух веет, где хочет; другими словами, в определение духа входит его неуловимость. Бросается в глаза, что в головах у следователей царил невообразимая путаница; как-никак они руководствовались определенными инструкциями, и, казалось, криминал был налицо. Тут, можно сказать, был готовый сюжет: вся история просто просилась в протоколы допросов, следственные трактаты и оперативные доклады; но чем дальше протягивались нити, тем они становились прозрачней, неприметней, путались и рвались при первом прикосновении; все дело выглядело каким-то нереальным, и, хотя само по себе это не могло быть препятствием, хотя органы сыска привыкли иметь дело с призраками, строго говоря, только и работали с фантомными объектами, на сей раз превратить эту полуреальность в нечто зримое и осязаемое, видимо, так и не удалось.

Мы сказали: заговор. Можно, конечно, называть его и так. Можно было квалифицировать Журнал как угодно: идеологическая диверсия, антиправительственная пропаганда, подпольная типография с использованием множительных аппаратов (так именовалась ветхая пишущая машинка Ильи Рубина); не составило бы труда приписать «авторам» передачу порочащих сведений за границу. В этом духе и работала когорта следователей. Но наиболее проникающие умы на верхних уровнях дознания понимали или, вернее, чувствовали, что тут что-то не то; руководство, которому время от времени докладывались результаты, безразлично отбрасывало бумаги (о чем свидетельствует раздраженный тон резолюций, вопросительные знаки синим карандашом на полях, подчас даже перечеркнутые крест-накрест страницы) и возвращало дело для доследования и дооформления.

Закон есть закон, даже когда под законностью подразумевается свод правил, предписывающих, как творить беззаконие. Дело именовалось уголовным (как все дела) и в данном случае даже не зря: как мы увидим ниже, история в самом деле переплелась с уголовщиной весьма дрянного сорта; когда уголовщина всплыла, следователи воспрянули духом — увы, ненадолго. Дело от этого лишь затемнилось. Уголовщину оставим пока в стороне, а вот что касается Журнала, то тут по-прежнему главное ускользало из рук, невозможно было

сформулировать, в чем оно, собственно, заключалось. Что такое Журнал, с чем его едят? Никакого Журнала не оказалось, а вместе с тем он существовал. Ясно было, что тут что-то есть, но что именно? Взрослые люди играли в какую-то недозволенную игру, и следственные инстанции поневоле втягивались в ту же игру. С одной стороны, чушь, ерунда собачья, из которой ничего не высосешь, а с другой... Что же еще оставалось, как не поставить вопрос о психиатрической изоляции хотя бы главного зачинщика.

Как уже сказано, задача сыска состоит в том, чтобы превратить нечто фиктивное в действительное, здесь же, напротив, действительность превращалась в фикцию и увлекала за собой в какую-то мистическую яму все следствие; чем больше оперативные чины старались убедить себя и начальство, что перед ними истинное осиное гнездо, вместилище крамолы, тайная организация и агентура иностранных разведок, тем сильнее было ощущение чего-то издевательски-ирреального. В конце концов следствие, затянувшееся на много лет, предприняло совершенно необычное для него умственное усилие — прибегло к символическому мышлению. Следствие попыталось превратить Журнал в некий устрашающий знак. И надо признать, что оно было не совсем неправо. Резонность такого поворота очевидна. Но в нем сказалась и определенная усталость. Спрашивается: не была ли эта усталость, недостойный паралич, в который впали высшие чины, не был ли он — подобно многому, о чем здесь уже говорилось, — предчувствием близкого финала времен? Дело осложнилось другими обстоятельствами, о них речь впереди. Были достигнуты определенные успехи, главных участников удалось, выражаясь официальным языком, «изъять». Но это были последние, так сказать, арьергардные бои. Крушение державы окончательно спутало карты и лишило смысла дальнейшее дознание; дело было наспех закрыто.

...Могикане духа, как весьма выпендренно выразился Илья Рубин. Но ведь речь идет о весьма прозаических предметах: например, о копирке. И вот целые дни уходят на добывание этого дефицитного материала. Речь идет о папиросной бумаге, на ней можно в один прием отстучать десять копий. О сборе материалов, о поиске участников, о встречах с чудаками и чайниками, о странствиях Одиссея. А Журнала нет — во всяком случае, от него не осталось никаких следов. Речь идет воистину о чем-то сверхматериальном.

Призрачное существование объекта столь напряженных розысков объясняет тот поразительный факт, что его так и не удалось разгромить. Не исключено, что Журнал продолжается по сей день, но это уже выходит за рамки избранной темы. Как бы то ни было, нам придется разочаровать тех, кто хотел бы видеть в Журнале карточный домик крамолы. Придется признать, что условия его существования — окраина и подполье — лишь отчасти объясняются политическими условиями. Вот что поистине выбило почву из-под ног у следственных органов! Они напоминали собаку, которая охотится за мухами. Разинув пасть и щелкая зубами, они неизменно хватали воздух. Возникло подозрение, что Журнал существовал бы, даже если бы государство было в тысячу раз liberalнее.

Призрачное существование Журнала сделало его неуязвимым не только для тайной полиции, но и для гласности, независимым не только от политики, но и от рынка, недостижимым не только для стукачей, но и для камер телевидения. Оттого-то оно и было призрачным. Генеалогия Журнала, как мы теперь догадываемся, теряется в отдаленном прошлом. Журнал сравнивали с островами блаженных, с Касталией, с башней слоновой кости, с монастырем, с Великим магистерием, уподобляли тайному культу, ордену или секте; никто никогда не знал, каково на самом деле было число его адептов, вероятно, их было до смешного мало; кое-кто, разумеется, известен, и, предполагая в читателе образованного человека, мы не станем перечислять их имена. Метафора катакомб напрашивается сама собой, кроме того, в Журнале усматривали сходство с улиткой, рыцарем, черепахой, с пловцом в океане, с капсулой времени, с космическим кораблем в безмерной пустоте мира. Его уподобляли алфавиту исчезнувшего народа, манускрипту на неизвестном языке, письму в бутылке, брошенной за борт; наконец, в нем хотели видеть лабораторию сверхязыка, для ко-

того весь мир, все общество, вся история будут лишь материалом для описания, отстраненного препарирования и претворения. Но для этого надо было исключить себя из общества и захлопнуть ворота в мир. Журнал был неуязвим для смерти, но также и для жизни. Может быть, его следовало считать просто синонимом культуры, той культуры, которая все еще отстаивает свою аристократическую честь, все еще размахивает картонным мечом, все еще отбивается от всех, кто хочет ее изнасиловать или купить, и уходит в катакомбы, и захлопывает над собой крышку подполья, и эмигрирует внутрь себя? Журнал был бесконечно выше всех своих участников. В отличие от них он был вечен. Призрачное существование было залогом его бессмертия, но это бессмертие было именно тем, о чем идет речь, — капсулой, — каким только и может быть бессмертие духа; как Эвфорион, он оставил тленную одежду, и удержать его на земле было так же невозможно, как невозможно осязать божество.

IX. Западно-восточный диван

Ничему не предавались с таким упоением люди того времени, как беседам по телефону. Очереди стояли перед уличными автоматами, ожидавшие нетерпеливо стучали монетой в стекло. Счастливицы, владевшие личными телефонами, с утра усаживались перед аппаратом. Все номера были всегда заняты. Потoki новостей, ручьи сенсаций, крики, вздохи неслись и струились по проводам. Те, кто не сумел пробиться, потеряв терпение, обозленно вешали трубку:

«Разговаривают...»

На другом конце в отчаянии швыряли трубку:

«Разговаривают, в р-рот их всех!» — «А-ли-у...»

Ведомство, установившее низкий тариф на разговоры по телефону, совершило акт, равнозначный перевороту в истории культуры: оно уничтожило переписку. Вот отчего исчез роман в письмах.

Это было новое и удивительное времяпрепровождение в абстрактном пространстве. Это было пространство без измерений. Голоса без лиц и без глаз. Разговоры, напоминавшие световую дуэль кораблей. Разговоры бестелесных существ, подчиненные сложному этикету. Голоса кружили друг возле друга, как в ритуальном танце. Слова выполняли загадочные функции. Паузы были нагружены глубоким значением. Разговоры, которые были не чем иным, как чистой коммуникацией, лишенной содержания, словно партнеры без конца хлопывали друг друга по плечу, и разговоры, которые представляли собой алгебру человеческих отношений, отсылали к другим, «нетелефонным», что, собственно, и должно было подчеркнуть их символический смысл.

«Это кто? — спросила трубка. — Это ты?»

«Вам кого надо?»

«Нам надо, чтоб это был ты».

«Я у телефона. В чем дело?»

«С тобой будет шеф говорить».

«Здравствуй, кунак», — сказала трубка голосом половецкого хана.

«Кто это?.. А-а-а-а-а! Юсуф, дорогой! — закричал Олег Эрастович. — Я уж думал: куда пропал мой Юсуф?»

«Хо, хо, хо».

«Я уж думал...»

«Хо-хо! Как здоровье?»

«Более или менее, Юсуф, более или менее! Надолго ли в наши края?»

«А это смотря по обстоятельствам».

«Юсуф, мой друг, ты же знаешь, я всегда тебе рад».

«Знаю, знаю...»

«А ты как поживаешь? Жена, дети? Все здоровы?»

«Живем. Не жалуемся».

«Надолго ли к нам, Юсуф?»

«А это, между прочим, от тебя зависит».

«Разумеется, Юсуф, что за вопрос...»
 «Хо-хо-хо! Тебе, я вижу, объяснять не надо».
 «Хе, хе... зачем же объяснять».
 «Ладно. Какие новости?»
 «Новости? Я для тебя кое-что приготовил».
 «Если бы не приготовил, я бы тебе голову свернул, хо, хо!»
 «Сюрприз для тебя, хе, хе...»
 «Если бы не приготовил, я бы яйца тебе отрезал!»
 «Хи, хи...»
 «Хо-хо-хо!»

«Марципан,— сказал Олег Эрастович и поцеловал воздух.— Конфетка. Совсем свеженькая, знаешь ли».

«Поглядим».

«Ты где?»

«Где всегда. Ладно, некогда! Жди звонка».

«Когда? Юсуф, когда? Я должен организовать».

«Земляк позвонит,— сказал хан.— Некогда... Постой. Еще одно дело к тебе. Но это при встрече. Это не телефонный разговор».

«Алё,— сказал переводчик.— А, это ты?»

«Привет. Как бы нам повидаться».

«К сожалению, я в ближайшие дни занят».

«Угу. На следующей неделе?»

«Не знаю точно; надо созвониться. А что, срочное дело?»

«Это не телефонный разговор».

«Все понял. Но ведь я тебе уже сказал...»

«Да, да...»

«Я профессионал, я не могу позволить себе играть в эти игры».

«Конечно, конечно».

«Не говоря уже о том, что у меня семья».

«Господи,— сказал Рубин,— я же тебя не насилую. Ты сам просил тебе позвонить».

«Да, но я хочу, чтоб ты понял».

«Перезвоню тебе через десять минут». Он вышел из телефонной будки и несколько времени спустя вошел в другую будку.

«Алё... Это ты?»

«Я. Так как же?»

«Как, как...»

«Ты же поэт».

«Ну и что?— грустно сказал переводчик.— Пойми. Я человек дела. Как бы ты ни относился к моей работе, это работа, это профессия. Это, наконец, заработок. Я профессиональный литератор, я работаю в литературе».

«Какая это литература...»

«Это ты так считаешь».

«А ты нет?»

Переводчик вздохнул.

«Ты же поэт,— сказал Рубин.— Настоящий поэт».

«Ты хочешь меня втянуть в эту авантюру. В эти игры... А у меня семья. Даже две».

«Слушай... тут какие-то хмыри стоят на углу. Ты будешь дома? Я позвоню попозже».

Спустя полчаса он вылез из автобуса, спустился в метро, проехал две остановки и вышел на людной площади.

«Это я,— сказал он,— алё... Я тебя не насилую, не хочешь, как хочешь. Я просто хочу сказать, что ты поэт Божьей милостью. А тратишь свой талант, свой мозг на...»

«Отложим эту тему. Давай лучше поедим к ней, она замечательная баба. Посидим, выпьем. Завтра часиков в восемь, а?»

«Может быть. А кто она такая?»

«Увидишь. Алё».

«Алё... Так какая же из двух настоящая?»

«Обе настоящие».

«Так не бывает».

«Все бывает».

«И с литературой тоже так?»

«И с литературой. Одна — жена, а другая — любовница».

«Любовница — это поэзия?»

«Конечно».

«И тебе не надоело, не хочется плюнуть на все и уйти к любимой женщине?»

«Хочется».

«Жена не пускает?»

«Как тебе сказать».

«Так и будешь всю жизнь писать в себя».

«Не в себя, а для себя».

«Разве тебе не хочется, чтобы у тебя были читатели?»

«Не смехи народ, — сказал переводчик. — Какие читатели?»

«Найдутся, не беспокойся. Алё...»

Автомат пожирает монеты.

«Алё, нас прервали. Ты меня слышишь?»

«Слышу... Как тебе сказать. И хочется, и не хочется. Понимаешь, чем стихи серьезней, тем меньше желания их публиковать. Даже если бы это было возможно. Но это все равно невозможно».

«Так вот считай, что возможно».

«Я уже сказал: я не могу позволить себе роскошь играть в эти игры».

«Другие позволяют».

«Кто это, другие?»

«Секрет фирмы. Где встретимся?»

«Я за тобой заеду».

«А они друг о друге знают?»

«Кто — они?»

«Твои жены».

«Ты имеешь в виду литературу или женщин?»

«И то, и другое».

«Жена знает».

«А другая?»

«А другая нет. Для нее я холостяк».

Едва он положил трубку, как аппарат снова задребезжал.

«Да».

Грубый голос спросил:

«Это кто? Это ты?»

«Что вам надо?»

«С тобой будет шеф говорить».

После этого раздалась длинные гудки, переводчик пожал плечами и положил трубку. Переводчик национальных литератур, в восточном халате и феске с кисточкой, сидел в своем кабинете за письменным столом, который можно было сравнить с военным лагерем. Он обозревал свой стол, словно полководец, вышедший на восходе солнца из походной палатки. Папки с поэмами громоздились, как склады провианта; словари рифм были похожи на цейхгаузы; словно сторожевые посты, высились чернильницы декоративного письменного прибора. Рядом с прибором стоял воин в монгольской шапке, с луком и колчаном. Из стакана для карандашей торчало огромное бутафорское перо. Оно могло бы принадлежать легендарной птице Симуург. Звонки повторились.

«Да», — брезгливо сказал переводчик.

Радостно-повелительный голос:

«Здравствуй, кунак!»

«Здравствуйте...»

«Старых друзей не узнаешь? Тебе большой привет».

«От кого?»

«От нашего общего друга. Разве он тебе не говорил? Друзей забывать не надо».

Переводчик вертел в пальцах перо-сувенир.

«Буду иметь в виду»,— сказал он холодно.

После некоторого молчания хан спросил, в трубке слышалось его сопение:

«Ты в курсе?»

«Более или менее...»

«Ну, так за чем дело стало; жду тебя».

«Сейчас?»

«А когда же! Зачем время терять? Приезжай. Гостем дорогим будешь. Земляк за тобой заедет».

Переводчик хотел возразить, но трубка умолкла, а через десять минут с таинственной пунктуальностью позвонили в парадную дверь. На площадке стоял черноусый и огненноглазый вестник, один из тех, кто бесшумно появляется и мгновенно исчезает, чьи имена неизвестны, о ком не следует распространяться, как в пьесе незачем давать характеристику статистам. Переводчик одевался в соседней комнате; гонец ждал в прихожей без всякого выражения на тонком смуглом лице; так могла бы стоять и ждать вешалка.

Одетый по-домашнему в рубаху с расшитым воротом и обширные штаны-галифе, грузный, загорелый, кареглазый, с крепким продубленным лицом и свежесбранным черепом, председатель степного и предгорного края принимал в своем номере на пятнадцатом этаже, откуда открывался вид на пустынное небо. Внизу в кольце туманов лежал великий, все еще прекрасный город. Хан встретил гостя со всевозможным радушием. Последовали расспросы о здоровье, доме, семье, ближних и дальних родственниках. Черноусый телохранитель появлялся и исчезал, подливал в бокалы и накладывал на тарелки.

«Приходи ко мне, ешь, пей. Хочешь жить у меня, пожалста. Отдельный номер тебе сниму для работы, для отдыха, для развлечения. Все пожалста,— говорил хан, обводя широким жестом свои покои.— На родину ко мне приедешь, самым дорогим гостем будешь. Никого бояться не будешь. Твое здоровье».

Движением бровей он отослал слугу. В молчании поднимали кубки, пили, жевали. Хан утирал губы белоснежной салфеткой.

«Хочу говорить с тобой начистоту. И надеюсь услышать от тебя тоже прямой ответ. Ты согласен?»

Гость кивнул.

«Мой дед был великим поэтом. До сих пор его помнят. Кровь есть кровь. И у меня тоже в сердце звучит музыка. И я тоже джигит на крылатом коне. Я хочу слагать поэмы и песни, чтобы их пели и повторяли из рода в род и чтобы все читали мои стихи, по всей нашей великой стране, а не только у меня на родине. Дай Бог нам всем здоровья...»

Он ждал встречного тоста, но переводчик не поднимал глаз от тарелки.

«Я вижу,— сказал хан,— ты человек серьезный, не спешишь с ответом».

«Как с подстрочниками?»— спросил переводчик.

«Чего?»

«Сначала делается подстрочный перевод,— пояснил гость.— Впрочем, неважно».

«Молодец!— воскликнул хан.— Тебе объяснять не надо... Давай, чтобы у нас все было хорошо, чтобы дети росли, чтобы внуки росли... Э-э, нет, так не пойдет, разве так пьют коньяк? Коньяк надо вдыхать, впивать!»

Переводчик пригубил пузатую коротконогую рюмку.

«Вот у меня где подстрочник,— сказал хан степей и положил ладонь себе на грудь.— Вот где золотые россыпи. У меня в сердце поэзия. Закуси сыром. Это из молока джейрана... А теперь запей вот этим».

Переводчик национальных литератур, имевший опыт знакомства с юго-восточным гостеприимством, был вынужден признать, что этот напиток он еще не пробовал.

Хан степей продолжал:

«Я даю тебе полную свободу. Наш общий друг мне о тебе рассказывал. Мне тебя рекомендовали. Босняка с улицы не беру. Мне сказали: хороший человек, неглупый человек, талантливый человек. С именем, со связями».

«Один вопрос», — сказал переводчик.

«Пожалста».

«Вы член Союза?»

«В моей республике есть все. Есть Союз писателей, есть Союз композиторов, Союз фокусников, факиров — все есть. А нет, так будет. Нужно, чтобы я был председателем? Буду председателем».

«Вы хотите сказать: секретарем», — холодно заметил переводчик.

«Вот этим запей», — сказал хан, указывая на короткогорлую пузатую бутылку цвета глины. — Всем рекомендую. Вытяжка из джейраньих яиц. Кто этот бальзам пьет, у того до восьмидесяти лет стоять будет, хо-хо. Ты как насчет прекрасного пола?»

Хан щелкнул пальцами и издал горловой звук, похожий на орлиный клекот. Тотчас из воздуха возник телохранитель, хозяин показал бровями на пустой бокал гостя.

«Друг, — промолвил хан и склонил голову на плечо, — что ты строишь из себя целку? Или как будто к начальству пришел. Давай как близкие люди. Говори мне: ты. Все мои друзья говорят мне «ты»... Ты говоришь, Союз. Что за вопрос? Все есть, а нет, так будет. Я председатель, я секретарь».

Переводчик кивал, отдувался и глядел на хана каким-то страдальческим взором. Наконец, не выдержав и не говоря ни слова, стал выбираться из-за стола. Кареглазый хан следил за ним с выражением, которое представляло собой смесь любопытства и озабоченности. Потом издал короткий птичий звук.

Подскочил телохранитель, повел гостя в мраморный чертог, где переводчик национальной поэзии некоторое время провел в раздумье, тяжело вздыхая и схватившись руками за край умывальника. Из серебряного овала на него смотрел субъект с серым лицом. Вода струилась из крана. Переводчик открыл рот, и судорога сотрясла его тело. Он покрылся потом, пустил воду полной струей, судорога повторилась и еще, и еще. Проклятый бальзам, думал он или, вернее, кто-то думал за него, — джейраньи яйца... Отражение в зеркале следило за ним, а в дверях за его спиной виднелся похожий на уголь телохранитель. Гость перевел дух, криво усмехнулся, но его собственное отражение в зеркале не пожелало последовать его примеру. Он подумал, что не он управляет человеком в зеркале, а тускло-блестящее, с совиным взором отражение, от которого он не мог оторваться, заставляет его повторять свои движения и гримасы. Человек в зеркале, с перекинутым через плечо мохнатым полотенцем хана, намочил конец в струе воды и поднес к лицу. Но вместо того, чтобы утереться, шлепнул полотенцем по стеклу. Еле слышно затворилась дверь в ванную. В зеркале приблизился смуглолицый страж. Переводчик пришел в себя и вышел следом за слугой из ванной. Хан степей сидел на кушетке.

«Что с тобой? — спросил он участливо. — Ты освежился?»

«Да, — сказал гость, — освежился».

«Ты нехорошо себя чувствуешь? Может, тебе доктора вызвать?»

Переводчик поспешил заверить хана, что он чувствует себя превосходно.

«Ты здоров?»

Гость подтвердил, что он в полном порядке.

«В таком случае, — сказал хан, — продолжим... Ты ведешь нездоровый образ жизни, — заметил он, наполняя кубки. — Вы все тут ведете нездоровый образ жизни. Разве так можно жить? Говорят, эти птицы своим дерьмом все отравили. Приезжай ко мне, у нас совсем другой воздух. Кумыс будешь пить. Ванны будешь принимать. Мои врачи тебя поставят на ноги. Выпей-ка лучше... И заешь».

Гость умоляющим жестом прижал руки к груди.

«Почему нет?»

Гость клялся, что он сыт.

«Настроение будет лучше, силы прибавятся», — наставительно сказал хан степей. И пир продолжался.

«Я читал твои переводы. Ты очень хорошо переводишь. Умешь передать национальный колорит, душу национального поэта».

Переводчик взирал на хана размягченно-осоловелым взглядом, скромно разводит руками. Оба уже не сидели, а полулежали друг перед другом. За широким окном сияло серебряно-алое небо. На столе стоял зеленый фарфоровый чайник, похожий на глобус. В молчании прихлебывали чай из широких чаш, волоокий хан утирал бритую голову огромной, как простыня, салфеткой.

Гость пролепетал:

«Извини, Юсуф, у меня вопрос».

«Слушаю тебя».

«Это, конечно, между нами... Половецкий язык... Что это значит? Ведь такого языка даже нет!»

«Как ты сказал?»

«Я не хочу тебя обижать, мне просто любопытно. Ты же знаешь, я не новичок на Востоке... Я понимаю, ну там, князь Игорь, половецкие пляски...»

«По-твоему,— сопя, сказал хан,— князь Игорь — это выдумки?»

«Но такого языка нет».

«Как это нет? Республика есть, а языка нет? Народ есть, а языка нет?»

«Насколько мне известно,— сказал переводчик,— половцы и печенеги — это далекое прошлое. Они давно исчезли. Не обижайся, это я говорю не в упрек».

«Я не обижаюсь,— сопел хан,— я удивляюсь!»

Теперь небеса над городом горели оловянным огнем, как будто угасший день собрал последние силы. В покоях хана стало темнеть, густеть. Из воздуха образовался телохранитель.

«Зажги свет...— сказал шеф.— Что такое?»

Телохранитель ответил вполголоса на непонятном наречии.

«Слышал?— спросил хан.— На каком языке мы, по-твоему, разговариваем? А?.. Скажи, я занят,— отнесся он к телохранителю.— У меня важный разговор. Пусть позвонит завтра».

Слуга возразил что-то.

«Ничего, подождет. Я его тоже ждал! А теперь пускай он ждет. Насчет этого дела скажи: «Шеф будет думать». Скажи: «Шеф занят, у него ответственное совещание...» И еще скажи: «Шеф велел, пускай поцелует меня в зад!» А потом пусть позвонит. Тогда будет видно... Так и скажи». Он сделал движение ладонью, и посланца не стало.

Вспыхнули лимонные светочи на стенах, зажглась и погасла хрустальная люстра под потолком, какие-то огоньки мигали в углах. Телохранитель экспериментировал с освещением.

«Что такое?»— заревел шеф.

Все погасло, над столом и кушеткой мягко сиял оранжевый торшер.

«Значит, так,— промолвил хан степей, удобней устраиваясь на кушетке и сложив пальцы на животе,— ты считаешь, что половецкого национального языка не существует, правильно я тебя понял или я ослышался?»

«Не то чтобы... но, с другой стороны...»

«Значит, я не ослышался».

«То есть я хочу сказать...»

«Все ясно, и можешь не продолжать. Я тебе вот что скажу. А ты слушай и соображай... Наши предки,— он поднял палец,— ты за моей мыслью следишь? Так вот: наши предки все равно что ваши предки. Ваши князья женились на наших дочерях и оставались в степи, и становились кипчаками. А наши ханы брались с вашими и за столом сидели всегда с ними рядом. Наши предки воевали на Калке... Я тебе, между прочим, тему подсказываю, ты наматывай на ус, да? Слушай меня. Я тебе сейчас расскажу, кто я такой...»

Гость изобразил на лице усиленное внимание.

«Зимой всадник, когда застревал в снегах, слезал с коня и резал ему жилу, и пил горячую конскую кровь. А потом перевязывал коня и ехал дальше... Ты следишь за моей мыслью? Так вот эта кровь течет в моих жилах. Кровь степных лошадей, на которых скакали мои предки и, между прочим, твои предки тоже... Ты историю учил? Про князя Святополка слышал? Так вот, чтоб ты

знал, я его прапрапраправнук. Дружба наших народов скреплена кровью в совместной борьбе против татаро-монгольских поработителей. Дмитрий Донской был по крови печенегом».

Речь хана произвела впечатление на обоих. Отхлебнули из пиал. Хан степей насупил уособренные брови.

«Советская власть, запомни это, предоставила половецкому народу неограниченные возможности для культурного развития. Говоришь, языка такого нет... Есть! Все есть. А нет, так будет. Мой дед был сказителем, а где его песни? Ветер разнес по степи. Потому что была поэзия, были люди, а литературы не было. Я буду основоположником половецкой литературы. Твое дело — переводить, печатать...»

Несколько времени спустя в полуосвещенной горнице раздался звук, похожий на завывание ветра. Переводчик вознес из кресла тусклый взор к темному окну, в стекле отражались пиршественный стол и торшер. В дверях стоял безмолвный страж. Повелитель уснул и издавал во сне свист ветра. Переводчик осторожно начал выбираться из удобного кресла, как вдруг оказалось, что хан степей и предгорий следит за ним блестящими ореховыми глазами.

«А теперь,— вскричал хан,— к девушкам!»

Х. Власть — музыка эпохи

Последние века Рима были отмечены опасным расцветом окраин. В природе империй лежит способность пробуждать к жизни сонные провинции. Постепенно и неуклонно покоренные земли, колонии, военно-административные округа начинают осознавать себя как малые нации. Слепые и бескультурные, они всем обязаны римскому миру. Тем сильнее их уверенность в том, что их беды вызваны римским игом. Тем упорнее их желание отпочковаться. Так империя пестует собственную погибель.

Некоторые полагали, что причиной или условием возвышения провинций был упадок центра. Выказывалось мнение, что закат империи — итог планового истребления лучших. Тирания была нацелена против тех, в ком правители видели главную угрозу; первой заботой стал поиск внутреннего врага. Этим врагом были талант и благородство. Для их истребления был учрежден могучий аппарат, укомплектованный худшими, который и погубил в конце концов римскую державу. В живых остались трусливые верноподданные, бездарные и безынициативные, они-то и стали задавать тон. Произошло роковое перерождение нации. Возможно, в этой гипотезе есть резон.

Предлагались другие объяснения, например, ссылались на шаткость валюты и неустойчивый рост цен. Это привело к упадку хозяйства или, напротив, было вызвано им, и деревня восстала против города. Деревня вознамерилась доказать городу, что она может без него обойтись. Деревня бойкотировала город, сократив свое производство, и город стал чахнуть. Пахарям надоело пахать, пастухам наскучило пасти стада. Наконец, некоторые указывают на упадок религии, будто бы повлекший за собою упадок нравов, а другие считают причиной краха растущее безволие императоров, террор генералов, бесчинства банд и набеги варваров.

Чем больше дряхлел Рим, тем грознее становилась его армия. Чем больше крепла его военная мощь, тем быстрее он дряхлел. В этом состояла, возможно, самая поразительная черта эпохи от Диоклетиана до Феодосия. Между тем как внутри все было отмечено разложением, между тем как вельможи становились все расточительней, чиновники — корыстолюбивей, рабы — ленивей, между тем как хирело сельское хозяйство, дорожали продукты, размножались мошенники и дешевели продажные женщины, громоздился мусор в храмах, паутина затягивала алтари, боги отвратили свой лик, и музы состарились, и льстивые песнопения августу и державе стали главным литературным жанром, между тем как копился заряд возмездия, — снаружи империя, под сенью державной волчицы, выглядела неприступной крепостью. Страх, в котором никто не смел открыто признаться, побудил превратить в цитадель и столицу; после многих

лет с трудом была завершена последняя великая стройка. Вечный город окружил себя стенами высотой в двадцать пять футов. Твердыню мира оберегали триста пятьдесят сторожевых башен. Военная машина уже не была наступательной. Государство было похоже на ископаемых чудищ, потерявших способность передвигаться, так как они были слишком большими.

По-прежнему, хотя бессмысленность этого времяпрепровождения была очевидна, лысые и обрюзгшие сенаторы заседали на Капитолии. Сам Бог научил народы склонять голову перед законами Римской империи, вещал Пруденций Клеменс. Ораторы все еще повторяли строки Вергилия о том, что другим народам позволительно развлекаться искусствами, римлянин же обязан помнить: ему надлежит управлять племенами. На самом деле племена уже не считали себя племенами и не верили в то, что первое и последнее слово принадлежит Риму.

На исходе IV века римляне почувствовали принудительность истории. Никто не хотел перемен; ничто так не пугало, как новшества. Не нужно было больше ни побед, ни завоеваний, восторжествовали апатия и фатализм, распространилось желание дожить в покое и холе свой век, а там хоть трава не расти. Сто тридцать два легиона стояли на Западе и Востоке, полтора миллиона солдат несли службу на границах и в диоцезах. Этой рати, превосходившей все, чем когда-либо располагало государство за двенадцать веков, противостояли на рубежах всего десять тысяч плохо вооруженных варваров. Три с половиной тысячи блистающих доспехами воинов охраняли кесаря. Но и в легионах служили выходцы из лесов, вспомогательные войска состояли из одних германцев, дворцовая гвардия была на три четверти укомплектована ратниками, говорившими на исковерканной латыни, и на Палатинском холме восседал император-варвар.

Многие утешались надеждой, что усталая раса освежит себя варварской кровью. В Африке, в Косматой Галии, на Востоке расцвели поздние цветы римской словесности. Сириец Яввлих, испанец Пруденций, африканцы Арнобий и Августин, галлы — безмятежный Авзоний и Намациан, рыдающий у ворот Рима, — вот кому надлежало стать новой надеждой латинского языка. Были ли это худшие времена? Нет, конечно. Просто это были последние времена.

Дивные дела, удивительные зигзаги... Тот, кому приходилось видеть в цирке вальсирующую лошадь, возможно, замечал, что дирижер, стоя на оркестровой площадке, следит не за музыкантами, а за лошадью. Потому что на самом деле не лошадь двигается в такт музыке, а музыка подстраивается под ее пируэты. Литературная карьера половецкого хана могла напомнить эти танцы, сколь ни рискованно такое сопоставление. Меньше всего, однако, составителю этой хроники хотелось бы прослыть за юмориста. Цирк упомянут здесь разве лишь в качестве некоторой наглядной модели.

Введение письменности там, где ее никогда не было, влечет за собой не менее радикальные последствия, чем разрушение природы. Коль скоро есть письменность, должна существовать и словесность. Другими словами, расцвет культуры окраин — что бы под ним ни подразумевалось — поставил вопрос о национальной литературе.

Эту литературу надлежало создать из ничего, то есть из того же материала, из которого была создана национальная история, мифология, национальные шаровары, тюрбаны, ансамбли народной музыки и все остальное. «Все есть, а нет, так будет», — по выражению хана степей. Можно спросить, на кой черт сдалась этим республикам еще и литература, но этот вопрос по меньшей мере неуместен, по существу же оскорбителен. Ибо он подвергает сомнению и достоинство нации, и компетентность начальства. Потому что национальная литература предстает в двух ипостасях: как доказательство первородства и как престижная должность. Любое начальство могло позавидовать ореолу народного стихотворца. Вывод напрашивался сам собой: что мешало совместить обе прерогативы? Председатель Верховного Совета автономной республики естественным образом должен был занять вакантный пост национального поэта.

Вот почему идея, осенившая хана, вовсе не была ни его капризом, ни его изобретением. То, что именуется национальным самосознанием, при ближай-

шем рассмотрении есть не что иное, как самосознание начальства. Хан степей и предгорий по праву понимал свое призвание как обязанность должностного лица и патриотическую миссию правителя. Лавровый веночек поэт должен был увенчать его чело так же естественно, как естественно было видеть хана в национально-административном наряде — тюрбанообразном кепи, синих крылатых штанах и сверкающих сапогах. Лишь безвременная кончина помешала хану осуществить свой проект.

Итак, если вернуться к вопросу о культурном расцвете окраин, насущной необходимостью для всякой национальной вотчины — поскольку сочинение стихов и прозы есть особого рода декоративное занятие — будет завести у себя собственную домотканую словесность. Тут амбиции местной власти шли навстречу пожеланиям центра, ибо что может быть более убедительным доказательством заботы о процветании окраин, о поощрении местных талантов, чем национальная литература. Не отдавая себе отчета, куда это приведет, центр весьма неосторожно подыгрывал окраинам. Вопрос был только в том, откуда взять эту национальную литературу. Создать, как мы сказали, из ничего. То есть как это из ничего? Для этого и существовал испытанный практикой институт перевода. Доказательством того, что национальная литература существует, и делает первые многообещающие шаги, и распускается подобно цветам, и обзаводится новыми жанрами, служит появление ее образцов в переводе на язык метрополии. Если есть перевод, значит, где-то там существует оригинал, если есть перелagатель, значит, есть и поэт. Если лошадь танцует, значит, должна быть и музыка.

Означало ли все это, что хан степей и предгорий лишь выполнял свой начальственно-национальный долг, что пир в номере на пятнадцатом этаже был, так сказать, деловым обедом, и ничего больше? О нет. Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует. *Et ego in Arcadia...*¹ Хан был поэтом. Мы должны это подчеркнуть. Он не лицемерил, показывая на грудь и говоря, что здесь его «подстрочник». Хан был поэтом в душе — за неимением другой возможности реализовать свой дар.

И уж, во всяком случае, сказанное не означает, что он попросту переложил задачу на чужие плечи, причислив мнимого переводчика национальных литератур к многолюдному штату своих придворных и подручных. Думать так было бы все равно что считать, будто весь труд берет на себя лошадь (то есть переводчик), а оркестр только делает вид, что играет. Всякая метафора имеет свои границы. И если во время пира в гостинице переводчик национальных литератур задал вопрос о подстрочнике, то, конечно, не для того, чтобы убедиться (он знал это заранее), что оригинала не существует. Но, следуя испытанному рецепту, он хотел напомнить хану, что необходимо озаботиться «музыкой». Нужно, чтобы на основании его перевода поэту-аборигену состряпали *post factum* некое подобие оригинала на родном языке. Правда, опять-таки спрашивается: на каком языке? Но это дело темное, это Восток; тут все окутано покрывалом неизвестности и тайны.

К нашему краткому отчету о переговорах в гостинице хочется прибавить несколько замечаний общего и, так сказать, теоретического характера. Принято думать, что перевод — это перевод. Считается, что переложение следует оригиналу, как тень шагает за идущим или как зеркало повторяет черты лица. Между тем издавна живущая в человеческой душе вера в то, что отраженный образ не так следует прообразу, как повелевает им, не столь уж абсурдна. Мы помним, что испытал переводчик под действием таинственного питья в мраморной уборной хана, перед зеркалом, отдававшим ему свои немые приказы. Практика перевода есть именно тот случай, когда роли меняются, когда тень ведет за собой хозяина и зеркало рождает образ того, кто на самом деле представляет собой отражение отражения. Еще один миг, один шаг, и стекло отразит пустоту. Логическое завершение переводческого искусства, его триумф и вершина, есть переложение несуществующего оригинала.

¹ И в Аркадии (лат.).

XI. Рубин, или Любознательность

Перед бесконечным, как путь пилигрима, панельным домом, на площадке тринадцатого подъезда, под тусклой лампочкой сидела на табуретке борода в валенках; был поздний вечер.

«Привет...»

«Чего?»

«Привет, говорю, дедушка. Воздухом дышишь?»

«Чего надо?»

«Да так, ничего».

«А ничего, так и ступай своей дорогой».

Это можно было понять как приглашение к разговору. Сумрачно глядя вдаль, старик добавил:

«Это ты, может, воздухом дышишь...»

«А ты?»

«Чего я?»

«А ты что тут делаешь?»

«Я? Сторожу».

«Кого?»

«А вот все это».

«Весь район?»

«А хоть бы и весь район».

«Большой у тебя участок,— сказал Илья.— Сколько ж тебе за это платят?»

«Ничего мне не платят».

«Какого же ты хрена тут торчишь?»

«Какого хрена?— сказали валенки.— А вот такого! Я тебе не ответчик! Сказано: сторожу. Вот заступил на дежурство».

«Задаром?»

«А порядок?— спросил старик, выглядывая из-под бровей, как волк из зарослей.— Кому за порядком следить? Некому! Мало ли кто шатается? Вот как ты. Чего тебе тут надо? В гостях, что ль, был? Ну и вали отсюда, нечего тут околачиваться!»

«Я тебя видел,— сказал Илья Рубин, присаживаясь на ступеньку.— Ты лежал в больнице».

«Будешь мне тут зубы заговаривать. Ты вот лучше предъяви документы».

«Что?»

«Документы, говорю, предъяви».

«Какие документы, дедушка, мы тут все свои».

«Свои... Знаем мы вас. Ночью шлендрать. По бабам, что ль?»

И разговор иссяк.

«А ты, значит, так до утра и сидишь?»

Громадные, расширяющиеся книзу валенки неподвижно стояли друг подле друга, холщовые просторные порты прочно сидели на табуретке. Человек, похожий на памятник, проскрежетал:

«Так и сажу».

Подумав, он добавил:

«А чего? Все одно не сплю».

Черное небо смутно отсвечивало в слюдяных окнах, белело белье на балконах. Теплый, гнилостный ветер шевельнул косматую бороду старца, сонный мир объял бодрствующих. Лиловым светом тлели трубки фонарей, и в вышине между темными облаками проступили созвездия.

«Я, уа-ах...— зевая, говорил старик,— сколько себя помню, никогда не спал... Так, днем подремлешь, уах-ха, и все. Днем все одно делать нечего».

«Не скучно?»

«Мне скучать некогда. Тут всякого отребья, эвон,— он обвел рукой спящую окрестность,— знаешь сколько?»

«Люди работают»,— заметил Илья.

«Работают... Хрен они тебе работают. Работа — это когда польза от работы получается. Для общества польза, ясно? Вот как крестьянин землю пашет».

Небось он не зря пашет. Что-то да вырастет. А энти? Моя бы воля, разогнал всех бы к едрене фене. Не хочешь работать — катись».

«Куда ж ты их денешь?»

«Как куда — в деревню! В колхоз, пушай делом занимаются, крестьянствуют али там ремеслом. Вот, к примеру, возьмем эту табуретку: ведь ее кто-то сделал. Кто-то обтесал, ножки выпилил, склеил. А тут что? А тут ничего, жрут батоны с колбасой — и все. А пользы ни хрена! Я бы энту колбасу по талонам выдавал: заработал — получай талон. А не заработал — катись. Для чего они, по-твоему, в город-то все набежали? Чтобы жрать! В городе сеять не надо, магазины кругом. И курей не надо кормить, они вон все на прилавке лежат».

«Так уж и лежат?»

«Не знаешь, так молчи. Ты думаешь, за что они зарплату получают? За то, что числятся. Все эти конторы только для виду».

«Ну а ты, дедушка?»

«Чего я?»

«Ты ведь тоже для виду сидишь».

«Ах ты, едрена вошь! Еще будет мне указывать! Я сижу не для виду, а для порядка. Чтоб не шлялись тут разные. Предъяви документы».

«Брось, дед! Заладил. Ну нет у меня документов. Потерял. Дома забыл».

«Вот то-то, знаем мы вас. Ночью шлендрать. А зачем портфель таскаешь?»

«Дела, работа».

«Ха! Дела. Какие у тебя дела? Ты небось никогда и не работал. Эвон ряску какую наел».

«А ты, дед, работал?»

«Чего? Я, брат, столько за свою жизнь вкалывал, что тебе и во сне не снилось».

«Из деревни приехал, дедуля?»

«Это ты, может, из деревни, а я коренной, здешний, в Москве родился. Не здесь, конечно, какая это Москва! Это так, ни то ни се, ни город, ни деревня. А все почему? Потому что народу больше, чем надо. Я вот что тебе скажу, — проговорил старик, кряхтя и переминаясь половинками зада на табуретке. — Слишком много у нас народу. Говоришь, скучно тут. Мне скучать некогда! Я думаю. Ночью самое время думать, разбираться, что к чему. Я тебе скажу, в чем корень. Вся беда в том, что слишком у нас большое государство. Оттого и не уследишь за всеми, оттого и порядка нет, дармоедов больше, чем работников. Один с сошкой, а семеро с ложкой. Один везет, семеро погоняют. Земли много, народу невпроворот, а все было мало! Кажному царю было мало, что он имел. Вот он и пер все дальше, вот он и пер. Заместо того чтоб устроиться, свою землю обжить... Все мало. Эва куда залезли... Весь мир хотели завоевать... Ты, прежде чем новые земли завоевывать, на своей земле наведи порядок! Не завоевывай, а оглянись вокруг себя. А он все пер да пер... Набрали всяких чучмеков, а они отродясь не работали... Теперь и вовсе никто работать не хочет. Только жрать... моя бы воля... Э, что говорить! Добро бы еще на Запад наступали, а то все на Восток, к туркам разным, киргизам... Опять же эти птицы... страусы или как их там».

«Страусы не летают», — сказал Илья.

«Чего там говорить! Не в ту степь пошла история».

«Тебе, дедуля, не на дежурстве надо сидеть. Тебе бы лекции надо читать. Народ бы валом валил».

«А чего ж, ты думаешь, я днем делаю? Я днем не сплю, я вобще никогда не сплю. Некогда мне спать. Я свои предложения записываю. У меня по всем вопросам есть предложения. У меня полный сундук записок, я пятьдесят тетрадей исписал и еще на пятьдесят хватит», — сказал старик и, стащив с головы старую зимнюю шапку, стал отряхивать ее о голенища.

Ибо ни с того ни с сего пошел снег.

Ночной сторож сидел на площадке под навесом, но снег валил косым фронтом и в одну минуту засыпал ступени крыльца. Снег покрыл косматую бороду старика, висел на дремучих бровях, снег сыпался из фонарей и плясал в завесах призрачного света.

Таков был неожиданный конец глубокомысленной беседы, таковы капризы нашего взбалмошного климата, и не зря, должно быть, отечественная погода, а точнее, география вкупе с метеорологией вдохновляла умы на историко-софские упражнения. Только было повеяло тепловатой гнильцой, запахом луж и отбросов — и показалось, зимы вовсе не будет. Только было проклюнулась надежда, как в считанные минуты снег завалил округу, сровнял тротуары и мостовые, засыпал помойные контейнеры, снег покрыл крыши, похерил великие стройки, похоронил грандиозные начинания. Значит, все было напрасно? В чем высший закон истории? В чем ее тайный смысл? Есть ли у нее какой-нибудь смысл? Что означает это коловращение веры, надежды и отчаянья, что есть время: стрела или круг, идем ли мы навстречу концу, к великой цели, или кружимся в смене эпох, подобной круговращенью погоды? Русь, дай ответ. Не дает ответа.

Снег валил все гуще, начался настоящий буран, в облаках показалась фигура, закутанная в платок. «Батюшки, да ты совсем окоченел,— сказала она, взбираясь на крыльцо.— Отец! Жив?»

Вдвоем кое-как счистили снег с бороды и телогрейки. Старик был маленького роста и с трудом, поддерживаемый с обеих сторон, переставлял валенки. Табуретку оставили в снегу на крыльце. Старик жил на соседней улице, если можно было считать улицей проезд между двумя домами с их несчетными подъездами. Как он оказался здесь? Пыхтя, ввалились в лифт, грохнула, отозвавшись эхом на всех этажах, железная дверь, кабина, скрипя и раскачиваясь, поехала наверх. Дед закатил глаза и сполз на пол. Выбрались, втащили старца в квартиру, в вонючем тепле коммунального коридора усадили на сундук. Илья Рубин держал деда за плечи, тетка стащила с него огромные сырые валенки; слышно было, как она колотила валенками друг о друга на лестничной площадке.

Ей можно было дать лет сорок девять. Не пятьдесят, потому что круглое число наделяет зловещей необъяснимой властью того, кто его ненароком произнесет; сорок девять — это еще женщина, это еще куда ни шло; стоит, однако, сказать: пятьдесят,— и перед вами сжеванное жизнью существо в темной юбке вокруг высохших бедер, с выбившимися из-под платка бесцветными косами, на которых мерцают капли воды. Но когда она развязала платок, стало казаться, что ей сорок. Над столом горела лампа под матерчатым абажуром, и комната, погруженная в фиолетовый сумрак, была похожа на каюту, и приятно было думать о том, что снаружи беснуется ураган.

У стены на высоких ножках стояла железная кровать с толстым матрасом под белым пикейным покрывалом, с высокими подушками, отчего потолок казался еще ниже. Над кроватью висели фотографии и картинки из журнала «Огонек», из угла слабо отсвечивал темный сургучный лик в жестяном чепчике. Хозяин, полуодетый, в подштанниках лежал на кровати поверх покрывала.

«Чайку горячего выпьешь али как?»

Она натягивала толстые вязаные носки на тощие ступни старика с когтями, похожими на комки затвердевшей смолы. «Ну-ксь...»— проговорила она, приподняла бессильную голову старика и влила в рот рюмку с желтым напитком. Дед чмокнул губами, жидкость потекла мимо рта. Она утерла ему губы и бороду.

«Спи, отдыхай».

«Вы его жена?»

«Жена... Уж не знаю, которая».

На столе стоял чайник с пузатым фаянсовым чайничком для заварки. Она водрузила на него кукольную бабу в платочке и пестрых юбках.

«Гулять повадился. Я и туда, я и сюда. Весь микрорайон обегала, в милицию хотела звонить».

«Сколько ему лет?»

«А Бог его знает».

«Как это?»

«А вот так! Он и сам не помнит. Метрики все во время войны пропали. Нам бы тоже не помешало... не возражаешь? Продрогла я вся.— Она подлила в чай из желтой бутылки себе и гостю, это был напиток, условно именуемый

ромом.— Бог его знает, может, восемьдесят, может, и сто. Я когда замуж за него выходила, уж сколько мы живем, лет десять, так он был все такой же. Ничего, оклемается. Только вот бродить стал. Говорят, плохой признак... Ах, благодать-то какая! А вы кто такой будете?»

Илья пожал плечами.

Старик на кровати отчетливо произнес: «Колбаса».

«Ничего, это он во сне».

Пили чай, согрелись.

«Колбаса!»— строго сказал старик. Она встала и подошла к кровати.

«Тебе чего? Может, тебе чего дать?»— В ответ послышалось невнятное бурчание. Она склонилась над темной кроватью.— Может, тебе попысать надо? Ну, спи... Давай я тебя покрою. Спи».

Дед спросил:

«А я разве не сплю?— Он тяжело вздохнул.— Ладно,— сказал он,— сейчас поедем. Сейчас...»

«Куда это?»

«Сказано тебе: подожди минутку. Посиди, говорю. Чего спешить-то? Небось подождут».

«Да ты куда собрался?»

«В Москву»,— сказал дед.

Она вернулась к столу.

«Ваши часы стоят,— сказал Илья,— не может быть, чтобы было полдесятого».

Хозяйка подтянула гирьки ходиков и дважды прокрутила пальцем минутную стрелку. Отяжелевшее время нуждалось в посторонней помощи. Чай остыл. В комнате, как струйка дыма, витал тихий храп старика. На столе стояли узкие граненые рюмки из толстого стекла. Рубин поблагодарил хозяйку, поднял с пола портфель.

Пока до метро доберешься, заметила она. Он возразил, что попробует найти такси. Какое тут у нас такси, сказала хозяйка. Может, сказал он, по телефону вызвать. Какие у нас тут телефоны; будка есть, да трубку оторвали. Она вздохнула. Давай, что ли, за знакомство. Оба подняли рюмки и чокнулись.

«Утром будешь уходить, смотри, чтоб соседи не услышали, а то еще пойдут разговоры».

«Может, я поеду?»— сказал он на всякий случай.

«Оставайся. Я тебе на полу постелю. Только я тебе сразу скажу...»— проговорила хозяйка, разливая по рюмкам остатки жгучего напитка.

«Это что?»— спросил он.

«Румынский какой-то, говорят. В универсаме брала. Все брали, и я взяла. А чего, пить можно. Вот что.»— Она переставляла рюмки, разглаживала скатерть на столе.— Я тебе сразу скажу, чтоб никаких не было промеж нас недомолвок... Ты парень молодой. Я пьяная. Я тебя оставляю не для того, чтобы с тобой спать. Не такие мои годы, чтобы первому попавшему на шею бросаться».

Рубин разглядывал этикетку.

«Не знаю,— пробормотала она,— все брали, я тоже взяла... Давай уж допьем, что ли! Вот так. Что я сказала, слышал?»

Он пожал плечами.

«Я и ему не позволяю».

Он взглянул на хозяйку.

«Бывает,— сказала она.— Но редко. А раньше, знаешь, какой он был орел? Боюсь я, еще помрет».

Портфель, подумал Рубин. Он вспомнил, что собирался уйти, искать телефонную будку, поднял с пола портфель, стоявший у двери, но все это, как теперь оказалось, ему привиделось во сне, а на самом деле портфель с материалами остался на крыльце. Из метельных облаков вынырнула облепленная снегом фигура, втроем брели мимо нескончаемых подъездов, втащили очоленного деда в лифт. Ему представилось, как визжит лебедка, подрагивают канаты, медленно опускается в пазах противовеса, как, вихляясь, ползет вверх утлая кабина. А портфель остался. И лежит на табуретке в снегу. Немедленно встать

и пойти за портфелем, пока его никто не унес. Если они следили за ним, то, конечно, портфеля уже нет. Он слышит сонный голос женщины: «Тебе чего?» Крадется к двери. «Там... — бормочет она. — Возле кухни...» В коридоре не видно ни зги, он ощупывает стены, натывается на вещи, находит дверь, цепочку и английский замок.

Но, едва только он вышел на лестничную площадку и ступил босыми ногами на ледяной каменный пол, как дверь в квартиру захлопнулась; в ту же минуту Рубин сообразил, какого он свалал дурака. Ведь портфель в комнате. Он сам его поставил рядом с дверью, прислонил к стене. Он ищет выключатель, но электричество не горит на лестнице, кто-то вывернул лампочку или перегорела. Он пытается разглядеть картонку с фамилиями жильцов, чтобы узнать, сколько звонков к старику и хозяйке, но спохватывается, что не знает ее фамилии. Не знает даже, как ее зовут, а между тем вечер, комната в фиолетовом полумраке, абажур, румынский ром сблизил их; интересно, сколько ей лет; «отец» — так она называла деда, может, он на самом деле ее отец; поэтому она и сказала, что она ему не позволяет; так стар, что забыл о том, что она его дочь; как дочери Лота; оттого и часы стоят; она перевела стрелки, утром снова придется переводить; дряхлое время может двигаться лишь с посторонней помощью. Тут он вспомнил, что думал о чем-то важном, но не мог догадаться, о чем; он думал, что если она ему дочь, то не должна быть старой, хоть и казалась усохшей, пока не размотала платок. И, услышав хрипенье, он открыл глаза.

Постепенно в крошечной тьме проступило окно, обозначились вещи. Хозяйка сидела на высокой кровати, спустив босые ноги, за спиной у ней всхлипывал, всхрапывал, причмокивал спящий старик. Она увидела, что гость тоже не спит, и сказала: «Что-то мне на душе нехорошо. Чего-то мы с тобой нехорошего выпили». Он спросил, который час. «Выбросить их давно надо. Сто раз чинила, опять остановились. Ну-кась, давай, Иван Гаврилыч. Вань! А Вань... Милый, давай на бочок. А то совсем задохнешься. Ну, давай, давай». Старик заворчал, громко чмокнул губами, она поворотила его лицом к стене.

«Вот так-то будет получше», — пробормотала она, слезла с кровати и пробралась мимо лежащего на полу Рубина в угол. — Мать святая великая, — громко шептала она, — помоги, Богородица, что делать-то, жизнь-то какая пошла...»

«Чего?» — сказала она в страхе. Сургучный образ в темном углу моргал, мерцал жестью, силится что-то произнести. «Ты чего?..» — спросила она. «Сотвори диавол человека, — проскрежетала Богородица. — А Бог душу воньм вложи. Аще умереть человек, и деть в землю тело, а душа к Богу». «Не пойму, чего говоришь-то», — сказала женщина. «Сотвори... диавол...», — одними губами повторила Богородица. «Да ладно тебе», — сказала женщина. Она снова оказалась между кроватью и лежащим на полу и опустилась на колени. «Подвинься, что ль, — пробормотала она и обернулась к деду. — Вань, а Вань, ты спишь?.. — Ответа не было. Она улеглась на пол спиной к гостю и свернулась калачиком. — Ко мне ближе подвинься... — Ее рука сзади искала Илью, подтягивала ветхое одеяло. — Нет, лучше наоборот. — Оба перевернулись, как по команде. — Ох, тоска-то какая... Не надо было его пить, не надо было пить. Говорила же я тебе!» — Хотя на самом деле она ничего не говорила, сама же его и потчевала. Немного погодя оба, не сговариваясь, поднялись с пола и, одетые, бесшумно покинули квартиру. Серебряное сияние проникало под своды сквозь лестничное окно. И, выглянув из дома, они отпрянули от изумления и восторга, когда увидели над крышами сверкающий лунный диск, снег лежал на ступенях подъезда, покрыл тротуары и проезжую часть, снег мерцал и переливался разноцветными искрами, и вдали, перед фасадами спящих домов, стояли, обнявшись, неподвижные темные пары. Они миновали двух влюбленных, которые не заметили их, но, когда Илья обернулся, он увидел, что мужчина смотрит на него, постукивая пальцем по циферблату. Девушка тщетно старалась дотянуться до его губ. Человек смотрел то на часы у себя на руке, то на Илью. Дорога свернула в другой переулок. Это было как в кино: облитые луной одинаковые белые дома с мертвыми отсвечивающими окнами, с запертыми, заснеженными подъездами тянулись по обе стороны, и на тротуарах стояли пары. И ничего

другого не оставалось, не было другого выхода, как остановиться по их примеру перед подъездом и обнять друг друга, стоя на снегу, потому что у них не было комнаты.

Мы никогда не узнаем, где это происходило и даже когда это происходило, потому что всякое происшествие по законам физики и криминологии может состояться только в одном определенном месте и в определенное время, между тем как Илья Рубин был и там, и не там, и, потеряв из виду приютившую его на ночь хозяйку и даже забыв о ней, забыв о старике, брел со своим портфелем, озираясь, вдоль пустой, блестящей и мерцающей в лунном свете улицы, и происходило если и не совсем в разных местностях, то как бы в разных системах координат. Он прочел надпись, намалеванную краской на бетонном торце: цифры означали дом и корпус, и стояло название улицы, одно для всего квартала; название было древнее, унаследованное от других эпох. Так имена городов и стран хранят отзвуки умерших языков и погребенных цивилизаций.

Еще метров сто, еще один поворот, и он приблизился к знакомому дому, довольно высокому для своих трех этажей, с карнизами и остатками лепных украшений. Ржавые консоли торчали на месте балконов. Парадная дверь была заколочена. Судя по всему, это был последний памятник былых времен, какого-нибудь уездного городка, стертого бульдозерами с лица земли, и даже выцветшие полустертые буквы виднелись на боковой глухой кирпичной стене: «Торговля скобяными товарами». Бог знает, что это были за товары, слово исчезло из языка. В окнах, как в бельмах слепого, блеснул оловянный рассвет.

Дом был обитаем. Рубин зашел сзади с черного хода, поднялся по грязной лестнице на третий этаж. Оттуда надо было пройти коридором и подняться по другой, шаткой и скрипучей лестнице еще выше; дом, следовательно, каким-то странным образом состоял внутри не из трех, а из четырех этажей. Илья Рубин позвонил, как уславливались, три раза; звонок не отзывался; стукнул в дверь три раза. Зашлепали домашние туфли. «Открывай,— сказал он, предполагая, что его ждут.— Это я». Там молчали, но и не уходили. «Ну, не хочешь, твое дело,— сказал Илья,— я только хотел узнать, как ты там». Шаги зашлепали обратно. «Не хочешь, не надо!»— крикнул Илья, сходя по лестнице, но тут заскрежетал ключ в замке, дверь отворилась.

В квартире уже проснулись, пахло едой и помоями, чье-то картофельное лицо выглянуло из каморки в конце коммунального коридора, кто-то плелся, не оборачиваясь, на кухню в майке, серо-зеленых галифе и тапках на босу ногу, мяукал кот, урчала вода в уборной.

«А ты все таскаешься с этим...— промолвил хозяин, косясь на Илюшин портфель, когда они вошли в комнату.— Напрасный труд. Ты же знаешь, что я не играю в эти игры».

«Как знать»,— отвечал Рубин.

«Присаживайся...— В комнате был обычный беспорядок.— Я полагаю, ты не завтракал? Почему ты у нее не остался?»

Рубин смотрел ему вслед. Хозяин вернулся из кухни, неся сковороду с яичницей. Он поставил еду на стол. Рубин потер лоб и спросил, который час. На что хозяин комнаты несколько загадочно отвечал: смотря по каким часам.

«Я думал,— пробормотал гость,— мне все это приснилось...»

«Ешь. Накладывай сам... В известном смысле это так. Но только в известном смысле».

Хозяин был сутулый длинноносый человек в очках. Хозяин встал и подошел к стоявшей на письменном столе машине для сочинения книг: сооружение из неизвестного материала — не то картон, выкрашенный в металлический цвет, не то металл, похожий на картон.

«Существуют разные градации сна,— объяснил он.— Одна из них — действительность».

«Да где ж это видано?— сказал бабий голос за дверью.— Сел и не выходит».

В квартире что-то происходило, кто-то носился по коридору туда-сюда. То и дело спускали воду в уборной. Сапоги несли что-то тяжелое. Очевидно, была

раскрыта дверь на лестницу, оттуда слышались голоса и топот. Доносились реплики: «Разворачивай... Да не туда, левым боком разворачивай... Да не проходит, подай назад... Пройдет, никуда не денется... Кто-то цельное утро дрищет... Подай назад».

Сутулый хозяин вперил взор в равномерно жужжащий и мерцающий нездешним светом аппарат.

«Переселяются. Меняют шило на мыло,— бормотал он, не сводя глаз с экрана.— Доедай, я уже перекусил».

Бабий голос сказал:

«Ишь, чего надумали».

С другого конца коридора кто-то ответил:

«Это он после пьянки».

«Давно ломаю себе голову,— пробормотал гость,— как будет третье лицо единственного числа от глагола «дристать»? Дрищет или дристает?»

«Не знаю».

«Писатель должен знать».

«Дрищет»,— сказал писатель.

«Это что, телевизор?»

«Не совсем».

«А что же это?»

«Компьютер. Появится лет через десять. А может, через сто».

По экрану неслись строчки, вспыхивали и гасли надписи, хозяин брал аккорды на клавиатуре, но, очевидно, не мог совладать со строптивной машиной.

«Что случилось?»— спросил Рубин.

«Ничего не случилось. Это он демонстрирует поток сознания... Долго объяснять, все равно не поймешь. Короче говоря... Весь твой портфель и ты сам в придачу. Все здесь, в этой коробке». Ударил в последний раз, все потухло.

«Ничего себе»,— буркнул Рубин. Он покончил с едой и блаженно развалился на стуле.

Солнце сверкало в стеклах соседних домов, и от ночного снегопада не осталось ни следа.

Писатель смотрел в окно.

«Надо спешить. Все это скоро кончится».

«Что — все?»

Хозяин сделал неопределенно-широкий жест.

«Мы тут ни при чем,— возразил Рубин.— Какое нам до всего этого дело?»

«Вы тоже умрете».

«То, что мы делаем, останется».

«Ты так думаешь?»

«Сделай так, чтобы мы остались в живых,— сказал Рубин.— Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет».

«Что будет... В общем-то ничего не будет. С одной стороны, ничего не изменится. Этот дом как стоял, так и будет стоять. Город как был, так и останется».

«А с другой стороны?»

«Мои дни тоже сочтены,— сказал хозяин, не отвечая на вопрос.— Успеть бы закончить эту работу».

«Откуда ты знаешь?»

«Я тоже — чья-то мысль»,— загадочно ответил хозяин.

«По-моему...— пробормотал Илья Рубин.— Что за черт!»— сказал он и потер лоб. Ему казалось, будто он разговаривает сам с собой.

Писатель улыбнулся.

«А может, это я говорю сам с собой? Видишь ли,— сказал он,— как только мы начинаем беседовать, я сам превращаюсь в действующее лицо. Я уже не автор! Автор — где-то там...»

«Где там?»— спросил Илья, плохо понимая, о чем идет речь.

Какое-то время оба молча прислушивались к голосам в квартире.

«Вот так ты и живешь»,— прошептал гость, и тот, кто находился в комнате, повторил, как эхо:

«Так и живу».

Он снова заговорил:

«У тебя ложное представление. Ты исходишь из презумпции всезнания. То есть ты полагаешь, что автор знает все обо всех, что он всеведущ и всемогущ и, словно Бог, смотрит сверху на этот мир, который он сотворил. Ты веришь в эту игру».

Посетитель заерзал на стуле.

«Может, я пойду?»— сказал он.

«Сиди... По правилам этой игры вы все обо мне ничего не знаете. Шахматные фигуры не догадываются об игроке. Или думают о нем как о Боге, который подарил им ответственность и свободу воли. Им кажется, что они действуют по собственному усмотрению. Шахматные фигуры верят в свободу воли. Вот что тебя сбивает с толку! Как если бы игрок сам стал ходить вместе с тобой по доске».

Рубин сказал надменно:

«В том, что я живу, я не сомневаюсь. Я мыслю, следовательно...»

Хозяин развел руками, возвел очи к потолку.

«Кстати,— заметил посетитель,— из того, что мы тут сидим и разговариваем, и есть что пожрать, и крыша над головой... Из всего этого следует, что ничего не погибло! И Бог не истребил человеков, и потоп не залил землю».

«Зачем же ему заливать землю? Ах, все эти разговоры, рассуждения!— сказал хозяин, морщась и хватаясь за щеку, точно застигнутый невралгией тройничного нерва.— Не в этом дело...»

«А в чем?»

Писатель ходил по комнате, от окна к двери, как заключенный в камере.

«В чем дело? Да в том, что впереди — черная дыра! Все ближе с каждым днем и все быстрее... Каждый вечер одно и то же: вместо того, чтобы лечь и уснуть, наоборот — как будто просыпаешься. Вдруг вспоминаешь... Вдруг как будто протираешь глаза. Днем еще куда ни шло, днем как-то живешь и ни о чем не думаешь. А к вечеру вспоминаешь».

«О чем?»

«О том, что шансов больше не осталось. Черный туннель, и никуда не свернешь. Не знаю,— сказал он,— что бы я делал, если бы не литература. Околел бы, наверное, от тоски и ужаса. Повесился бы, не дожидаясь. Ты еще молод, ты этого не можешь понять».

«Да, но в таком случае...»— проговорил Рубин.

Он взглянул на сочинителя, который яростно протирал очки. Очки были перевязаны ниткой. Сочинитель внушал жалость.

«Вымой стекла под краном. Дай-ка мне».

«Не ходи туда. Начнутся разговоры: кто да что...»

«Они меня не увидят, я из другого времени...»

Он вышел на кухню и вымыл стекла водой под краном.

«Пусть просохнут,— сказал Илья, входя в комнату.— Мне самому рекомендовали. От протирания стекла портятся».

«Ты разве носишь очки?»— моргая, спросил писатель.

«Надо бы, но не ношу».

«Почему?»

Посетитель ухмыльнулся.

«Чтобы нравиться женщинам!»

Он собрался уходить.

«Посиди. Кстати, тебя касается... Не обижайся. Я не могу понять твоей функции. Вот хотя бы это место...— Он вперился в экран.— Кто это говорит? Ты или автор? Кто такой этот автор? Во всяком случае, это не моя речь».

«И не моя».

«В таком случае непонятно, с какой стати ты...»

«Что за чертовщина,— сказал Рубин,— сплошные игры! Сначала игра в писателя и героев. Потом герой является к автору собственной персоной. Ока- зывается, это тоже игра. Когда же мы, наконец, возьмемся за дело всерьез?»

«В самом деле, когда?»— уныло спросил писатель.

«Ну вот что,— сказал Рубин.— Всякому терпению приходит конец. Если уж на то пошло, не ты нас сотворил, а мы тебя. Автор — это всего лишь тот, кого уполномочили его герои. Можем взять и кого-нибудь другого...»

«Ради Бога,— сказал хозяин холодно.— Но что от этого изменится? С ос- тальными еще куда ни шло. Худо-бедно, но они действуют: зарабатывают день- ги, едят, пьют и все прочее. Живут реальными интересами. А ты?»

«Я тоже пью, ем и все прочее».

«Призрачная фигура. Это интервью с магнитофоном мне совсем не нра- вится».

«Что же делать,— сказал Рубин,— если так оно и было?»

Хозяин покачал головой.

«Герой-резонер».

«Уж какой есть».

Писатель приободрился. Он вошел во вкус беседы. Ему хотелось спорить, привести новые аргументы, как вдруг задребезжал телефонный звонок. Оказа- лось, телефон стоит на столе. Илья Рубин снял трубку.

После этого он открыл рот и вперил растерянный взгляд в пространство. Глаза его отыскивали хозяина. Писатель пожал плечами. Голос сказал из трубки:

«Я не могу долго разговаривать, звоню из автомата. Немедленно приезжай домой».

«Домой?»— спросил Рубин.

«Да. Дело в том, что отец не может долго задерживаться в городе. Он вер- нулся... Ты понимаешь, о чем я говорю. Но он вернулся».

«Отец?.. А ты?..»— лепетал Рубин.

Голос Берты Владимировны сказал торопливо:

«Только не в эту конуру. Приезжай на нашу старую квартиру, мы там те- перь снова живем. Ты меня слышишь? Я не могу долго разговаривать».

Рубин держал в руках трубку.

«Прервали... Что это значит?»

Хозяин усмехнулся, пожал плечами.

«Литература,— сказал он.— Dichtung. Сбор компьютера. Не волнуйся, я погашу эту страницу...»

Тут в комнату постучались; не дожидаясь ответа, сосед открыл дверь.

«Можно? А, у тебя гости!»

Тот самый человек в протертых галифе.

«Это что,— проворчал Илья,— это тоже такая игра?»

«А чего,— сказал сосед,— нам как раз четвертого не хватает».

«В чем дело?»— спросил писатель тусклым голосом.

«В чем дело, в чем дело! Только по делу и можно? Ну, раз ты занят...» — сказал сосед обиженно.

«Заходи. Знакомься...»

Сосед протянул Илье каменную ручищу.

«У тебя что, выходной?»— спросил хозяин.

Сосед возразил:

«Сколько можно работать?— Он пояснил, что у него отгул.— Погода уж больно хорошая, может, козла забьем?»

Летописец последних времен, кряхтя и поправляя очки на длинном носу, поднялся из-за стола. Вышли из квартиры, спустились по лестнице. Стоял теп- лый солнечный день.

Позади дома помещался вбитый в землю деревянный стол на одной ноге, за столом в драной телогрейке сидел вчерашний старец.

«Вот,— сказал сосед в галифе,— нашел четвертого».

«Привет, дедуля».

«Не хочу я с ним играть,— проворчал старик, покосившись на Илью.— Пущай супротив тебя садится».

Сосед сел напротив Рубина, сочинитель — напротив деда.

Сосед смешал корявой ладонью костяшки на столе. Каждый придвинул к себе свою долю.

«Ну-с...»— грозно промолвил сосед, заноса над столом костяшку; наступило молчание.

«И-йэх!» Это был дуплет пять-пять.

«Утить-твою...»

«Ить-твою».

«За ногу».

Рубин, крикнув, грохнул об стол: пусто-пусто.

«Убить-твою!...»

Бородатый старик пододвинул пальцем свою костяшку.

«Рыба! И надо же...»

«В рот тебя соленым огурцом!»— вскричал сосед.

Он смешал костяшки. Каждый подгрёб к себе свою долю.

«Язык,— промолвил сочинитель,— каков язык! Йэх!»— костяшкой об стол. Игра продолжалась.

(Окончание следует.)



Дмитрий ПОЛИЩУК

Ц в е т ы п о б е ж а л о с т и

* * *

В угли подуей не спеша,
чтоб раскрылся, окутал
стоянку твою, душа,
зыбкий розовый купол.

Помнишь ли, чрез не могу,
сколько на том берегу
от щедроты разлива
меда текло и пива,
жизни еще заревой?

Выплесни все, что не пил! –
вьется остывший пепел –
ляжешь, а над головой
озеро бьется оземь...

Солнце восходит. Осень.

* * *

А рассвет лишь один.
И в ставнях лет
меж наклонных пластин
слоится свет.

Эта страсть, эта жуть,
порыв, настрой,
прежде чем распахнуть,
до вспышки той...

Сердце не занози,
живи, пока
меж пластин жалюзи
скользит рука.

Примыкают года
плотней, тесней.
Ту весну навсегда
толкни скорей.

* * *

Березовой коры
черные раскрывы,
как рукам вы кривы,
шершавы и мокры!

Как желанны коже –
чувств отъявленный бред! –
на запах – все то же,
глазам – един предмет.

Белая, нагая
жажда каждого дня,
промеж – зга ночная
розгой будит меня.

В год ли приневолишь
хоть кошмары крови?..
Претворенья любви
ждать лет семь... всего лишь.

Романс-баллада

Я люблю тебя, так иди же ко мне.
Осень на дворе, без тебя тоскливо.
Ты так далека, так нетороплива!
Так тихо идешь, как в слезах, как во сне.

Ни шелковых лент, ни кольца с бирюзой,
ни цветка в вине, ни вина из чаши
не взяла с собой, чтоб остаться со мной...
Только голос твой печальней и краше.

«Мой сокол, прощай! Наломали мы дров –
жарко пылают, огня нет без дыму.
Дров наломали, да мало на зиму...
Старуха горда, и обычай суров».

Не видал тебя, кажется, тридцать дней.
Еще три часа я тебя не вижу!
Как тебе сказать: люблю-ненавижу?
Где цепь разорвать? Куда загнать коней?

Осень. Последний лист срывается вниз.
И – на охоту с отставшею свитой –
в лес через поле дорогой забытой,
ельником хлестким, межою разбитой...

Как темен рассвет! Воздух перист и сиз.

Памяти моего ножа

Словно сосредоточенный
на корявой коре
детский ножик, заточенный,
закаленный в костре,

память острая, трезвая,
через горячечный плач
светит радугой лезвия –
самочинный палач.

И цветы побежалости
по ножу – по судьбе,
и в порезах без жалости
реже жалость к себе.

Пыль тропинок златимая,
детства длимого взмах,
радость непостижимая –
стрекоза в небесах,–

все, что было, о чем оно?
Забывай же, мечта,
что в апреле том сломано
в славных пальцах мента.

Пусть не сразу срастается
золотое старье...
Память круче вращается –
рукоять – острие.

Старая песня

Мелкий дождь, как эта смута
на душе... Дела? отлично
от всего. Лети, минута,–
мне с тобою беспривычно
день за днем, как этот мелкий
бесконечный день за днем
шепоток ушной шумелки,
утишаемый дождем.

* * *

И беда твоя, и вина:
очарованный участью дольней,
ты невольно вещей имена
отпускаешь с ладоней.

Что там ни утай,
из распахнутой тары,
как шары, улетают твои
в тартарары товары.

Языком замороженным
еще прошурши:
– Холодное мороженое!
Горячие беляши!

Последняя сказка

Забросил дед в море сетку –
вытащил щуку.
Не лягушку и не креветку –
не спрячешь ее за щеку.

Вся деревня смотрит из окон,
а щука трепещет: – Выпусти!
Повел старик туда-сюда оком,
вымолвил хрипло: – Глупости.

Это присказка. Сказку кто поймет,
кто версты сочтет прогонные?
Ни деревни, ни моря – белый помет
там, где чайки гнездились поганые..

Плач по деревьям

*Мужа твоего убихом, бьяше бо мужь твой
аки волк восхщия и грабя...*

Плачьте по деревьям, по щепке, летящей
славы для вящей, для непреходящей.
По кричащей пламенной воробьиной почте...
Вести зловещей торжество отсрочьте.

Плачу по деревьям, по скошенной чаще.
Плачу не прячась, чтобы плакать слаще,
по цели величайшей, по срезам, что мнози...
Плачу по малой молящей занозе.

Муж, кто дань дважды собирал, не добил, не дограбил,
по хрупким слезам злым жеребцом правил,
плачешь ли по древлянам, птенцам, старцам, женам,
намертво затоптанным, заживо сожженным?

Плачу по деревьям, по малой гордыне...
Мало ей было Мала, немстящей Княгине,
вечно им будет мало! А то ли нам, людям, –
поплачем, забудем да малыми будем.

Плачьте по деревьям...

Переложение псалма

За светом ходил к нечестивым в совет.
Шел грешных путем на мерцающий свет.
С губителями за вином круговым
злобе смеялся да поддакивал им.

Но волю не правил закона уздой,
из вялых перстов обронил золотой.
Неплодна земля, и источник нечист.
С дерева последний отрывается лист.

И ветер все сильнее. Возмется прах.
Уже не успеть ни в мечтах, ни в трудах.
Ко Свету Веков не воскреснуть отнюдь.
Прахом кромешным гибнет грешного путь.

* * *

М. А.

Но – счастлив идущий сквозь,
кому хоть раз довелось
во сне кошмарном не спать,
и хоть полслова сказать
в голос, и явленный стих
увидеть из глаз чужих...
Кому навстречу всегда –
в лоб – роковая звезда.



Рассказы

БЛИЗНЕЦЫ

Н. С. Т.

Лететь было еще далеко. Пересадка в Лондоне. Странно. Вот он летит в Америку к брату, которого не видел десять лет. Десять? Нет, уже одиннадцать. К брату, которого не видел одиннадцать лет.

— Дай Грише уточку, ишь ты, какой жадный! — говорит нянька и вырывает у него ядовито-красную игрушку, купленную на загорском рынке.

Их купают в корыте, поставленном прямо на траву. Слева забор и крапивные заросли. Наверху — слепящее, желтое, неподвижное. Нянька намаывает Гришину голову куском серого хозяйственного мыла. Вода плещет на зеленую траву, крапивные заросли.

Странно. В Америку, к брату, которого не видел одиннадцать лет. А сколько ему было, когда, плаваясь от scarlatinного жара, он глядел в синее небо с оторвавшимся от уплывшего облака пером, пока на этом небе не появилось вдруг Гришино испуганное лицо, и тот прошептал:

«Я к тебе по пожарной залез. Кончай болеть, а?»

Память проводит красную черту, переступить ее не хочется.

«Сегодня не опаздывай.— У матери взволнованное лицо, и непонятно, радуется она или негодует.— Не смей сегодня опаздывать! Гриша придет с невестой».

...За столом, накрытым праздничной скатертью, сидели его родители, Гриша в каком-то ярком галстуке и незнакомая женщина.

Появилось — где? где-то в воздухе — ощущение мягко разглаживаемого черного шелка. Кто-то прямо перед его глазами разглаживал черный шелк, сквозь который смущенно прорывался голос, сразу напросившийся на пошлейшее сравнение с соловьиной трелью... Нет, не трелью, с соловьиной первой пробой, без разливов, без раскатов.

«Господи, как похожи! — сказала она.— Господи, как... Я даже подумала в первую минуту, что это Гриша».

И мать гордо:

«Да я же предупреждала вас: близнецы! Но глаза у них разные. Вы всмотритесь. Видите?»

На ее лицо падал свет, заливал черный шелк гладко причесанной головы, белый шелк лба, и глаза, согласно материнскому предложению, всматривающиеся в его глаза, казались светлее.

Утром он ждал ее у обшарпанной школы, в которой она преподавала литературу в старших классах. По дороге заскочил на вокзал, купил цветов. Ог-

ромную нелепую охапку васильков. Взял все, что было в корзине заспанной бабы, крест-накрест перевязанной платком поверх пестрого платья. Какую ерунду удерживает память! Клетчатый коричневым платком... Он совал ей в руки, занятые школьными тетрадками, рассыпающиеся васильки и ничего не соображал. Черный шелк поблескивал над радостным, пушистым, синим...

Она лепетала, обороняясь от васильков, отступая:

«Что вы? Зачем? Не нужно...»

И, теряя голову, он бормотал в ответ:

«Прошу вас, выходите за меня...»

«Что?» — ахнула она и засмеялась.

«Замуж, прошу вас, замуж за меня, пожалуйста...»

«Замуж? — Она смеялась, ресницы становились мокрыми. — Но ведь Гриша... Ведь вы же знаете, что мы...»

«Я скажу ему, — дотрагиваясь до часов на ее запястье, лепетал он. — Вы только не решайте ничего, я сам скажу, подождите...»

И оставил ее, бросился на стоянку такси, кожей спины чувствуя всю странность своего поведения, но наполняясь при этом безудержным восторгом: «Да, да! Только так!» И Грише, вышедшему к нему в белом халате, удивленному и нахмуренному, выпалил прямо в лицо, побагровевшее, задрожавшее от гнева:

«Прости. Я сам не понимаю, что со мной. Только я ее тебе не уступлю».

Одиннадцать лет прошло. Может, зря он все-таки? В Америку? К брату? ...Стюардесса на спичечных ножках улыбнулась земляничными губами...

Вечером он слонялся около ее дома, краем сознания понимая, что окончивший дежурство Гриша может вот-вот прыгнуть с подножки троллейбуса, увидеть его. И что тогда? Неужели драться? Но не Гриша прыгнул, а она отворила окно, свесилась со второго этажа. Он подкинул ей вверх недолевевшего газетного голубя, поднял руки: «Не бойтесь, поймаю!» И опять почувствовал, как вспыхнувшая кровь восторгом ударила в голову: «Только так! Правильно!» Она засмеялась, черный шелк гладко причесанной головы в шутовском негодовании обхватила руками.

«Что вы здесь делаете?»

«Не бойтесь, прыгайте ко мне!» — повторил он.

И она вдруг и впрямь сделала какое-то летящее движение вниз, прямо в его поднятые руки, но тут же замерла, прошептала:

«Подождите, я сейчас спущусь».

Они гуляли по набережной, и, не слыша собственного голоса, он рассказывал ей обо всем на свете: детстве, родителях, работе, буддизме, которым тогда увлекался... Они стояли прямо над водой, маслянисто-черной, с розовыми перламутровыми разводами на поверхности.

«Пойдемте обратно, — сказала она и вздрогнула. — Пойдемте, холодно».

У подъезда стоял Гриша, заложив руки в карманы брюк. Смотрел, как они приближались.

«Ну, что? — произнес он спокойно. — Поговорили?»

«Просто поговорили, — тихо сказала она. — Ты слышишь?»

«Верю». — Он вдруг снял очки, спрятал их в карман.

Неужели драться? Она подошла к Грише, взяла его под руку.

«Я хочу, — и видно было, как он крепко прижал локтем ее руку, — я хочу, чтобы ты произнесла то, что сказала мне по телефону. Чтобы он услышал от тебя».

«Может быть, не надо? — прошептала она. — Зачем?»

Он резко оторвал затылок от подъездного столбика, к которому прислонялся.

«Я жду».

«Не надо приходить сюда, — выдавила она наконец. — Это так неуместно, странно... Тем более что я скоро буду вашей — как это! — золовкой, да?»

Родители, не переставая, звонили в роддом: что-то там не ладилось. Решался вопрос об операции. Утром заскочил Гриша, осунувшийся, небритый, счастливый. Мать расплакалась: «Слава Богу! Мальчики! Близнецы!»

И опять он сорвался. Плевать! С детьми, без детей, только бы увидеть! Но выждал все-таки. Месяц, чуть меньше. Они жили в маленькой квартирке на Зубовской, снимали у старухи, уехавшей к дочке в Киев. Снег заметал Зубовскую, из булочной в переулке пахло свежемолотым кофе. Она открыла ему, просто-волосая, измученная, в старом халате. В глубине полутемной квартирке посапывало что-то, попискивало. Он положил цветы прямо на пол.

«Как я рада! — сказала она. — Как хорошо, что ты...»

Не помня, не понимая, путаясь освобожденными от очков зрачками в ее черных волосах, вздрагивающих ресницах, дыхании, он обнял ее, прижал к своему заснеженному пальто.

Она высвободилась. Не сразу. Это он и сейчас точно помнит: не сразу. Они стояли в темноте, и он прижимал к своему пальто ее теплую голову.

«Хочешь посмотреть? Я никого еще не приглашала, потому что вирус... Но ничего, пойдём».

Две белые высокие кровати стояли рядом, и в каждой лежало по куколке. Ощущение неловкости и страха, с которым он переступил порог, пропало. Он всмотрелся. Куколки были одинаковыми, с выпуклыми темными веками, похожие на маленьких желтолицых китайцев. Это были ее дети. И они неуловимо походили на Гришу. Но Гриша, это все знали, как две капли воды походил на него. Это были ее дети, похожие на них обоих. Она стояла рядом, в теплой полутьме, блестя глазами. Одной рукой он обнял ее за плечи, продолжая всматриваться. Не глядя, почувствовал, как она мягко, нерешительно улыбнулась.

Вдруг одна из китайских куколок сморщилась, багрово покраснела. Она выскользнула из-под его руки, наклонилась, разведя широкими рукавами халата, засуетилась, защебетала.

«Нет, я так не могу! Ну, я же не могу! Так я не могу!»

Он шел по бульвару, ничего не замечая от продолжающего падать снега и отчетливо видя перед собой, в этом ослепшем от снега дне, только руки ее в широких рукавах старого халата, разведенные над высокими кроватками.

Это были ее дети, похожие на него. На него? Нет, на Гришу. Это были ее дети, похожие на Гришу. Ночью он смотрелся в зеркало, пытаясь представить себя на месте брата. Вот он приходит домой, и все это: маленькие, желтолицые, похожие на китайцев куколки, и она с распущенными шелковыми волосами, с соловьиным горлом, нерешительная, теплая, мягкая, вся до последней капли принадлежит ему.

Под утро он заснул, и маленький Гриша с октябрятским значком на школьной курточке сказал ему:

«Ну не умею! Завяжи, что тебе, трудно!»

«Трудно, — пробормотал он, глядя в пол. — Сам научись».

«Хорошо, — согласился Гриша. — Но сейчас ты все-таки завяжи».

И, наклонившись, он завязал шнурки на Гришиных ботинках. Бантиком, как их учили.

Она не говорила: «Не приходи», — когда он звонил из автомата у метро. Но она ни разу и не пригласила его, это правда. Чаще всего он приносил цветы.

Всегда одинаково, приторно пахнувшие, подмороженные. Потом она сказала: «Не надо, у детей может быть аллергия на запах», — и он стал приносить фрукты. На лотках перед метро закутанные до бровей продавщицы, в заляпанных халатах поверх пальто, приплясывая от холода, продавали хурму, покрытую тонкой ледяной корочкой, мелкие зеленые мандарины с налипшей стружкой. Она мягко улыбалась и удивленно покачивала головой, принимая от него эти колом стоящие пакеты. Иногда ему казалось, что, заскакивая к ней в обеденный перерыв, нагруженный, он словно бы играет в какую-то игру, в которой ему отводится роль Гриши, то есть мужа, а ей — ее собственная роль, только не Гришиной, а его жены. Игра была сладостной, мучительной, от нее можно было сойти с ума, но прерывать ее не было сил. Сколько это тянулось? Месяц, два? Как-то утром Гриша позвонил ему на работу:

«Я загляну к тебе после дежурства, если можно. Ненадолго».

Гришино лицо было абсолютно спокойным.

«Мы собираем документы на выезд. Надеюсь, еще проскочим».

День их отъезда начался с грозы. Улицы стали черными, звенели. Школьницы, сняв босоножки, шлепали по лужам.

Какую ерунду удерживает память!

Вчера на рассвете Марта вдруг сказала ему: «Не могу судить по фотографии. Она интересная, Гришина жена?» «Съезжу посмотрю», — усмехнулся он. Она поправила розовые бигуди на затылке: «Мука мученская — спать на этом!» — и руку с отполированными ногтями положила на его живот. Он привычно напрягся. Рука сделала вялое поглаживающее движение и вернулась на зеленое одеяло.

Конечно, он привык к ней. Без нее было бы еще хуже. Одно поражало: она так любила открытые кофточки, могла часами красить глаза, с удовольствием рассказывала вольные анекдоты в компании, но в отношениях с ним оставалась какой-то ученически-однообразной и бестолковой. Иногда глядя, как она сидит в ресторане Дома композиторов в длинном открытом платье с доходящим до колена разрезом, он с удивлением ловил себя на мысли о том, как невыносимо скучно ему с этой смеющейся, слегка похожей на итальянскую киноактрису женщиной.

Они хлопали друг друга по плечам, непохожими глазами всматривались в почти одинаковые лица. Впрочем, нет: прежнее сходство их лиц заметно уменьшилось. Гришин подбородок округлился седой бородкой, глаз почти не было видно за темными очками. На нем была какая-то мягкая, похожая на байковую, клетчатая курточка.

«Аня хотела поехать со мной, но у Вовки, как назло, высоченная температура. Она осталась. Грипп, наверное, здесь такие поганые гриппы-однодневки, а Димку я тебе привез. Узнаешь?»

Желтолицая куколка вытянулась, побелела и превратилась в коротко стриженного мальчишку с дыркой на джинсах и запахом ментола из жующего рта. Мальчишка небрежно протянул ему руку:

«Хай!»

«По-русски! — свирепо отреагировал Гриша. — Только по-русски! Вот, ты не поверишь, насколько эти подлецы забыли язык! Ору на них, чтобы по-русски разговаривали, не хотят!»

Расползшийся огнями город, пульсирующий лиловым, желтым, огненно-красным, всосал в себя небольшую юркую машину, и она покорно побежала по его хриплым, беспокойным улицам, по его немислимым мостам, вдоль его медленно вечеряющей знаменитой реки, истыканной точками отраженных и действительных огней. Он сидел на переднем сиденье рядом с братом.

«Хочешь? — с акцентом спросил племянник и на ладони протянул ему липкий зеленый квадратик. — Мэнтол!»

Он покачал головой. Гриша, неузнаваемо измененный седой бородкой, раздраженно гудел на светофорах, чертыхался на «пробки» и всем этим, очевидно, пытался притушить неловкость первого момента и слишком оживленную бойкость разговора, который оба вели с какой-то приподнятой механичностью, работая отделившимися от не ясных еще чувств губами. Правда, вначале разговор споткнулся:

«Неужели совсем-совсем прикована?»

«Да, ты знаешь, — отвечая, он вдруг ощутил, что задыхается. — Тут ведь, как объясняют, все сразу: паркинсон и рассеянный склероз...»

«Ну а лекарства мои помогают?»

«Вроде бы да. Мы ведь держим сиделку. Отец не справился бы, это неммыслимо».

«Представляю, — сказал брат медленно. — Мне надо поехать туда. После».

Искоса он взглянул на Гришин профиль с небольшой аккуратной горбинкой, небрежно поднятый воротничок куртки и вдруг почувствовал стыд за свой новый австрийский костюм, черные ботинки, рубашку с галстуком...

Провинциально? Неуместно? Но ведь ничего же у нас, черт возьми, нет! И не зря ли он все-таки в Америку? К брату?

В первый момент показалось, что она не изменилась. Обняла его с родственной непринужденностью, он растерялся, снял очки, как всегда, запутываясь в незабытом, все том же блеске ее зрачков, волос, смущенного голоса. Потом, отстранившись, увидел: изменилась. Лицо как будто ярче. Он вгляделся: краска. Волосы стали короче, тяжело падали на плечи. Она и похорошела, и подурнела одновременно. Новыми были движения. По их нервной уверенности ему показалось, что она что-то скрывает. Что она скрывает?

«Мы так рады, — мягко говорила она, забыв руку на его руке. — Это невероятно, что ты здесь! Просто хочется ущипнуть себя, как во сне, знаешь?»

«Я полагал, что ты хоть на стол накроешь к нашему приезду», — недовольно заметил Гриша, выходя из ванной и причесываясь на ходу.

«Ты не поверишь, но я не успела: все время звонил телефон, проклятье какое-то!»

Голос ее, несмотря на улыбку, был просящим, виноватым. Неужели она всерьез оправдывается?

Брат показывал город. Они бродили по грязным запруженным людьми улицам, и время от времени Гриша говорил: «Смотри!» Он смотрел. Город был ни на что не похож.

Вдруг брат произнес:

«Нью-Йорк успокаивает. Нет, серьезно. Когда мы только приехали, бывало настроение, что хотелось застрелиться. Ни работы, ни языка, ничего, и этот ад вокруг. А месяца через два случайно попали в гости к кому-то на тридцать седьмой этаж. Уж не помню, к кому. Граница Нью-Йорка и Нью-Джерси. Все, как на ладони, все в огнях. Жизнь, независимая от нашей. Миллионы жизней. И стало почему-то легче. Главное — на себе не заклинивать».

Вместо ответа он спросил:

«Неужели было так трудно?»

Вышли на Пятую авеню. Она переливалась, вспыхивала. Гриша поморщился.

«В общем, да. Трудно. Оттуда-то дворцы мерещились. Стоят и нас поджигают. А на деле оказалось, что надо на улице матрасы подбирать. Ехали за свободой, а сами оказались в таком плену обстоятельств, что не приведи Бог! Приходилось все время договариваться с собственным самолюбием, соглашаться, что на непредсказуемый отрезок времени ты нуль, и с нуля начинать...»

Чувствовалось, что к этому он не хочет возвращаться.

«Ну а Аня что?»

«Аня сидела с детьми. Первый год ей было очень одиноко. Тем не менее...— И опять поморщился. Пятая авеню ядовито вспыхивала.— Тем не менее можно было меня меньше дергать. Знаешь: депрессия, депрессия... Все это, конечно, так, но есть периоды, когда ты можешь себе это позволить, а есть периоды, когда не можешь. Моя жена, к сожалению, этого не понимает».

Сквозь сон он услышал, как Гришин голос произнес:

«Можешь ты что-нибудь взять на себя? Что-нибудь наконец? Хоть раз в жизни?»

Ответа не было слышно. Плеснуло где-то серебром в ночи и растаяло. Плеснуло и стиснуло. Опять он почувствовал, что задыхается. Город горел внизу. Небо без единой звезды висело над ним. Никому в этом городе и в этом небе не было до него дела.

Они сидели на лавочке, подставив лица солнцу. От солнца краска на ее щеках казалась слишком отчетливой. Губы без помады мягко говорили:

«Никогда я не жалела, никогда не скучала по Москве. Там осталось что-то невыносимое: быт этот, озлобление, очереди. Но здесь наступило другое...»

Он следил за ее губами.

«Похоже, что я жила в скорлупе. Была какой-то слишком избалованной. Ты понимаешь, избалованность ведь не в том, чтобы кто-то подавал тебе кофе в постель, она в общем требовании к жизни, в требовании, чтобы все было хорошо. Что все *должно* быть хорошо, *должно* быть празднично. И если это нарушалось, наступала какая-то словно бы обида: почему так? Болезни, разрывы, страхи — почему так? Я как-то слишком уж остро надеялась на другое и...»

Чувствовалось, что она хочет выговориться.

«В Москве было напряженно, раздраженно, утомительно, но не было ощущения, что я не справлюсь с жизнью как таковой. Казалось, что я ее улавливаю, понимаю. А здесь у меня словно открылись глаза: я именно не знаю, что делать, как жить... я растерялась в каком-то, ты будешь смеяться, общем смысле. Ты слушаешь меня?»

Что-то накипело у нее внутри, наболело. Это он чувствовал. Но вот понять, что она говорит, вслушаться, ответить не мог. Черный шелк наматывался вокруг горла. Дышать было нечем. Дрожащего соловья хотелось взять в ладони, прижаться к нему лицом.

«Началось с Вены, с ерунды, в общем. Мы жили в гостинице на краю города. По утрам советские эмигранты выглядели, как олимпийская сборная: все в одинаковых шерстяных тренировочных с белыми полосками...»

Он рассмеялся, схватил ее за руку.

«У меня и сейчас такой в чемодане...»

Просияла. Не отвела руки, вернее, не сразу отвела. Движения ее вдруг обрели прежнюю естественность.

«Там, в Вене, была семья: мама, бабушка и дочка. Маму и дочку звали Тина и Дина, а бабушку не знаю как, но мы с Гришей прозвали ее Аргентиной. Тина, Дина, Аргентина. И все три — маленькие, лупоглазенькие, вроде бы совершенно безобидные. Через пару дней прилетел еще один самолет из Москвы, и вечером в кухню, где были мы с Тиной, вошел старичок. Сморщенный, как листик. Сказал, что только что прибыл, едет куда-то, чуть ли не в Австралию, не то к дочке, не то к сыну. И нельзя ли где-нибудь тут выпить чаю, потому что он сутки ничего не ел, австрийских денег у него нет, банки закрыты. И вдруг, не успела я рта раскрыть, эта лупоглазенькая Тина говорит ему: «Могу вам продать два яйца. У вас есть доллары? Два яйца за полтора доллара».

Он засмеялся. Она удивленно приподняла брови.

«Не сердись, — произнес он и, не удержавшись, опять дотронулся до ее руки. — Не сердись. Грустно, конечно».

«Грустно? — усмехнулась она. — Страшно скорбю. И потом...»

Смысл произносимого ускользал, утекал, как вода. Вдруг он опять услышал, наверное, откуда-то из середины:

«...какой уж тут покой, трудно, просто дышать нечем!»

Он кашлянул. Дышать? Да, дышать было нечем.

«Гриша... Голос ее вдруг осекся. — Гриша говорит, что у меня нет стержня. Он говорит, что если у человека есть настоящие моральные ценности, то он никогда не сделает то-то и то-то. И никогда ему в голову не придет это, это и это. И всегда он будет такой и сякой. Не знаю, может, он прав, но уж как-то очень по-своему, стерильно, наперекор жизни...»

«Дети у вас, — хрипло сказал он, — дети у вас замечательные».

«Дети? — эхом откликнулась она. — Да. Но ведь они между двух огней. О, как я тосковала здесь поначалу! Как мне нужны были люди! Все равно какие. Ну, примитивные, ну, простые. Какая разница? А он на все делал круглые глаза: «Тебе не жалко времени?» Или: «Займись делом!» Из себя выходил, когда я говорила по телефону... Но разве проживешь в одиночку? В одиночку мы еще в могиле наложимся!»

Ей хотелось выговориться. Солнце прожигало черный шелк, белое горло.

По утрам он стал убегать из дома. Бродил по городу, слушал его гудки и хрипы. Список вещей, аккуратно составленный Мартой, лежал на дне чемодана. Ничто в прежней жизни не имело смысла. Другой же жизни не было. Казалось, что все сорок три года он был туго-натуго спеленат, и перед ним, спеленатым, пронесли разное, дразнили, заманивали. Было всякое: страх, ночь и музыка, были женщины с разрезами до колен и женщины с любовью и нежностью, были работа и праздность, московский снег и чужая Америка, парализованная мать и брат, изменившийся до неузнаваемости, но впереди всего этого и поверх всего была смерть — за бортом его теряющего силы, упрямого корабля, который все свои сорок три года плыл в одном ожидании, в одной озверевшей надежде на это соловьиное, шелковое, чужое...

...Он представлял, как через две с небольшим недели придется обнять Марту. Видел руки свои, с легким механическим усилием вынимаемые из карманов и вжимающиеся по привычке в узкие Мартины плечи. Лицо к лицу и глаз не спрятать. Закрывать можно. Он закроет глаза, и ее теплые губы измажут помадой его щеки.

С самого начала они дали ему ключ, но обычно он все-таки звонил снизу, чтобы не застать ее врасплох. И сейчас позвонил. Никто не ответил. Открыв дверь своим ключом, он ступил в полутемный коридор. За стеклянной закрытой дверью кухни увидел, как она сидит в качалке, щекой прижавшись к левому плечу и крест-накрест обхватив себя руками, а взъерошенный Гриша стоит над ней и говорит свистящим — громче всякого крика! — голосом:

«Если ты оставляешь за собой право жить так, как считаешь нужным, то чего же ты требуешь от меня? Да провались он пропадом, тот день, когда я...»

Все это было похоже на кадр из фильма. Он прекрасно видел их, освещенных солнцем, жестикулирующих за матовой кухонной дверью, в то время, как они его, застывшего в коридорной полутьме, не видели, не замечали, поглощенные своим гневом, своей не известной ему жизнью.

Она вытянула руки вперед, как слепая, и за краешек свитера осторожно потянула Гришу к себе. Левой ладонью он ударил ее по пальцам.

«Больно! — Она отдернула руку от свитера. — Больно же! Как тебе не стыдно?»

Свистящий голос перекрыл ее ахнувшее робкое «о».

«Да перестань!»

«Что перестать?»

«Все это игра, клубная игра! Ты перед другими можешь выламываться, а меня оставь! Ни одному твоему слову не верю и не поверю никогда! Ты лучше вспомни, сколько на твоей совести?»

«Как у всех... — прошептала она. — Как у всех...»

Он не смел подсматривать. Но куда было уйти? И ему, подсматривающему, становилось ясно многое. Он видел, как ее движения обретали ускользающую фальшивость, напрягались. Она не лгала голосом, робким, прежним, не лгала своей закинутой шелковой головой, она лгала руками, уцепившимися за край Гришиного свитера и тянущими его к себе. Подтянула и лицом уткнулась в свитер. Теперь он видел Гришу в то время, как она, зарывшаяся в свитер, его не видела и не знала, что Гришино лицо над ее головой переживало смертельную усталость, боролось со своими подозрениями, с собственными заострившимися чертами, растопыренной от гнева седой бородкой. Боялось уступить ей, ее шелковому прикосновению, боялось сдать, но не было уверено в своей правоте и, главное, фальшивым рукам ее и шелковому прикосновению верило.

И, беспомощное перед ней, светлело, успокаивалось. Жестом отпускающего грехи, смешным со стороны и невольным картинным, он положил ладони на черноволосую голову. Руки ее скользнули вверх и погладили его плечи на ощупь, ибо сама она не отрывалась от свитера, вжималась в него все глубже, словно бы не хотела участвовать в собственной фальши, словно бы не имела к ней никакого отношения. А Гришины ладони в ответ, сценическим жестом оторвав ее от полосатой шерсти, обратили к себе это прячущееся лицо, на которое у него было многолетнее хозяйское право.

Не выдержав, он кашлянул. Она вскочила, залившись краской. Брат вышел к нему в коридор.

«А, это ты, — сказал он. — Проходи, я заскочил на минутку. — И неожиданно, очевидно, пряча неловкость, взял его двумя пальцами за воротничок. — Здесь, между прочим, рубашки каждый день меняют, учти на будущее».

Он не успел возразить, что у него две одинаковых рубашки, как брат отпустил его воротничок, и дверь захлопнулась.

Она сидела в качалке в прежней позе: поджав ноги и щекой прижимаясь к левому плечу.

«Что у вас произошло?»

«Ничего особенного. Говорим на разных языках, не докричаться. Похоже, что нам все надоело. Дошли до черты, когда все, что у тебя есть, выглядит, как черновик. Хорошо бы переписать его набело, но писать нечем и бумага кончилась».

Она засмеялась фальшивым, не своим смехом.

«С бумагой — дефицит».

Не отдавая себе отчета, он опустился на пол рядом с качалкой, вжался в ее колени.

«Что ты? — вскрикнула она. — Что с тобой?»

«Что, что! — быстро, грубо сказал он. — Не могу без тебя, вот что!»

Он целовал колени под длинной старой бархатной юбкой, и вся его туго спеленатая жизнь, которую столько лет мяли, толкали, дразнили, пачкали теплой помадой, лежала теперь на этих коленях, легкая, освобожденная, вздрагивая от счастья и ничего не требуя.

«Подожди, — услышал он ее голос. — Помнишь, тогда в Москве, ты был так похож на Гришу, а я так любила его, что мне даже казалось иногда, что я люблю и тебя тоже. Делая больно тебе, я боялась сделать больно ему. Мне было страшно оттолкнуть тебя, а теперь...»

Колени ее были прекрасны. Тусклый бархат лежал на них своими желтыми цветами. Он сжимал его руками, чтобы почувствовать наконец там, под бархатом, живую кожу, которая прожигала его ладони, он пытался оторвать от

плетеной кухонной качалки ее поджатые ноги и почти не слышал, как она произнесла:

«Зачем ты приехал? Мне кажется, что, обманывая его, я обманываю и тебя тоже...»

Он рванул на себя качалку, и на секунду она, словно бы вросшая в эти плетеные прутья, приникла к нему, упала в его руки. Но тут же с неожиданной силой откинулась назад, вернув качалку в прежнее положение, и теплыми пальцами оттолкнула его лицо.

«Отпустите меня,— сказала она. Слезы побежали по ее щекам, размазывая краску.— Освободите меня, оставьте... — Она вдруг заплакала громко, навзрыд, и встала с кресла. Он все еще не понимал.— Отпустите меня! — прокричала она сквозь слезы.— Не душите меня, вы оба, я ничего не хочу, слышишь?»

Лицо ее горело. Рывком она распахнула кухонную дверь и вышла.

Ночью он увидел себя глубоким стариком. На нем была старая бархатная куртка в тусклых цветах. Несмотря на сильную духоту, он почему-то не снимал ее, а, напротив, проверял, застегнуты ли все пуговицы. Он знал, что Гриши давно нет, что Гриша, брат, много лет как умер, и отсутствие его наполняло мир какой-то легкой, щемящей тоскливостью. Сам же он находился в странно знакомой комнате, в углу которой топилась кафельная печка, и перед ней сушились высокие материнские ботинки на пуговицах.

Вдруг брат, которого давно не было на свете, быстро вошел в эту комнату. Он был бесплотен и расплывчат. Черты лица его растекались, как акварель по бумаге, но, несмотря на свою очевидную нереальность, брат притворялся, что дышит и существует, как остальные. Притворство было жалким, наивным, и, прикоснувшись к Гришиному плечу, ощутив свою погружаемость в акварельную пустую ладонь, он спросил напрямую:

«Ну, что? Скажи мне: как там?»

Гриша смеялся тонким детским смехом и продолжал притворяться:

«Где там? Ты о чем?»

Вдруг он почувствовал, что Гришина невесомая рука дотрагивается до его руки и тянет ее к себе. Он попытался стряхнуть Гришину руку, освободиться, но расплывающаяся ладонь еще плотнее приникла к его ладони, впиваясь в нее, вращая, и он понял, что освободиться невозможно.

«Отпусти! — крикнул он, задыхаясь.— Отпусти меня!»

«Я тебя не держу,— тоненько смеялся Гриша.— Разве я держу тебя? Ты свободен».

«Мама звонила and said».

«По-русски!»

«All right. И сказала, что будет позже».

«Где она?»

«I don't know».

Ужинали вдвоем, пили коньяк из голубых стаканчиков. У Гриши было старое, измученное лицо. Неужели и у него такое же?

«Завтра купим тебе «видик». Лекарства не забыть бы. Выпишу рецепт, будто это для тебя, а то прицепятся на таможне. Быстро пролетел месяц, и не заметили...»

«Да».

«Говорить не хотелось».

«Если ей станет хуже, позвони, я приеду. Визу дадут быстро. Вообще я так и так приеду, давно пора».

«Я пойду, подышу немного».

«Давай».

Гриша включил телевизор, вытянул ноги в полосатых брюках. Голову положил на диванный валик, закрыл глаза.

Господи, да что же там бурлит в небе? Бурое, черное. Как она взмолилась! «Отпустите меня!» Страшно. Кто мог подумать, что в этом соловьином, шелковом столько наболело? Отпущу, конечно, радость моя. Не во мне дело. Не чем дышать. А Марта спросит: «Скучал?», и губами, испачканными помадой...

В пяти-шести метрах от него прямо под фонарем остановился шоколадный джип. Женщина с черноволосой, гладко причесанной головой поцеловала сидящего за рулем. Он всмотрелся невольно.

«Ну, знаете, это уж просто водевиль какой-то!»

Дурацкие, не идущие к делу слова вырвались сами собой. Смех, необъяснимый, непонятно откуда взявшийся, застрял в горле.

Она целовала сидящего за рулем, гладила чужое лицо, которое он не мог разглядеть. Да и не хотел разглядывать! Судя по наклону черноволосой головы, она говорила что-то, торопясь, нервничая, настаивая, может быть. Похоже, что *он* не отвечал ей, смотрел в сторону. Тогда она обхватила чужие плечи, припала к ним, и руки ее, ярко выхваченные фонарным блеском, задрожали.

Так вот оно что! До чего же просто!

«Черт знает, что это меня все заносит да заносит! Хожу, как идиот, и подсматриваю! Какой же я идиот, какой же я...»

Он чувствовал, что независимо от его воли губы, растягиваясь, как резиновые, бормочут что-то бессмысленное и этим пытаются справиться с неправдоподобно сильным, пропарывающим все нутро стыдом, от которого ему хотелось двигаться, говорить, жестикулировать, смеяться...

«Черт знает, как я... Какой же я идиот, какой же я...»

Повернулся и побежал к дому. Главное было — увидеть Гришу. Сесть рядом с ним, закрыть глаза, голову положить на диванный валик. Странная мысль обожгла его: только Грише он был готов уступить ее. Старому, измученному, родному. Потому что Гриша был частью его самого. До чего же просто...

Третий этаж аэропорта имени Кеннеди был отдан на растерзание Аэрофлота. Полные женщины в блестящих кофтах, усадые, озабоченно стреляющие глазами мужчины, старухи в белых платочках по-деревенски, чемоданы, рюкзаки, громкие тревоги через весь зал по поводу багажа, приветы тете Нюсе — все это сотрясало солидное, ко многому привыкшее здание. Втроем они медленно продвигались сквозь гудящую, горячую толпу. Зрение застилала посторонние детали. Навстречу шел народный артист Ульянов в синем шарфе, плотно обмотанном вокруг шеи, сосредоточенный, невыносимо провинциальный, похожий на Парфена Рогожина, идущего на именины к Настасье Филипповне. Стриженная желтоволосая девица висела на шее кудрявого молодца, мальчика лет шести посадили на обвязанный веревками чемодан перед мужским туалетом — постеречь, наверное...

Они остановились. Тугое прокуренное пространство сдавило горло. Взвели багаж, прикрепили какие-то бирки. Она надписывала, Гриша завязывал узелки. Все, пора. Сердце его остановилось. Он раскинул руки, обнял их обоих. Гришина седая бородака оказалась странно мягкой на ощупь. Как пух. Правой щекой он чувствовал ее стариковское тепло. А слева сдержанно заплакала она, зашептала что-то, чего он не смог разобрать. Прощалась? Просила прощения? Все это было счастьем. Он стоял, крепко прижимая их к себе. Еще минута, еще две. Объявили посадку.

СКОЛЬКО ВОД УТЕКЛО...

Была зеленая трава, вся в ромашках. Над травой лежало синее небо, в котором медленно плыло белое овечье стадо. Июль, жарко. Дети в прилипших трусах до колен с визгом плескались в реке.

Подошли к одному дому, постучались. С мучительной ненавистью залаяла прикованная цепью собака. Вышел столетний дед в рваном тулупе. Мы поздоровались. Дед затряс головой, зашаркал валенками по ступеням. Ничего не понял из нашей бессвязной просьбы. Повернул желтую бороду в сторону ситцевой занавески: «Саша!» Занавеска отогнулась. Над горшком с геранью расцвело румяное женское лицо в пестром платке. «Дочка моя,— хрипнул дед.— С ей говорите...» Дочка закивала ласково, но в избу не пригласила. От жалобного: «Может быть, вы помните старые песни или сказки?» — залилась смехом, открыла неожиданно беззубый рот, завесилась локтем со следом бурого ожога: «Не помню я ничего! Да и отродясь такого не знала». Потом закрыла рот, поправила платок и сказала: «А вы к Прасковье идите. Она вам напоеет. Лучшее никто не знает. Что тебе песни, что тебе частушки... К ей идите». И рукой показала куда. «Через мостик это, а посля тропкой вверх, и у самого лесу... Самый последний домик ее. Не заблудитесь». Пошли, как в сказке. К дальнему лесу, через ленивую реку — в мокрых детских головах, в утиных перьях.

Собаки не было, плетень завалился, крыльцо сгнило. Дом, казалось, наполовину врос в землю и крышу нахлобучил на себя, как шапку, неровно, прячась от чужих глаз. Дверь была не заперта. Мы толкнули ее и вошли.

Она вскочила с лавки, залилась темной краской от корешков седых волос до ключиц, резко торчавших из-под застиранного воротника. Помню ее черные худые руки, вцепившиеся в край передника и начавшие быстро-быстро перебирать его. Мы заговорили нестройно, в два голоса: «Из Москвы, из университета... Записываем песни... Все, что придется, все записываем. Потому что это такая ценность... Это целая наука...» Еще что-то. Кажется, я говорила больше Наташи — огромной, смуглой, страшно красивой. Наташа была из молчаливых, из сдержанных, волооких. А женщина слушала и теребила передник. Потом бросила его и черными худыми руками всплеснула, как крыльями: «Да шо ж вы на пороге-та! Да шо ж я за дура старая! В избу-то не зову! Да каки песни! Я песен-то больше, чем слов, знаю. Все вам спою, все! Идите к свету-то! Посмотреть на вас...»

Два огарочка тлели по сторонам большой иконы над топчаном, покрытым лоскутным одеялом. Пыльные бумажные розы мертво краснели на покосившейся самодельной этажерке. Печь была вся в трещинах, как в шрамах.

Мы остановились посреди комнаты, и хозяйка принялась радостно разглядывать нас выцветшими, заплаканными глазами. Не помню, чтобы она дичилась или смущалась. Помню эту жадную, торопливую радость, с которой она ввела нас в избу, с головы до ног оглядела и словно бы погладила — провела рукой по нашим плечам, не коснувшись. Лицо ее было темным, высоколобым.

...Через сколько лет я затеяла написать о тебе, Прасковья? Двадцать? Нет, даже больше: двадцать три. Сколько вод утекло, сколько жизней...

Она усадила нас на лавку и начала петь. Сначала робко, потом расходясь все больше и больше. «Брат сестру выводит,— заливалась она и смахивала радостные слезы со впалых щек.— Ой, да брат сестру выводит! Под дождик становится! Ты постой, сестрица! Ой, ты постой, родная!» И тут же переходила на плясовую, подбоченивалась. «Как хотела меня мать да за первого отдать! А он, первый, паренек неверный, ой, не отдай меня, мать!» Она пела, не переводя дыхания. Мы перестали записывать. Время сгустилось и замерло. Небо за окном стало лиловым, и грязные, усталые коровы, почти касаясь выменем земли, потянулись вдоль обвалившегося плетня. Она замолчала и робко смотрела на нас, опять вцепившись в край своего передника. «Наскучила дак я вам, дура старая?!» «Что вы! — закричали мы, как всегда, нестройно, в два голоса.— Что вы! Вы такая... Вы так поете... Вы для нас просто находка». Она просияла всем своим высоколобым лицом. «Чем покормить-то вас!.. Хлеба я ишо не ставила... Пусто дак в доме...» И смутилась страшно, даже сгорбилась от стыда. И мы сму-

тились, заторопились уходить. «Мы к вам еще придем, Прасковья Николавна, мы к вам завтра придем, можно?» «Дак что? Чего ж нельзя? Можно, знамо. Я от бубличков напеку, если сахарком разживусь». И долго смотрела нам вслед, стоя на крыльчке своего покосившегося дома.

Наташа шла молча, поводила по сторонам черными зрачками, и на лице ее было привычное выражение флегматического томления. Облако над нашими головами наполнялось медленной розовой кровью заката. «Ты подумай, какая бедность, да? Сахара в доме нет, это ясно,— быстро рассуждала я сама с собой.— Значит, нужно ей завтра принести. Купим в магазине и принесем, как бы невзначай. Да? Но голос отличный, отличный просто! И какая она отзывчивая, да? Ты заметила, как она нам обрадовалась? Завтра купим сахару и отнесем. И все запишем. А то я смотрю, ты перестала писать, ну, и я перестала...» На сердце у меня лежала тяжесть, и я изо всех сил заглушала ее болтовней.

Что-то страшное, страшнее, чем бедность, было в этом доме, где все словно бы корчило от стыда: и печь со шрамами, и этажерка с мертвыми цветами, и женщина, которой было нечем нас угостить.

Наутро мы пришли с двумя пакетами сахара. Никого. Скрип резных ставен. «Прасковья? — прокричала мывшая соседнее крыльцо баба.— Дак она на работе. В пять приходите».

Пришли в пять. Она ждала нас. Стол накрыла пожелтевшей скатертью с алыми петухами, напекла «бубличков», корявых, кисловатых, из грубой серой муки. Чаю не было, но было молоко холодное, из погреба, сильно пахнущее деревом. Мы сели, раскрыли тетрадки. Она подбоченилась. «Вот я что в девках-то пела»,— начала она. Тяжелые шаги застучали по крыльцу. Лицо ее опять залилось темной краской.

Он распахнул дверь и остановился на пороге. Стянул с головы огромную старую кепку и замычал. Трудно было сказать с первого взгляда, сколько ему лет. Двадцать, сорок, сорок пять? Очень маленького роста и весь словно бы переломанный, неправильно сросшийся. Одна рука короче другой, левое плечо выпячено вперед, правое провалено, на спине небольшой, но заметный горб, беззубый рот приоткрыт, подбородок зарос рыжеватой щетиной. Глаза, голубые до белизны, запавшие, с робким выражением смотрели из-под редких бровей. «Сын мой,— почти всхлипнула она, и меня как бритвой полосуло: стыдится.— Борька, сынок мой. Вы извините. Он мешать-то не будет. В уголку посидит. Куда ему деться-то?» Прижимая к себе кепку, он сел в углу и замер. «Не будет мешать-то»,— чуть слышно повторила она, не глядя на нас.

«Пойте, Прасковья Николаевна,— низким голосом сказала Наташа и погладила вышитого на скатерти алого петуха.— Пойте, пожалуйста...»

Она прочистила горло и запела, сначала тихо, потом все громче, ярче. «Вот могилка твоя,— заходила она, раскачиваясь и вытягивая черную руку, словно указывая, где могилка.— Ой, да могилка твоя! Не дождалась меня! Ой, ой, да не дождалась меня!» Мы лихорадочно записывали, хрустели страницами. Опять мягко потемнело за окном. Опять потянулись красные полосы по небу. В середине песни я оглянулась. Маленький, криворукый, с раскрытым ртом, он не спускал с нас глаз и бессмысленно, радостно улыбался, тихо мыча от напряжения.

Поднимаясь в гору, ведущую к школе-интернату, где нас расселили, я сказала Наташе: «Ни к кому, кроме Прасковьи, ходить не хочу. Все равно больше ее никто не знает. Мы за два дня выполняем то, что другие за неделю. Только давай их подкормим, а?»

И мы начали подкармливать. Денег у нас почти не было, кроме того, мы сразу же купили на все деньги финские эластичные купальники, завезенные в сельпо. Розовые розы на черном фоне. Пришлось украдкой вытягивать из общественных запасов. Банка тушенки говяжьей, две банки сгущенки, карамель

из магазина. Она стыдилась, не хотела брать, мы настояли. Потом, через пару дней, пачка макарон, еще сгущенка и соевые батончики из магазина. Потом немного муки, соль, дрожжи.

Господи, как она ждала нас! Все принесенное тут же вываливалось на стол, из печи появлялись ржаные бублички, с огорода зеленый лук, листья вялого салата (в огороде у нее ничего толком не росло, рук не хватало, сил). Мы сидели за столом, накрытым алыми петухами, и она выворачивала перед нами душу.

«Я вам эту песню-то за ночь вспомню,— обещала она и сжимала свои косявые руки, чтобы мы не сомневались.— Вот, как Бог свят, полежу ночку-то и все до словечка вспомню».

Как-то, подходя к дому с задней стороны, мы вдруг услышали ее разговор с соседкой. «Ни минутки у меня теперь нету,— счастливым голосом сказала она, подняв черное лицо над грядкой.— У меня ить девчонки теперь каженный вечер. Уж и хорошие! Уж и ласковые! Пряма как дочки».

Вот ведь что странно, Прасковья... Сколько лет прошло? Двадцать три. А я помню тебя все лучше и лучше. Стало быть, это ты меня, а не я тебя, не оставила.

«Да ить кто нас к себе позовет? — певуче говорила она и подсовывала нам бублики.— Кому нужны-то мы? Борька-то ить у меня... — И замолкала, кивала седой головой в сторону печи, к которой прижималось его маленькое горбатое тело (всегда в одной и той же позе: чуть вытянута мелко дрожащая голова, на коленях старая кепка).— Никому мы и не нужны. Так зимой-то жутко! Наметет снегу, до крыши завалит. Печь-то еле греет. Лежу и думаю себе: пошли мне, Господи, смерти! А Борьку-то на кого девать? Грех мой перед им. За меня он такой родился. Отца-то в армию, война началась, а я беременная. Бабки учили всяко, чтоб выкинуть. Чего ни делала! Аж с крыши прыгала. В бане сидела, так почти што мертвую вынесли. А он никак. Ну, и родила по шестому-то месяцу. Махонький был. Ходить в три годика начал. А тут, глядим, горбик. Да сам слабенкий. Говорить-то почти не говорит. Так, мычит больше. Слова-то его только я и разбираю. Какой из его работник? А ведь двадцать восьмой годок пошел. Спасибо, председатель к лошади пристроил. Молоко с фермы возит. Так он енту-то лошадь свою как уж любит! Парень-то хороший, мухи не обидит. А кому он нужен-то?»

Каждый вечер, распрягая лошадь, он торопился домой. Мы понимали это по тому, как быстро стучали за окном его неловкие шаги, как он вваливался в избу, запыхавшийся, радостно прижимая уже стянутую с головы кепку, кланялся нам, широко улыбаясь беззубым ртом, и тут же ковылял к печке, чтобы остаток вечера просидеть неподвижно, не спуская с нас робких глаз.

Что-то происходило со мною... Чем желаннее были наши приходы в этот нищий дом, чем больше суетилась она, накрывая на стол, чем ниже кланялся он с порога, чем шире улыбался, тем тяжелее было у меня на душе. Когда мы вечером возвращались в интернат, то не хотелось ни шутить, ни смеяться. По жестокости молодости я стала откровенно бояться тяжелого впечатления, которое их жизнь на меня оказывала. Словно бы я не хотела знать, а меня заставляли. Я радовалась, что после практики поеду сначала на дачу (а там весело, вечером волейбол, утром озеро, велосипеды, пинг-понг, мусс из садовой малины), потом в Пярну (холодное сиреневое море, чудесные маленькие магазинчики, мотки пестрой шерсти, французские фильмы, новые знакомства, сбитые сливки), я радовалась всему, что составляло тогда, в мои неполные восемнадцать лет, невесомое, торопливое существование полудетства, и всеми силами отталкивала от себя настоящую, неизвестную мне жизнь.

Мы сидели за столом, и она рассказывала, сжимая на груди черные руки и изредка смахивая слезы со впалых щек: «А жена-та ево, ну, эта Дунька-то, я о ней рассказывала, она ишо до свадьбы с Гришкой гуляла, так как ево принесли с реки-то мертвого, дак она как забилася, аж посинела вся, аж ребят своих узнавать перестала. Уж ее потом ко всем докторам таскали, чево ни делали, дак ничего не помогло, так и пропала баба, извелася. А я вам ишо про меньшого брательника не сказала. Мамка дак ево больше всех любила. Кудрявый такой парнишечка был, что овечка. Так пошел на лесопилку работать, а уж годков пятнадцать было, и попал под самую под пилу. Ногу-то под корень и отрезало. Что крови было! Думали, помрет. А он выжил, только без ноги-то какой работник? Начал попивать. Малец молодой, а кажанный вечер пьяный, без памяти. Ну, и замерз зимой. Мамка дак криком кричала, када ево привезли-то, мертвого, в саночках. Белый весь, и волосики белые, снег так и хрупают на волосиках-то. А старшой сам удавился. Мрачный такой был, слова ни с кем не говорил. Чтой-то ево, видать, изводило крепко. Ну, и как начали все у колхозников отбирать, дак он это... Пошел в лес, в осинник-то, и удавился».

Легкая луна, смеясь, летела по небу. На мосту кто-то играл на гармошке и громко пела женщина, светлое платье которой сливалось с густым туманом, окутавшим луг и реку. Мы медленно шли домой. «Ты знаешь, что он за нами идет?» — шепотом спросила я. «Знаю,— ответила Наташа.— Он и вчера за нами шел. И позавчера. Он, наверное, в нас влюбился. В тебя, я думаю». «Почему в меня?» «Не знаю. Так мне кажется». «Не важно,— сказала я дрожащими губами.— Не это важно. Но я туда больше не пойду». Наташа блеснула глазами в темноте. «Боишься?» «Да,— прошептала я.— Да, боюсь». Мы дошли до моста. На той стороне реки сиял всеми раскрытыми окнами наш интернат. Шаги за спиной затихли. Я оглянулась. Почти размытый молочным туманом, он стоял и смотрел нам вслед.

Почему я так боялась его? Он был безобидней ребенка... Или это облик его так мешал? Рыжая щетина, горб, открытый беззубый рот, вечное мычание? Главное — он был не один. За его спиной, невидимые, стояли все эти лишившиеся рассудка Дуньки, братья, попавшие под пилу, удавившиеся на осине, мужья, не вернувшиеся с войны, «матка», к которой подвезли меньшого, мертвого, в саночках...

Ночью я не могла заснуть. Вставала с кровати, выходила в интернатскую кухню, пила холодную воду из кадки, ела ржаной хлеб с солью. Одна мысль особенно не давала покоя: «А если он тоже что-нибудь сделает с собой после нашего отъезда?» Мысль была нелепой, но в моем детском сознании она почему-то прижилась и подкрепленная животным страхом укрепилась. Утром я разбудила Наташу и сказала ей: «Все. Больше я туда не пойду. Я не могу всего этого видеть». Черные диски Наташиных глаз брызнули удивлением: «Как? Совсем не пойдешь?» «Совсем,— сказала я, и сердце внутри вдруг запылало, словно на него поставили горчичник,— совсем, совсем».

Прошло несколько дней. Мы уходили сразу после завтрака, чтобы случайно не попасться ей на глаза. Шли через полные ромашек луга, по диким травам, по пересохшим тропинкам. Никто не пел так, как она. Никто не стелил нам скатерть с алыми петухами, никому мы не были нужны. В пять часов вечера я чувствовала, что вот-вот заплачу. Мне, наверное, передавалось ее ожидание, ее недоумение. Я видела, как она сидит на крылечке, высматривая нас, как вытаскивает из печи свои кислые «бублички», растерянно разглаживает праздничную скатерть, а нас все нет и нет... Потом я представляла, как топают по ступенькам его грубые сапоги, как он появляется на пороге, сдергивая с головы огромную кепку, ищет нас, ищет...

Не пришли, бросили.

В субботу мы давали в местном клубе прощальный концерт. Явилась вся деревня. Было жарко, пахло табаком и духами. Зрители сидели праздничные, в чистых рубашках, в розовых блузках. Белоголовые дети, как яблоки, висели на деревьях, заглядывали в окна. После концерта начались танцы. Я боялась, что кто-то из них придет, хотя умом понимала, что вряд ли они и узнают про праздник. Кто им скажет? Да и зачем? Дом на отшибе, парень инвалид, она старуха. «Да ить кому мы нужны? Кто нас позовет?» — ныло у меня в душе.

А утром за день до отъезда, с вафельным полотенцем на плече, еще до конца не проснувшись, я вышла в коридор нашего интерната умыться. За спиной грохнула дверь, и, оглянувшись, я увидела его. Почему-то он был без кепки, но в белой рубашке и в стареньком, перекрученном галстуке. Я похолодела и сразу же кинулась обратно в комнату, где медленно просыпались мои подружки и, сидя перед маленьким настольным зеркальцем, расчесывала льняные длинные волосы Лидия Андреевна, преподавательница с кафедры фольклора, бывшая с нами на практике. Не чувствуя ног, вдруг ставших ватными, я пошла через всю комнату прямо к окну, оглянулась. В раскрытой двери стоял он, шуря глаза от яркого солнечного света, и пытался что-то спросить. Я вскочила на подоконник и выпрыгнула. Упала от резкого толчка, хотя высота была пустяковой, и тут же бросилась бежать. Я бежала не к реке, разделявшей нас с деревней, а в противоположную сторону, туда, где синел лес и пахло прохладой. Добежав до леса, остановилась. Здесь он меня не догонит. Мне был виден интернат, наше крыльцо, тропинка, ведущая к мостику. Не знаю, сколько времени прошло. Из интерната вышел светлородый Коля, мой друг и поэт, а за ним показалась знакомая горбатая фигура в праздничной белой рубашке. Они стояли друг против друга, и Коля, судя по наклону головы и выразительным движениям больших рук, уговаривал его идти домой. Он сжимался прямо на глазах, становился все меньше, а горб все больше, острее, потом оглянулся пару раз на дверь и заковылял к реке. Сначала он страшно торопился, потом пошел медленнее, словно раздумывая, не вернуться ли. У моста остановился, обернулся и долго стоял, свесив кривые руки вдоль туловища и, как всегда, немного раскачиваясь.

В интернате царило веселье. «Ну, ты и выбрала себе кавалера! — заливались наши. — А прыгать-то зачем? Разлюбила и разлюбила, сердцу не прикажешь... Лидия Андреевна, да расскажите же вы ей, как это все было!..»

«Ты, как известно, выпрыгнула с двенадцатого этажа и убежала, — улыбаясь, начала Лидия Андреевна. — А поклонник остался. Он так растерялся, что поначалу, мне кажется, ничего и не понял: где он, что? Тут девочки закричали, потому что были не одеты. Он испугался и попятился. Тогда я решила спасти положение и спрашиваю: «Молодой человек, вы к кому?» А он мычит что-то вроде «я извиняюсь», но ничего толком произнести не может и все пятится. Тут уж, спасибо ему, Колюшка вошел, за ним Славик, и они его проводили. Вот до чего доводят быстрые непродуманные увлечения!»

На следующее утро мы уезжали. Автобус был, кажется, часов в десять. В середине ночи я встала с кровати, пошла на кухню, взяла большой мешок и сложила в него все оставшиеся продукты. Потом быстро написала на вырванном из тетрадки листочке: «Дорогая Прасковья Николаевна! Простите, что уезжаем, не попрощавшись. Спасибо вам за все. Мы вас никогда не забудем». И подписалась за себя и за спящую Наташу. Натянула в темноте платье и тронула Наташу за плечо: «Вставай!» «Ты с ума сошла, да?» — спокойно спросила она, сразу проснувшись. «Наталья, — зашептала я, — нельзя так уехать. Нельзя, и все. Мы себе этого в жизни не простим. Пойдем положим все это на крыльцо. — Я кивнула на мешок. — И записку...» «Да они читать не умеют, — сказала Наташа, нахмурившись. — Зачем записку?» «Кто-нибудь прочтет, — прошептала я. — Пойдем, прошу тебя, а то они проснутся».

Дальше я почему-то помню все в мельчайших подробностях. Наташа встает и споласкивает заспанное смуглое лицо под умывальником. Полотенца под рукой нет, и она вытирает лицо сгибом голый полной руки. Мы бесшумно выходим на улицу. Перед нами лежит тихая-тихая, темная деревня. От реки поднимается белый пар. С неба смотрит прозрачная луна со скорбно сведенными припухшими бровями.

Вот и ее дом, последний, у самого леса. Я бесшумно поднялась по прогнившим ступенькам, чтобы положить мешок на пороге, и тут же услышала, как за дверью простонал ее робкий голос: «Господи!» Потом наступила полная тишина. И опять: «Господи! Прости и помилуй!» Она всхлинула, и все затихло. Я положила мешок и сверху записку. Наташа смотрела на меня блестящими в темноте глазами. «Пойдем,— чуть слышно сказала она.— А то мы их разбудим».

Утром хлынул дождь. Мы погрузили вещи в автобус, и заливаемые холодным дождем последний раз пробежали перед моими глазами низкие избы со слепыми окошками, ставшая серой река, бревенчатый мост, мальчишки с удочками...

Сколько вод утекло... Сколько жизней...

ЖЕНЩИНА, СНЕГ И РЕБЕНОК

Снег шел — сплошной, обезумевший. Сыпал и сыпал. Ни земли, ни неба, ни птиц, ни собак. Одни сугробы и белые шарообразные люди, дополненные сбоку белыми же шарами узлов и сумок. Плелись и скользили. Многие падали. Шары сумок и узлов рассыпались на составные части: катились оранжевыми апельсинами, красными яблоками, лохматой капустой. Их сразу же засыпало.

В приемной роддома пришлось долго ждать. Мокрая от растаявшего снега женщина в перекрученных чулках и резиновых сапогах просила гардеробщицу:

— Я работать буду хорошо, стараться буду. Взяли бы только, а то совсем не проживу...

— Вы, алкаши, на рюмку себе всегда заработаете! — угрюмо, ржавым басом резала гардеробщица и изо всех сил презирала эту мокрую в перекрученных чулках.— Где тебе работать, ты за себя не отвечаешь! А ну, дыхни! — И приближала, презирая, бугристое лицо к мокрому лицу просительницы.— Разит ведь, как из пивной бочки!

— Да я это только утром пива выпила,— дрожала та.— Я ведь это только пива стаканчик с мужиком за компанию, а так ничего...

— Иди отсюда! — торжествовала гардеробщица и сдергивала с вешалки чье-то пальто.— Иди себе, откудава пришла! Какая тебе работа!

В углу на скамейке трясся вихрастый парень — небритый, в куцей летней курточке. Над ним стояла до смерти уставшая врачиха с черным пушком над верхней губой и равнодушно уговаривала:

— Мы ведь тебе жену спасли. А то могло всякое получиться: ни жены, ни ребенка. Осложнение такое, что не все справляются. А твоя сейчас выйдет.

— У-у-у,— трясся парень, вытирая рукавом курточки небритые щеки.— У-у-у!

— Ей-то сейчас потяжелее, чем тебе,— устало продолжала врачиха.— Ее резали, не тебя, у нее грудница. Подумай-ка головой и прекрати свою истерику, что ты... не баба старая...

И тут я увидела, как Рита идет по лестнице с голубым свертком на руках. Рядом с ней, поддерживая ее под руку, шла медсестра и что-то объясняла. Я

смотрела, как она спускается — неторопливо, сдержанно, крепко прижимая к себе этот сверток, и мне было не по себе. Подойдя, она спокойно сказала:

— Поехали.

Пока она одевалась, я поймала такси, издалека похожее на белое горбатое животное с горящим глазом во лбу, и мы вышли на улицу.

— На Фрунзенскую, — сказала Рита, откинувшись на сиденье и закрыв глаза. — На Вторую Фрунзенскую.

— Зачем? — обомлела я. — При чем тут Фрунзенская? Мы разве не к тебе едем?

— Нет, — ответила она, не открывая глаз. — Не ко мне.

— А куда? — прошептала я, ужасаясь на это чужое, бескровное, постаревшее лицо с закрытыми глазами.

— Не важно, — раздельно произнесла она. — Сейчас увидишь.

Мы медленно плыли в слепом месиве, полном дрожащих зажженных фар, и шофер привычно закурил сигарету, наполнив все пробензиненное пространство машины едким дымом, и тогда я, не Рита, попросила его перестать, потому что на заднем сиденье младенец.

— Мальчик? — добродушно дернулся шофер и погасил сигарету. — Младенец-то мальчик?

— Девочка, — ответила я, — недели нет.

Затормозили у магазина «Свет». По-прежнему не произнося ни слова, Рита быстро вошла в подъезд. Дом оказался хорошим, «генеральским», двери обиты кожей. В одну из таких дверей она позвонила.

У мужчины, открывшего нам, была мощная седая шевелюра при молодом загорелом лице. Загар удивил меня: ведь снег кругом, пурга, ад кромешный, ни капли, ни крупички солнца.

— Вот, — хрипло сказала Рита и протянула холодный голубой сверток. — Вот, это тебе.

Он отступил во тьму золотистого, с большим пыльным зеркалом коридора.

— Это тебе, — настойчиво повторила она и шагнула к нему.

Он вытянул ладонь, отстраняя ее.

— Значит, ты все-таки... — сказал он низким, тяжелым голосом. — Ты оставила... Да?

Она вдруг положила сверток на пол, на порог разделявшей их двери, а сама осталась на коврике, на взъерошенном, цвета старой крови половичке. Для того чтобы захлопнуть дверь, ему пришлось бы наклониться и подтолкнуть скользкое голубое на нашу сторону или отодвинуть его ногой. Рита неторопливо сняла колючие мокрые варежки и сунула их в карман.

— Что ты собираешься делать? — сдавленно хрипнул он. — Я же говорил тебе...

— Я уйду, — прошептала она. — Мне наплевать. Делай, что хочешь. Я сейчас уйду.

Вдруг из голубого шелкового нутра послышалось слабое кряхтенье. Существо, лежащее на пороге, зашевелилось, и тут же его режущий крик наполнил тишину лестницы.

— Уходи, — повторил седой. — Я же тебя просил, я предупреждал тебя.

Рита сделала движение, чтобы повернуться и уйти, и тогда он через порог схватил ее за плечо. Шелковое голубое захлебывалось под ногами.

— Отстань! — Рита отодрала его руку, и глаза ее, серые, прозрачные, стали узкими одичавшими огнями. — Не заставишь!

— А! А! А! — мучаясь, надрывался голубой сверток и слабо шевелился. — А! А! А!

— Так ты не уйдешь! — перекрывая и боясь наступить на живое, он опять схватил ее за рукав. — Только вместе с этим!

— А хочешь, я сейчас, на твоих глазах, брошу это с седьмого этажа? Хочешь? А ты будешь свидетелем?

— Сумасшедшая!— прорычал он.— Всегда была. Больная. Сумасшедшая! Уходи отсюда, убирайся!

— Ни за что!— ахнула она.— Вот уж этого не будет! Сейчас ты станешь свидетелем...

— Свидетелем чего?— Под седыми кудрями выступил пот.

— Оперы «Фауст»!— вдруг пронзительно выкрикнула Рита.— Нет! Не оперы! Балета! В одном акте!

Схватила скользкое и, держа его на вытянутых руках, свесилась в лестничный проем. Меня затошнило от ужаса, ноги приросли к полу. Седой зажмурился, и тут за его спиной выросла худая старуха с таким же странно загорелым лицом, в вылинявшем байковом халате.

Она подбежала к Рите, вырвала у нее голубой сверток, положила его на верхнюю ступеньку и, размахнувшись, изо всех сил ударила Риту по лицу. Та прислонилась к стене и закрыла глаза.

— Уходи!— приказала старуха.— Забирай ребенка и быстро уходи.— Она сжала губы, перевела дыхание.— Хватит.— Странная тоска проступила на ее коричневом лице.— Не получится. Я сейчас тебя спасла. Что еще? Ты бы в сумасшедший дом попала. Мой здесь ни при чем. Даже если это его. Вы не жены. У него таких, как ты... Уходи.— Скосила тоскливые глаза в мою сторону.— Уведи ее. И забудьте сюда дорогу.

Она, как цапля, переступила через верхнюю ступеньку босыми ногами со вздувшимися венами. Дверь захлопнулась. Рита все еще стояла, прислонившись к стене. Я подняла с пола голубой сверток и поразились его легкости — словно бы внутри ничего не было. Рита бегло взглянула на меня и двинулась к лифту.

— Стой!— рванулась я.— Ты куда?

— Туда,— ответила она.

Расстегнула пальто, и я увидела два расплывшихся по кофте темных пятна.

— Молоко пришло,— нахмурилась она.— Перевяжу — и сгорит. Мне объяснили.

Большим пальцем правой руки она дотронулась до кнопки лифта.

— Перестань!— взмолилась я и протянула ей голубое. Она отрицательно замотала головой.

— А знаешь,— распухшие губы ее скривились, словно она сдерживала улыбку,— знаешь, что мне еще говорили? Недалеко от «Преображенской» есть лесок...— Пятна на кофте увеличивались. — Там есть такой лесок...— Левую свободную ладонь она положила на грудь.— Там есть такой лесок, мне говорили, где часто находят детей... Когда сходит снег, под сугробами.

Она замолчала. Все мое лицо стянуло ледяными иголками.

— Там их много. И неродившиеся, и такие,— кивнула на невесомое, неподвижное в моих руках.— Даже такие, много.

«Она сошла с ума,— ухнуло во мне.— Сумасшедшая!»

— Я не сумасшедшая,— скороговоркой сказала Рита.— Я не сумасшедшая. А просто так надо. Оставлю здесь. И никто ничего не узнает. Ты ничего не видела. Положи — и пойдем.

Неожиданно для себя я произнесла, подчиняясь отделившимся от моего стянутого лица ледяным губам:

— Только после того, как ты ее покормишь. Иначе ни за что. Покорми!

И опять протянула ей скользкое одеяло. Она покорно обхватила его обеими руками, опустилась на пол. Расстегнула кофту и высвободила залитую молоком огромную грудь. Из шелковой темноты вылупилась продолговатая головка с большими глазами.

Потом раздалось монотонное почмокивание, влажный, урчащий звук, уходящий куда-то глубоко в Ритино дыхание, в теплое бормотание батареи. Снизу, потрескивая, поднимался лифт, и я испугалась, что сейчас он остановится именно на нашем этаже и кто-то незнакомый увидит все это: женщину с желтыми пятнами недавней беременности на лице, грудью кормящую ребенка перед запертой дверью чужой квартиры...

Ее лицо, склоненное над младенцем, постепенно менялось: из бескровного, безразличного оно стало испуганным и почти умоляющим.

— Смотри, какая,— задрожав, зашептала она, но не мне, а куда-то в пространство, в мертвое белое безумие за окном.— Смотри!

Ребенок продолжал ровно сосать, большими глазами с выпуклыми дольками век и редкими загнутыми ресницами сосредоточенно глядя перед собой. Рита закачалась из стороны в сторону и повторила:

— Смотри какая!

Тут на нашем этаже действительно остановился лифт и вышли двое: забеленная старуха, по виду домработница, вся в пакетах и авоськах, и совсем молоденькая девушка, нашего с Ритой возраста, в модных по тем временам лаковых сапогах и пестрой шапочке «буратино». Обе они оторопели от неожиданности, увидав нас. Домработница первая справилась с оторопью и деловито прошмыгнула мимо с тем видом раздраженной отстраненности, которая бывает у простых людей, когда они хотят обругать кого-то и сдерживаются из соображений личной безопасности. Она по-мышинному зашуршала пакетами, звякнула ключами и, наконец, скрылась за дверью, украшенной белой дощечкой со словом «А. Н. Пылько». А шапочка «буратино» застыла и, видимо, не знала, на что решиться. Наконец, скрипнув лаковыми копытцами, быстро подошла к той самой стеганой поверхности, за которой прятался отец Ритино ребенка, и позвонила.

Никто не открыл ей. Буратино оскорбленно вспыхнула и позвонила еще раз — громче и напористей.

«Открой! Открой! Открой!»— переливалось в тишине.

Ребенок перестал сосать и сразу же заснул. Рита заботливо уложила пустую грудь в липкий лифчик, запахла кофту. Щеки ее порозовели, глаза стали серыми и прозрачными.

— Вы к кому, девушка?— передавая мне ребенка, чтобы застегнуться, ласково спросила она. Шапочка растерялась.— К Лева, наверное?— тем же спокойным ласковым голосом, хорошея, продолжала Рита.— К Лева, да? А вы разве не знаете, что он умер?

Шапочка вскрикнула и прижала к раскрывшемуся, густо накрашенному рту маленькую ладонь.

— Когда?— ахнула она.— Как?

— Умер,— медленно, задумчиво, словно смакуя это слово, произнесла Рита.— Умер, бедный. Шесть дней тому назад. Ночью. В два часа тридцать минут по московскому времени. Родами. Ничего не смогли поделать. Сегодня мы его хоронили.

Шапочка побелела, с ужасом обернулась на меня и бросилась бежать по лестнице, дробно стуча каблучками. И тогда сумасшедшая Рита, свесившись через перила, закричала:

— Умер! Умер! Эй, ты! Умер! Приходи на похороны!

Внизу оглушительно хлопнула дверь. Все стихло.

Мирно спал на моих руках беззвучный сытый младенец с выпуклыми дольками век. Слабо бормотала батарея. Снег за окном шел и шел.

— Пойдем отсюда,— тихо сказала Рита.— Дай мне ее.

Я протянула ей голубой сверток. Она ту же перевязала его капроновой лентой, надела свои мокрые колючие варежки, мы вошли в лифт и, не прерывая молчания, спустились на первый этаж.

— Постой,— сказала я.— Сейчас поймаю машину.

Через полчаса мы пешком поднимались по другой лестнице, загаженной кошками. Рита постучала кулаком в дверь, и на ее стук сразу же открыли.

— Господи!— раскашлялась открывшая.— Что же вы так долго? Я боялась, не дай Бог, что случилось!

— Мам,— выдохнула Рита,— вот...

Крест-накрест перевязанная серым платком женщина схватила ребенка и понесла его в единственную комнату, где было несколько кроватей: узкая, железная, с которой второй год не поднималась Ритина парализованная бабушка, затрясая лысой головой при нашем появлении, большая кровать с потресканной полированной спинкой, на которой Рита спала вдвоем с матерью, и новенькая детская кроватка на колесиках с плюшевым вытертым медведем на подушке.

Ритин стол, прежде стоявший на месте детской кроватки, был сдвинут к окну, и на нем в идеальном порядке лежали книги, относящиеся к восемнадцатому веку европейской литературы. Я почему-то запомнила, что сверху стопки был гетевский «Фауст». Мы учились на втором курсе, и «Фауст» в пастернаковском переводе входил в программу.



Зоопарк

ИЗ ЗАПИСОК ПЕРЕВОЗЧИКА ЖИВОТНЫХ

В этом произведении представлен обобщенный образ зоопарка. Автор просит читателей не искать сходства в описываемых событиях с реальными фактами или же с каким-то конкретным зоопарком.

Поездка

— Медведь в аэропорту, — сказал директор зоопарка. — Мне позвонили, а я забыл. Ты поезжай, забери.

Такое вот указание под конец рабочего дня. «Лучше бы ты не вспоминал!» — подумал я. Да делать нечего, придется ехать. В рот щепотку чая — зажевать, сумку через плечо. Поехал.

Идти нужно было через весь зоопарк. А зоопарк — это клетки, вольеры с животными. Между ними дорожки, по которым ходят посетители и смотрят на животных. То и дело останавливаются то у одной, то у другой клетки.

Я шел по дорожкам мимо диких кошек, овцебыков, антилоп, фламинго, очковых медведей. Я столько раз видел их, что и головы поворачивать не хотелось. Настроение было паршивое. Уже собрался домой, а тут ехать.

И еще — посетители навстречу. Они, словно вязкая масса, сквозь которую с трудом пробиваешься. Орущие, бегающие дети. Мамы с колясками, которые они все время теряют. Засмотрится на какое-нибудь животное, а коляску укачают... Очередь на пони, очередь за мороженым. Толчея, галдеж. Взрывы хохота у клеток с обезьянами. Столпились и смотрят. Посетители! Как же они надоели!

Лето. Зимой будет полегче. Зимой зоопарк безлюден. Я хожу один по заснеженной территории. Пусто вокруг. Хорошо.

А если залезть на крышу дирекции (зимой мы тянули туда телефонные провода), то вдаль можно увидеть настоящий храм с белыми колоннами в ярких лучах солнца. Храм словно парит в воздухе, он приподнят над землей.

— Что это? — спросил я своего напарника.

— Ресторан «Шанхай», — ответил он.

Наконец я вырвался из толпы посетителей, миновал туалеты и оказался на зоопарковской помойке. Бок о бок несколько баков из ржавого железа. Из них торчало гнилое сено и несло чем-то кислым. Рядом с баками, расстегнув ширинки, приткнулись двое посетителей. Туалет на ремонте. Я поспешно прошел мимо. Хорошо хоть не женщины, было и такое.

За помойкой — гараж. Там меня ждал желтенький обшарпанный автобус. Радость-то какая! Целый автобус дают! Не придется, как в прошлый раз, когда я журавля на метро вез. Пассажиры тогда все спрашивали: «Кто у вас там в коробке шевелится?... Журавль? Не тесно ему?» «Привезу, выпустим».

Выпустать оказалось некому. Поздний вечер, и в зоопарке никого. Только в комендатуре — зеленом деревянном домике — дежурный с милиционерами. Белели халаты двух медсестер из соседнего вендиспансера. Пункт ночной профилактики. Дежурный в защитном камуфляже стоял посреди улицы и останавливал проезжавшие такси: водка есть? Неохота ему было тащиться к метро, где киоски.

— Чего там у тебя? — спросил милиционер.

— Журавль.

— Подожди, сейчас дежурный подойдет.

— А где молодой человек ночевать будет? — заинтересовалась одна из медсестер. Она говорила медленно, пьяно растягивая слова.

— Домой поеду.

— Ну-у, ночью ехать. Давай мы поближе тебе что-нибудь найдем.

Но тут появился дежурный с водкой и ее внимание переключилось.

— Врачей уже нет. Сам занесешь в карантин? Или здесь оставишь?

— Занесу.

Я шел по темным дорожкам зоопарка. Фонари не горели — их не было. Ночные прогулки в зоопарке не предусмотрены. Коробку я держал в руке и чувствовал, как внутри переступает журавль. Совсем рядом в темноте были вольтеры, клетки. Там животные. Но их и не слышно. Только где-то над головой шумели листвою деревья.

Вот и ветеринарный пункт, он же карантин, — над входом горит красная лампочка. Я с трудом, путаясь в ключах, открыл дверь, в темноте нашел круглые на ощупь выключатели и повернул все разом. Зажегся яркий свет. Большой зал с серым плиточным полом и белыми кафельными стенами был заполнен клетками с животными: попугаи, мартышки, белки. Свободных клеток не видно.

Я опустил коробку на пол. Пусть постоит. Утром выпустят. На всякий случай прикинул в уме: так, завтра не суббота и не воскресенье. Рабочий день. Дольше ночи не простоит. «Чао, бамбино!» — И погасил свет. Запирая дверь, я слышал, как журавль возится в тесной коробке, толкается о стенки.

В темноте возвращался обратно. Впереди, как маяк, светилось окно комендатуры...

Это тогда было, с журавлем. А сейчас, за медведем, меня отвезут и привезут.

Из желтого автобуса навстречу идет водитель, улыбается:

— Что, в аэропорт? — Приветливо тянет руку. И качается. Ничего. Не в первый раз.

Медведь был медвежонок. Камчатский. Сидел в картонной коробке, перевязанной шпагатом, и жалобно выл. Еще бы, постой несколько часов на солнцепеке... Рядом никого. Летчикам, через которых его передали, как с проводниками на поездах передают вещи, надоело ждать, и они уехали, оставив медвежонок на асфальтовом бордюрике возле здания аэропорта.

Верх коробки был мокрый, темный от воды. Попоить решили, сердобольные!

Размокшие половинки картона разошлись, когда мы подняли коробку, и из нее показалась голова, поросшая бурой шерстью. Я в одиночку пытался удержать животное (водитель, увидев, как обстоят дела, быстренько перебрался к себе, за плексигласовую перегородку), придавливал размокший картон, поправлял сползший шпагат, но все было напрасно. Медвежонок вылез из коробки, когда автобус уже ехал. Вылез и бросился к задней двери. Она была неплотно прикрыта, вместо замка примотана проволокой. Оставалась широкая щель, и сквозь нее был виден лес. Медвежонок прижался к щели и завыл.

Я сидел на подпрыгивающем сиденье и оценивающе смотрел на животное. Уже не маленький медвежонок. Подросток. Вообще-то мне следовало бы сойти. Пусть водитель сам добирается. Но тогда жди рейсового автобуса, битком набитого, и целый час тряса в нем до метро. Неохота. А-а!.. Пронесет.

Сначала я еще посматривал на медвежонок, сидевшего у двери и временами начинавшего тихо, жалобно выть. Словно ребенок хнычет. Жалобные интонации окончательно меня успокоили: куда ему, слишком напуган.

И я спокойно повернулся к окну: там, за стеклом, по-прежнему был лес, до города оставалось далеко. Одинокие деревья на обочине — словно из леса выбежали и вдруг остановились, замерли от неожиданности, увидев машины. И провожают их удивленными взглядами. Поятся вот так немного и дальше побегут.

А там, где лес редел, было видно красное закатное небо. Небо в густом тумане. «Красиво как!» — однажды вырвалось у водителя, молодого парнишки, с которым я возвращался из очередного аэропорта. «Что?» — оторвался я от своих мыслей. «Небо какое красивое, — повторил парень, качнув головой в сторону, — вон же!» «Да, красивое», — согласился я. И подумал: «Надо же, закат еще видит. Небо красивое! Еще не разучился замечать. Ничего, подожди».

Как же его звали, этого парнишку? Не вспомнить. Сколько их поменялось, водителей. Один я все езжу и езжу.

Автобус быстро мчался, подпрыгивая на неровной дороге. Держась рукой за сиденье, я смотрел в окно на лес и закатное небо, мелькавшее в просветах деревьев.

Сзади завозился медвежонок. Я быстро обернулся. Все спокойно, он там же, у задней двери. Просто повернулся с боку на бок. Ничего, медвежонок, сейчас приедем на ветпункт, выйдет человек с мешком и засунет тебя в него. (Так легче перенести в клетку, чтобы когти в ход не пустил.) Мешок через плечо — и пошел. Так маленьких детей пугали: «Украдут тебя, посадят в мешок и унесут. И никогда больше мамы и папы не увидишь!» Все правильно, ведь медвежонка украли у мамы-медведицы — убили ее, а ребенка забрали. (Убили — чтобы не искала.) Украли его, как же без мешка обойтись!

Когда мы приехали в зоопарк, там уже никого не было. Ветврачей никто не предупредил. Я посмотрел на медвежонка: что ж, мешок откладывается до завтра. Наклонился к водителю:

— Загоняй машину в гараж, никуда он из автобуса не денется.

В гараже было темно и пахло бензином. Медвежонок беспокойно завозился в автобусе, когда остался внутри совсем один. Ничего, до утра продержится. Я помог водителю задвинуть тяжелую дверь гаража. Повесили замок и ушли, провожаемые отчаянным воем запертого медвежонка.

Медведь

Когда ей накладывали жгут, девочка сидела белая как мел и молчала. Боль еще не пришла. А женщина, начальница секции, первая подросевшая на ее крики, все спрашивала:

— Ты зачем к медведю полезла? Надписи не читала?

— Я ему носик хотела погладить. Он у него такой коричневый, хорошенький, — ответила девочка.

Женщина с жалостью на нее посмотрела. Неся в целлофановом пакете оторванную по локоть руку девочки, подошел служитель:

— Ф-фу, еле отобрал, вцепился в нее — ни за что!

Подъехала «скорая», и девочку увезли.

Медведь беспокойно ходил вдоль решетки взад и вперед. Маленькие глазки зло поблескивали. У него отобрали добычу. Он не только руку, он всю девочку хотел втянуть к себе в клетку, протащить сквозь прутья. Но они слишком узкие. Не пролезла! Ему досталась только рука. Уже в который раз!

На счету медведя было семь откусанных рук посетителей. Он специально ложился поближе к решетке и притворялся дремлющим на солнышке. Животное знало, по опыту знало, что рано или поздно какой-нибудь посетитель, обманутый добродушным видом мирно спящего мишки, захочет его погладить... И тогда он полакомится свежатинкой.

Реакция, скорость движений у медведя необычайно быстрые. Стоило просунуть в клетку руку, и он в мгновение ока вцеплялся в нее зубами и тащил человека к себе. Вырваться невозможно.

У медведя была цель, которая придавала смысл его жизни, скрашивала однообразное существование в тесной клетке. Он охотился на посетителей.

Его не наказывали. На все упреки в зоопарке отвечали: «Чем несчастное животное виновато? Это его нормальное поведение. Он хищник. Во всем виноваты посетители. На клетке табличка «Животное опасно!». Перед клеткой барьер, на нем надпись: «Не перелезай!» Так нет: перелезают и сами же руки в клетку тянут. Посетители тупые!»

Руку девочке пришить не удалось. Она была вся раздроблена, изжевана медведем. Девочке 13 лет.

Удалось пришить ногу — мальчику, который на следующий день пнул медведя. Отомстить решил. Медведь радостно вцепился в ногу, потащил к себе... На этот раз совсем рядом оказались люди. Они очень быстро отобрали откусенную ногу, животное не успело ее измочалить. Опять жгут, «скорая»... Ногу спасли.

На третий день после этого случая в зоопарк забрел еще один мальчик. Мальчику было весело. Он шел, что-то про себя напевая, и беспечно смотрел на зверей в клетках. В одной из них он увидел одинокого медведя, грустно смо-

трящего на него из-за решетки. Мальчик достал из кармана конфету, развернул бумажку, снял серебряную шуршащую фольгу и протянул конфету медведю.

Мальчик отделался легко, всего одним пальцем. Пришивать было нечего. Медведь успел съесть палец. Вместе с конфетой.

Столько случаев сразу, один за другим! Угрозы родителей подать в суд заставили зоопарк принять меры. Клетку с медведем затянули мелкоячеистой железной сеткой. Теперь ни руки, ни ноги не просунуть. Медведь потерял смысл жизни...

Эти ненавистные посетители!

Гепард

Гепард перепрыгнул через решетку зимой. И прыжками понесся прямо на двух мальчишек, остолбеневших от неожиданности...

А сажали гепардов в новую вольеру летом. Зеленая лужайка, желтый деревянный домик. Лучше, чем в клетке. Только вот ограда низковата. В первый день, когда гепарды осматривались на новом месте, бродили по полянке, недоверчиво обнюхивали траву, директор вместе с сотрудниками стоял у вольеры и ждал: выпрыгнут или не выпрыгнут? И ружья у них были. На всякий случай. Все обошлось. Гепарды побродили по вольере, осмотрели все углы и мирно улеглись на травке. «Нормальная ограда», — решил директор. И ушел.

А зимой один из гепардов влез на дерево, что росло возле ограды, и спрыгнул наружу. Ошалев от свободы, огромного пространства, в котором не натыкаешься постоянно на решетку, он несся по зоопарку. Мальчишки, что оказались перед ним, в последний момент опомнились и успели спрятаться под скамейкой. Животное промчалось мимо.

Сотрудники зоопарка в телогрейках высыпали на улицу. Надо было загнать гепарда обратно.

Длинноное животное гигантскими прыжками носилось по заснеженным дорожкам зоопарка. Испуганные посетители шарахались в стороны и все спрашивали пробежавших мимо сотрудников: выход из зоопарка где? Зоопарковцы с ненавистью на них смотрели: «Зима же! А эти все равно притащились!»

Наконец гепард наткнулся на стену — внешнюю ограду зоопарка. Через нее не перепрыгнуть.

Он сидел на задних лапах, спиной к стене и удивленно смотрел на своих преследователей, временами трясая головой, совсем как человек, который не верит своим глазам. Пятнистая кошка на длинных ногах.

Зоопарковцы стояли напротив и ломали головы: как же загнать гепарда обратно в вольеру?

— А он как охотится, зубами? — встревоженно спросила одна из сотрудниц.

— Да нет, он лапой убивает, — объяснили ей.

Девушка испуганно отступила за спины мужчин. Зато другая, биохимик зоопарка, в распахнутой телогрейке отважно пошла вперед, прямо на животное. Гепард подался назад и уперся в стену. Он зарычал. Девушку оттащили.

— Он же на тебя сейчас кинется, ему деваться некуда, люди вокруг. Ну-ка отойдите! — велел всем коренастый, рыжебородый мужчина.

Когда все отошли, он подкрался к гепарду сбоку и хлопнул в ладоши. В морозном воздухе хлопок прозвучал неожиданно громко. Гепард сорвался с места и побежал. Он боялся громких звуков.

Хлопая в ладоши, его погнали в направлении гепардятника, а когда животное пыталось отскочить в сторону, его путь корректировали теми же хлопками.

Так они и бежали: впереди гепард, а за ним, аплодируя, зоопарковцы.

На следующий день ограду вольеры нарастили. Ведь выпрыгнул.

Манулы

— Нам сегодня манулов из Монголии присылают. Ты их привези, — сказала мне в дирекции.

— А кто это?

— Да дикие кошки. Очень редкие. Монголы их поймали у себя в степи — и часть нам, часть в зоологический институт передают.

— Ладно, — сказал я, — привезу.

Встречать манулов нужно было в аэропорту в пассажирском зале. Наша машина свернула с шоссе, и вскоре впереди показался аэропорт, высокое здание кофейного цвета, и стекло, и бетон — все кофейное. Оставив машину с водителем на обочине дороги (к самому аэропорту грузовики не допускались), я пошел в нижний зал прилета. Передо мной автоматически разъехались стеклянные створки (иногда они разъезжались, иногда нет, и порой можно было набить себе на лбу шишку), и я очутился внутри.

Тускло освещенный зал ожидания, скамейки, заполненные пассажирами. Я пробрался к табло и нашел нужный рейс. Уже прибыл. Правое крыло.

Я подошел к дверям с правой стороны зала, там должны были выходить пассажиры, и спросил толпившихся у дверей встречающих:

— Из Улан-Батора еще не выходили?

Откликнулась высокая девушка в очках:

— Вы из зоопарка?

— Да. А вы из зоологического института?

Она кивнула:

— Сейчас манулов вывезут. Я уже издала у таможенных стоек их видела.

— Манулов?

— Да нет, наших аспирантов из Монголии. Они с собой манулов везут как личное имущество.

Я облегченно вздохнул, «личное имущество» означало, что мне не придется тратить несколько часов на таможенное оформление животных. Настроение сразу улучшилось.

В это время из дверей показались два молодых монгола, катившие перед собой тележки, нагруженные небольшими ящиками.

Всего было восемь ящиков, в каждом по манулу. Шесть из них шли в зоопарк. Я раздобыл еще две тележки, и мы повезли животных к машине. Монголы и девушка были разочарованы, увидев вместо ожидаемого автобуса грузовик. Они рассчитывали, что я подброшу их до города.

— Извините, ребята, автобус забрали под шведскую делегацию. Из Стокгольмского зоопарка. Катают шведов по городу. Культурная программа.

Аспиранты, захватив два ящика, уныло поплелись на остановку рейсового автобуса.

А мы с водителем ящики с манулами поставили в кузов. Одну тележку водитель тоже закинул в грузовик: «Пригодится», — а остальные тележки мы сбросили на обочине. Кому нужно — подберут!

Мы приехали в зоопарк уже вечером. По доброй, старой традиции животных никто не встречал. Да и не собирались встречать. Заведующий отделом, высокий лысый мужчина, сказал мне:

— Когда привезешь манулов, ты их из ящиков в клетки пересади. Они очень долго в пути, боюсь, как бы за ночь не подохли.

Я ничего не ответил, промолчал. Потом можно будет сказать, что не расслышал. Как же, буду я полночи ковыряться! А завтра, с утра, снова в путь-дорогу — обезьян в аэропорт везти. Если так любят животных, так за них беспокоятся, пусть сами встречают манулов! Встречают и пересаживают.

Ветпункт встретил меня птичьим щебетом. Свет зажег, они и защebetали. Весь карантин был заставлен клетками с птицами. Таможенники где-то конфисковали контрабанду и передали зоопарку. Самим-то им держать негде. Я занес ящики внутрь. Потом присел перед ними, заглядывая в затянутые провололочной сеткой окошки. До этого просто не было времени посмотреть: какие они? На меня ответно немигающими желтыми глазами смотрели кошки. Круглые мордочки с толстыми щечками. Манулы. И там, дальше, мне рассказывали, должен быть еще толстый хвост. Только не разглядеть.

Я заглянул в каждый ящик. Все живые, не вялые. Ничего с ними до утра не случится. Потушил свет и залер дверь ветпункта.

У метро распили с водителем бутылку портвейна. И — до завтра!

Утром я зашел в дирекцию за документами.

— Здравствуй! — приветствовал я своего начальника отдела (мы давно вместе работали и были на «ты»). — Ну как там манулы, живы?

— Еще как живы! Драться лезут,— ответил тот, поглаживая гладко бритый подбородок.— Мне сейчас из секции звонили: девочке-лаборантке, которая их пересаживала, всю руку исцарапали, до крови.

Я улыбнулся:

— А так бы мне. Кто бы сейчас с обезьянами поехал?

— Тоже верно,— ответил начальник, склоняясь над бумагами. На том мы и расстались.

А через пару месяцев я услышал от него совсем иное.

— Манулы-то, оказывается, кошачьим СПИДом инфицированы,— сказал начальник отдела.

— А что это такое?

— Да то же, что и человеческий. Бьет по иммунной системе. Неизлечим. Говорил я нашим — не надо! Манулы все дикие, из природы, кто знает, какой пакости нахваталась? Так нет: «Редкие животные, украсят зоопарк». А теперь им ничего, а мне отвечать.

— За что?

— А ты не в курсе? Девочка, которую манулы исцарапали, тоже заразилась.

— Это точно?

— Точно,— уныло кивнул начальник.— Мы для проверки в Англию образцы крови посылали — и манулов, и девочки. Вчера факс получили: у всех кошачий СПИД. Что делать, не знаю,— говорил он, не глядя на меня, куда-то в сторону смотрел. В кабинет зашла его заместитель — низенькая полная женщина в очках. Начальник, потирая лысину, повернулся ко мне: — У тебя все?

Через несколько минут, уже у вольеры с овцебыками, я вспомнил про письмо на таможеню. Надо его подписать. Я вернулся, но не стал заходить — сквозь приоткрытую дверь кабинета донеслось мое имя. Прислушался.

— Несовершеннолетняя, семнадцать лет! — сокрушался начальник отдела.

— Да,— вздохнула заместитель,— такая молодая...

— Не молодая, а несовершеннолетняя! — перебил ее начальник.— И я же отвечаю! Если бы кто-то другой! Взрослый.— И тут он назвал меня.— Даже если бы заразился, считалось бы как производственная травма. Инвалидность бы потом оформили. Просили же его: пересадить манулов! Отказался. А за несовершеннолетнюю меня же под суд отдадут!

Я отступил от двери. Ну и ну! Многое я повидал в зоопарке, но это было что-то новое.

Потом были поездки с леопардами, потом поездка за змеями, а за ними еще и еще поездки. Хмурые таможенники, крокодильчики, разбегающиеся из ящика, который меня заставили вскрыть: «Не даешь рентгеном просвечивать? Вскрывай!» Кладощица, которая ни за что не хотела принимать на самолет белого медведя — перегруз тридцать килограммов. «Ну что мне от медведя отрезать эти тридцать килограммов!» — кричал я. И в ходе дальнейшего разговора откровенное: «Сколько дашь?» «Ну, нет у меня денег вам заплатить — мы бюджетная организация,— ну, нет!»

История с манулами забылась. Почти забылась. Червячок остался: как там эта девочка? Вместо меня ведь... Давил в себе это. Я-то причем? Проскочил — и слава богу. А червячок оставался...

Через год я не выдержал и решил зайти в секцию, где работала заболевшая девушка.

— Она у нас не работает, уволилась.

— Давно?

— Давно, нас еще здесь не было,— отвечали мне две женщины в синих матерчатых комбинезонах и резиновых сапогах, готовившие корма для животных.

— А остался кто-нибудь, кто с ней работал?

— Наверно, наш зоотехник, но она в декретном отпуске.

Я пошел в дирекцию, к начальнику отдела.

— Какая девочка? — удивился тот.

— Ну которая кошачьим СПИДом заразилась. Сам же мне рассказывал!

— Не помню,— отвечал он, пожимая плечами.— За этот год столько всего произошло, что и не упомнишь.— Начальник с недоуменной улыбкой смотрел на меня. И взгляд у него был прямой и открытый.

Почти по Горькому: а была ли девочка?

«Наверно, не была», — решил я. И поехал в аэропорт...

Вскоре зоопарк сделал манула своей эмблемой. Теперь на всех официальных бумагах зоопарка, на рукавах курток сотрудников можно увидеть его изображение. Символ зоопарка.

Вахтер Роман

В воскресенье я дежурил в дирекции. Никаких особых обязанностей, только звонки отвечай. А звонки были дурацкими. Какой-то чудак хотел поскорее заполучить для музея скелет недавно павшего слона. «Да подождите немного, директор подойдет, с ним и поговорите». «Нет, я по опыту знаю: скелет ждать не будет», — печально произнес говоривший и повесил трубку.

Бесцеремонные телевизионщики пытались вызвать у меня домашний телефон пресс-секретаря зоопарка, утверждая, что знают ее с детства, и тут же спрашивали: «Кстати, как ее зовут?» Наглый народ! Хотя среди журналисток встречаются симпатичные. Как та, с телевидения, что все допытывалась у меня (во время очередного дежурства): «А правда, что ваш директор в молодости работал таксистом?» Девушка собирала компромат на директора зоопарка. У него появились враги, когда он собрался баллотироваться в депутаты. «Нет, таксистом наш директор не работал», — ответил я. — А вот швейцаром в ресторане — да, был». Подробности заинтересовавшейся журналистке я обещал рассказать при личной встрече. Завтра, в кафе.

Так и не узнал, пришла ли девушка на встречу, потому что я — не пришел. Из Китая прилетели тигры, и мне пришлось ехать в аэропорт встречать их.

От воспоминаний меня оторвал новый звонок. Детские голоса, перебивая друг друга: «Позовите Мишу». «Какого Мишу?» — не понял я. Смех: «Как какого? Косолапого». Я: «Приходите в зоопарк. Я вам медведя покормить дам. Из ручек».

Вышел в коридор. Подальше от телефона. Взгляду не на чем остановиться. Голые стены. Единственное их украшение — знакомый до одури план нового, будущего зоопарка. На нем штрихами и пунктирами нанесены вольеры и клетки, сплошным зеленым — парковые участки. Тоска зеленая. Внизу хлопнула дверь, послышались тяжелые шаги на лестнице, и в коридоре появился грузный пожилой мужчина, одетый в черное потертое пальто. «Роман, работает вахтером», — вспомнил я. Часто видел его, когда привозил животных в зоопарк. Наш грузовик останавливался у запертых ворот, водитель гудел, и из зелененького домика у проходной появлялся Роман, спускался по ступенькам с высокого крыльца и открывал нам ворота. А потом закрывал их за нами.

— Здравствуй, Роман!

— Здравствуй! — ответил тот, переводя дыхание. Видно, запыхался, поднимаясь по лестнице. — Директор у себя?

— Его пока нет, но есть заместитель.

— Пойду к нему.

— А что случилось?

— Жаловаться буду. Охранник наш лезет и лезет. Покоя нет.

— Пристает?

Роман улыбнулся:

— Думаешь, с этим? — Он сделал руками движение, будто кого-то на что-то насаживал.

— Нет, что ты! Разве не знаешь, директор запретил нашим гомосексуалистам этим в зоопарке заниматься. На работе — ни-ни! Слово с них взял.

— А на что жаловаться хочешь?

— Издевается он! Еду из дома принесу — спрячет ее. На табурет присяду — столкнуть норовит. И все с подковырками. Хочу, чтобы директор ему сказал: «Романа не обижай!» Директора, говоришь, нет? Ну, пусть заместитель. — И он, тужело дыша, пошел дальше по коридору.

Вскоре я вспомнил эту встречу.

— Романа, вахтера нашего, знаешь? — спросил меня маленький лысоватый водитель во время очередной поездки в аэропорт за животными.

— Знаю, видел недавно.

— Ну удивил он меня! Встречает у проходной и просит: «Можно я у тебя дома двадцать третьего февраля посижу?» Я сначала подумал: отметить со мной хочет? Так он непьющий. Ни капли. Стал спрашивать: что такое? Роман сначала отмалчивался, а потом рассказал, что на днях он в дирекцию ходил...

— В воскресенье,— подсказал я.

— Наверно. И там заместитель директора предупредил его: «Двадцать третьего февраля будьте, Роман, осторожней — в Москву приезжают семьсот тысяч боевиков «Памяти». Будут устраивать еврейские погромы». Роман-то у нас еврей. Вот он у меня и решил спастись. «Я тебе совсем не помешаю,— просит,— посижу где-нибудь в уголке, книжку читаю». «Приходи,— говорю,— только зря опасаясь, вздор тебе какой-то сказали, никто вас, евреев, бить не собирается». Уж у меня какие только знакомые ни есть, ну ни от кого я этого не слышал, чтобы идти и громить! А тот все свое: «Ну, можно я у тебя посижу?» «Приходи, сиди, я же не отказываю. Только, если так боишься, уезжать тебе надо. Родственники-то, наверно, есть за границей?» Головой кивает: брат у него в Америке. «Вот и езжай к нему». «Не могу,— отвечает,— я слово директору дал. Он меня похоронить обещал». «Не понял?!» Оказывается, когда Роман пришел на работу устраиваться, директор его спросил: «Уезжать из страны не собираешься?» Это еще до перестройки было. «Да нет, пока не собираюсь». «Пока — не годится,— говорит директор.— За тебя с меня спросят. Или обещаешь, что не уедешь, или не работаешь. Или слово, или работа». Роман: «Но я же здесь совсем один остаюсь. Похоронить некому будет!» Директор ему и говорит: «Не бойся. Умрешь — похороню». Тогда Роман и пообещал: «Не уеду». Слово дал. «Чудак ты,— говорю Роману,— это же когда было? При советской власти. Сейчас директора твое слово не колышет. Да если бы у меня брат в Америке был — я бы и секунды не думал. Езжай!» А Роман все свое: «Нет-нет, я слово дал!»

— Ну и что, приходил он к тебе на двадцать третье?— спросил я.

— Пришел. Действительно, с книжкой. «Я посижу?» «Сиди сколько хочешь». «Нет-нет, я до вечера только». «Чай попьешь?» Отказывается: «Зачем на меня тратиться?» Да чем тратиться? Чаем? Еле заставил стакан чая выпить. А пока он у меня был, я его спросил: «Имя-то у тебя почему такое? Вроде у евреев Романов не бывает». Оказывается, и не Роман он вовсе, а Абрам. По-новому его на работе называть стали: «Давай мы тебя Романом звать будем! Нам привычнее...» Он и не отказался: Роман — безопаснее.

Так весь день у меня и просидел. С книжкой. А вечером поднялся и уходит собирается. «Станный ты,— говорю,— вечером же еще опасней ходить. Оставайся ночевать, раз уж так». Отказался: «Я боюсь надолго квартиру одну оставлять». И ушел. Ой, чудной!

В последний раз я услышал о Романа через полгода. Водитель автобуса, на котором мы везли в зоопарк снежных барсов, сказал:

— А я вчера ездил Романа хоронить, вахтером у нас работал.

— Его убили?!— вырвалось у меня.

— Романа? Что ты! Своей смертью умер. С сердцем у него плохо было. Директор похороны оплатил. И мой автобус дал, на кладбище отвезти. «Я обещал»,— говорит.

— Так, значит, своей смертью умер?— переспросил я водителя.

— Ну да, конечно.

Но я только покачал головой. Я-то знал, что Романа убили. Его убили приехавшие в Москву семьсот тысяч боевиков.

О любви к животным

За стеклом террариума, свернувшись кольцами, спит гигантская змея. Анаконда. Возле нее сидит кролик. Он дрожит. Бежать ему некуда, вокруг стекло. В террариуме жарко, очень жарко, а кролик дрожит.

Я видел этого кролика своими глазами, когда зашел в герпетологию (змеюшник).

Вот кольца начинают шевелиться. Скоро змея проснется. Она обовьется вокруг кролика и медленно его задушит. Медленно — чтобы не поломать кролику кости, их острые края могут поранить змею кишечник. Задушит и заглотнет.

Время от времени снаружи к стеклу приближались внимательные глаза зоопарковцев-герпетологов: как там дела?

Кролик все так же сидел спиной к змее, не поворачивался. (Если не видишь — ее нет?) И дрожал.

Герпетологи бросили кролика живым на съедение анаконде вовсе не потому, что они садисты. Просто ни у кого из них не поднялась рука убить живое существо.

После герпетологии я пошел к себе. Длинная кишка коридора, по бокам комнаты сотрудников. В одной из них собрался народ: пьют чай и слушают рассказы Сашки-сторожила. Его в этот день потянуло на воспоминания. Я налил себе чая и присоединился к слушателям.

— Вон баба Даша идет, — говорил Сашка, кивая на улицу. Снаружи мимо нашего окна прошла седая женщина с крупной фигурой и по-мужски широкими плечами. — Если она какое животное невзлюбила — ему не жить, — продолжал Сашка. — Это всем известно. Помню, в зоопарке чернобурых лисиц разводили, и одна лисица бабе Даше руку прокусила, когда та корма раздавала. Ругаться не стала, даже посмеялась: сама, мол, виновата — руку ей подставила. А через неделю после того случая, смотрю (я тогда в секции задержался), баба Даша тихо так по проходу между клеток крадется. А клетки тесные, узкие были, и у животных хвосты наружу высовывались. Подкралась она к той самой лисице и сзади изо всех сил ее за хвост дергает. Та визжать, на прутья кидаться... А баба Даша ветеринаров вызывает: «Видите? Взбесилась». Ну, лисицу тут же и усыпили.

С бабой Дашей не связывайся — ее с маслом не съешь. Раз проверку затеяли — как она птиц кормит, не таскает ли себе корма? В ее отсутствие в клетках с птицами зашли: сколько там кормов?

Баба Даша, как узнала, в тот же вечер в зоопарк пришла и двум птицам, редким, ноги переломала. И тут же директору домой звонит: «У меня птиц покалечили!» «Кто?!» «А те, кто проверял». Так ту женщину, что проверять ходила, из зоопарка уволили: животных покалечила!

Еще случай был, — вспоминал Сашка, — оленя бухарского кормили... Только спал он все. Корма принесут, а он спит. Три дня корма носили и воду меняли, а он спит себе и спит. Крепко так. Так он и лежал, пока посетители в дирекцию не пришли: что это у вас так от бухарского оленя воняет? «Так он спит!»

А еще помню, — продолжал наш рассказчик, — северных оленей в зоопарк привезли. С ними все в порядке было, никто не болеет, не дохнет — только вот не размножаются. Их и кормили усиленно, и витамины с микроэлементами в рацион добавляли — не размножаются никак! Четыре года в зоопарке, а приплода нет. В дирекции головы ломают: может, еще какие витамины им добавить? Оказалось, все олени — самки. Четыре года размножали.

После чаепития я зашел в орнитологию: нужно было увидеть зоотехника. В кормовой молоденькая девушка убивала крыс. Брала их за длинный розовый хвост и с размаху била головой о цементный пол. Одну за другой. «Хрясь. Хрясь», — раздавалось после ее ударов. Если после первого удара крыса еще жила, шевелилась, девушка еще раз с силой била ее головой об пол. Крысе нельзя было оставаться живой — орлы пугались. (Крысы шли им на корм.) При виде живой крысы орлы шарахались от нее, испуганно хлопая крыльями, разлетались в разные стороны, натыкались на решетку или верхнюю сетку вольеры. Бились в истерике. И наносили себе серьезные повреждения: ломали крылья, разбивали клювы. Орлы родились и выросли в неволе, в зоопарке. В зоопарке и умрут. Инкубаторские они. И очень боятся живых крыс.

Так уж случилось, что в этот день мне пришлось услышать еще одну историю. От знакомой, которую я встретил в дирекции.

«Я в карантине зоопарка тогда работала. Там каких только животных не было. Многие совсем больные. Таких усыпляли. А мне их так жалко было! Я всегда врачей просила: «Ну давайте пока не будем, давайте подождем!» Ну у нас-то врагов животных нет, всем жалко. А тут еще я... Шприц откладывают: «Ладно, подождем». До моих выходных. Я после выходных приду, а половины животных уже нет.

А еще у нас был врач — решил животных током убивать. Чтобы на инъекциях сэкономить. На морской свинке испытывал: прикрутил ее за две лапки к электродам и пустил ток. А она живая. Он напряжение увеличил — все равно. Еще увеличил — живая! Вертится, визжит, одну лапку вырвала... Никак у него не получалось. Я не выдержала, убежала, чтобы не смотреть. Уж и не знаю, как он ее убил».

Встречи

— Пока не опохмелюсь — не поеду. Башка раскалывается, — сказал водитель. И лицо у него было все в царапинах: он вчера жену скалкой избил (валиком для белья), а она ему лицо исцарапала.

— Что, совсем ехать не можешь? — спросил я.

— Не-а. Видишь, руки дрожат? Не знаю, как сюда и доехал.

Мы стояли на платформе Ленинградского вокзала. Встречали занненских коз из Финляндии.

— Что ж, — сказал я, — пошли искать.

И мы двинулись вдоль длинного хельсинкского состава. Может, у проводников что осталось? У проводников мы ничего не нашли, только зря время потеряли. Пришлось возвращаться в здание вокзала, и там, возле коммерческого киоска, водитель похмелился стаканом водки. После этого мы вернулись к ожидавшим нас на платформе козам. Животные с очень красивой белоснежной шерстью были упакованы в двух ящиках-клетках. Погрузили их в машину и поехали в зоопарк. Я поначалу с тревогой поглядывал на водителя, но тот после выпитого стакана чувствовал себя превосходно, глаза заблестели, на исцарапанном лице появилась улыбка, и руки уверенно лежали на баранке. Видно, дрожь прошла. Начисто.

На въезде в зоопарк, у комендатуры, нас встретил директор.

— Почему так долго задержались? Я уже волноваться начал.

— Поезд опоздал, — соврал я.

Водитель подогнал грузовик к ветпункту и ушел, сказав мне:

— Знакомая у меня здесь. Пойду ее за сиськи подергаю.

После разгрузки коз я пошел в дирекцию. Около вольер с журавлями встретил высокую худую женщину с узким, длинным лицом. На ней — черный рабочий халат. За его подол держались двое ребятишек. «Здравствуй, Элла!» «Здравствуй!» — откликнулась она. Элла — умственно отсталая. Зоопарк — ее опекун. Были в зоопарке и другие опекаемые, но они куда-то исчезли, а Элла осталась. Вспомогательную школу она закончить не смогла. На зоопарковских собраниях забивалась под сиденья. «Ты что, Элла?» «Я боюсь».

В зоопарке она кормила птиц, убирала вольеры для журавлей. Путь ее к этим вольерам шел через помойку, мимо проломов в бетонном заборе, отделявшем зоопарк от заброшенной стройки. На стройке собирались бомжи, пили, через проломы они пробирались в зоопарк, рылись на помойке. Повстречали Эллу, затащили через пролом к себе на стройку, дали выпить... «Ты попроси у своих опекунов денег, — учили ее бомжи, — еще выпьем». «Я боюсь», — отвечала Элла.

Через год она родила мальчика. Опекать ребенка пришлось тоже зоопарку. Куда денешься! Еще через год родила второго. «Ну все, если откупорили, теперь не закупоришь», — говорили зоопарковцы. Нужно было срочно принимать меры. Меры приняли — заделали проломы в заборе, мимо которого ходила Элла. Забор стал сплошным. И Элла перестала рожать.

Я подошел к желтому двухэтажному домику. На первом этаже жили антилопы, на втором — дирекция. Я поднялся на второй этаж, зашел в приемную — там сидел, печально опустив голову, один из зоопарковских художников. Как всегда, в пиджаке. Он никогда его не снимал. Даже в самую жару. В кармане пиджака художник носил тяжелый гаечный ключ. Чтобы убивать тех, кто насилует мальчиков.

Художник постоянно слышал крики мальчиков, зовущих на помощь. Совсем рядом, за стеной! Сжимая в руке гаечный ключ, он бросался в соседнюю комнату, врвался в чужие квартиры — помочь им! — однако каждый раз насильники успевали скрыться и утащить свои жертвы. Крики умолкали. Но лишь на короткое время. Вскоре он опять слышал стоны истязаемых мальчиков.

Еще художник рисовал животных. Хорошо рисовал. На его картинах они выглядели сильными, благородными. Не то что люди...

Животные не насиловали мальчиков.

Выходя из дирекции, я встретил женщину с серым, болезненным лицом. Диктор зоопарка. Передает сообщения о потерявшихся детях. На ней, несмотря на лето, была теплая вязаная шапочка. Под шапочкой, на голове — сетка из проволоки. Защита от космических лучей.

Ей казалось, что ее кто-то облучает из космоса. Силы Тьмы. Железная сетка — спасение. Но в последнее время и она перестала помогать. Враги усилили излучение. И тогда диктор под предлогом того, что сорвала голос, перенеслась в канцелярию, чтобы быть поближе к директору зоопарка. Под защиту его биополя. Высокий, усатый, косая сажень в плечах — такой человек, верила она, должен обладать мощным биополем, через которое не проникнет черное излучение. Рядом с директором женщина чувствовала себя в безопасности.

Ее приход в канцелярию вызвал неудовольствие и противодействие одной из машинисток — низенькой, сгорбленной. Волосы у нее иногда были скреплены в пучок на затылке, иногда просто висели седыми космами. Машинистка не хотела, чтобы кто-то прикрывался биополем ее директора. И без того ему, бедному, несладко приходится. Одно общение с иностранными делегациями чего стоит! После каждого посещения зоопарка иностранцами машинистка находила оставленные ими черные экраны, обладающие губительным воздействием на живые существа. Около зебр, у льявтника, у очковых медведей — везде она находила черные экраны!

Она знала, что иностранцы — это Враги, Служители Черных Сил. Но она не даст им погубить животных. И директора.

Машинистка-экстрасенс вслед за делегациями ходила по зоопарку, оставалась у волвер с животными, где, как ей казалось, после иностранцев остались черные экраны, вытягивала руки и, испуская поток светлой энергии, уничтожала эти экраны. Потом возвращалась в канцелярию и защищала дирекцию. Особенно тщательно она очищала от черной энергетики кабинет директора. А когда директор был с иностранцами, беседовал с ними, она усилием мысли создавала вокруг него защитную оболочку синего цвета, непроницаемую для вредных излучений.

Пока она рядом, никто ее директору плохого не сделает! Он и не знает... Любимый!

В конце этого же дня мне нужно было везти журавлей в аэропорт. Водитель был тот же самый. Совсем пьяный, где-то добавил. Я тоскливым взглядом обвел гараж. Других машин не было, все в разъездах. А ехать надо: самолет через три часа. Еле-еле, впритык. К машине, шатаясь, шел водитель.

В это время мимо гаража проходил заместитель директора. Он видел, как водитель сядил в кабину. С третьей попытки залез. Заместитель подошел ко мне.

— Водитель-то у тебя совсем пьян, — сказал он. — Я тебе так сочувствую! — И пошел дальше.

Я проводил его взглядом. Потом сел в машину.

— Поехали, — сказал я водителю. — В аэропорту похмелишься!

Синяя Птица

Оказывается, Синюю Птицу — Птицу Счастья — больше не надо искать. Она найдена. И содержится в зоопарке.

Небольшая птица с синим отливом сидит в клетке и клюет зернышки. На клетке — табличка с надписью «Синяя Птица». Только какая-то неказистая она, обычная. Какая птица, такое и наше счастье — неказистое. Другого не бывает. Приезжайте в зоопарк, сами убедитесь.

А мои знакомые, которым я показывал зоопарк, на Синюю Птицу внимания не обратили, прошли мимо. Зато их очень заинтересовал черный-пречерный ворон, сидевший в соседней клетке. «Хорош! Как из фильма». Все вспомнили мистический триллер «Ворон». «Смотрите, вон еще один!» Как раз по бокам Синей Птицы, в клетках, сидели два ворона. Словно два черных стража. «Столько воронов в зоопарке, — говорили знакомые, — это неспроста. Ваш директор, наверное, мистик». «Ага», — сказал я.

Минусы и плюсы

Режиссер сказала:

— Животные в клетках — это минус. Сотрудники зоопарка по жизни — тоже минус...

— В каком смысле? — не понял я.

— А в том, — продолжала женщина, — что их любовь к животным — не от хорошей жизни. Ведь в зоопарке, не обижайтесь на откровенность, работают люди обделенные. Иногда умом, но чаще, как я поняла, человеческим теплом. Что-то в их жизни произошло: или в семье, или в общении со сверстниками были трудности. То, в чем отказали люди, они нашли у животных. У кошек, собак, птичек. Животные не ударят, не оскорбят. С животными легче, чем с людьми. Потому обделенные и приходят работать в зоопарк: они ищут у зверей тепла, в котором им отказали люди.

«Что ж, все правильно», — подумал я, молча смотря на мою собеседницу, очень милую женщину с чуть раскосыми глазами — режиссера-кинодокументалиста. Ее студия уже сняла документальные фильмы о морге и женском вытрезвителе. Теперь решили делать фильм о зоопарке. Готовясь к съемкам, режиссер беседовала с зоопарковцами, собирала материал. Добралась она и до меня.

— Вы огорчены? Что я так про зоопарк? — с сочувствием спросила женщина. — Не бойтесь, все не так плохо. Животные — это минус. Потому что в неволе. Сотрудники — тоже минус. В зоопарке эти два минуса сталкиваются, и получается один большой плюс. Вот об этом я и хочу снимать фильм. Пояснить?

— Поясните, — разрешил я.

— Все очень просто. Служители зоопарка, общаясь с животными, получают тепло, которое не могут получать, как все остальные, от других людей. И в ответ сами дарят тепло животным. Получают и отдают. Постоянный обмен теплом между людьми и животными. Минусы превращаются в плюс. Вы качаете головой. Не согласны?

— Про минусы вы все правильно сказали. Только вот плюса я здесь не вижу. Зоопарк — это один большой минус. И зоопарк вовсе не согревает людей. Он их консервирует. Какие были у человека недостатки, такие и останутся. Вместо того чтобы пытаться в себе что-то изменить, преодолеть барьеры отчуждения между собой и остальными людьми, зоопарк позволяет человеку ничего не менять. Не приближает к людям, а отдаляет от них, от нормального человеческого общения.

— Ну это слишком абстрактно, — откликнулась режиссер.

— Согласен, абстрактно. Давайте лучше я вам расскажу несколько конкретных историй. — И я рассказал ей про зоопарк. То, что написано выше, — мой рассказ.

Женщина слушала молча, только с каждой новой историей все больше мрачнела. Ее концепция рушилась.

— Послушайте, — сказала она, — если дела так обстоят, если вы все про зоопарк поняли, почему не уйдете? Судя по тому, что вы мне рассказали, свою работу перевозчика животных вы ненавидите, считаете ее ненужной и бессмысленной. А сами все возите и возите животных. Ездите и ездите по аэропортам. Одуреть можно! Простите, что я так резко, но я не могу вас понять. Вы рассказали, как вместо свидания с девушкой поехали встречать тигров. Вам эти тигры так дороги? Дороже свидания? Могли уволить? Самому надо было уйти! Ведь ваша зарплата немногим больше пособия по безработице. Неужели в другом месте не заработаете?

— Я не могу уйти из зоопарка, — сказал я.

— Почему?

— Директор похоронить обещал.



Два рассказа

СТАРУХА ТАМАРА

Старуха Тамара живет в станице Недвиговка. Высокий, как башня, белый курень ее с плоской крышей, крытой чаканом, стоит на берегу Мертвого Донца, там, где он, растекаясь по ерикам, струит свои мутно-коричневые воды в Таганрогский залив. До полудня старуха Тамара спит в доме под окошком на узкой железной кровати, с головою укрывшись простыней от мух и комаров. А в полдень, когда в небесах, раскаленных зноем, замирают маленькие летучие облака, просвеченные солнцем, и от степи, оглашенной жужжанием бесчисленных пчел и тонким рассыпчатым звоном потаенных кузнечиков, исходит крепкий дух сгорающих трав и цветов, старуха Тамара выходит на балаятник, усаживается на скамейку и дремлет, подставив к подбородку клюку и прислонившись поясницей к прохладной стене куреня.

Короткие и невнятные дневные сновидения утомляют Тамару; бесконечной чередой проносятся они перед нею, захватывая и вплетая в свои мгновенные узоры привычные образы яви. То вдруг качнется и вспорхнет чудовищной бабочкой древний высохший тополь у калитки, то проступит белым пятном из облупленной стены сарая чье-то неугаданное лицо и тут же ускользнет, обратившись в пеструю ящерицу; Тамара гонится за ящерицей: очень хочется ей рассмотреть разноцветные полоски на ее сверкающей шкурке. А ящерица уже далеко. Взбежала на курган. Запрыгнула одним махом на выщербленное темя каменной сарматской Бабы, а у Бабы-то — ах ты ж, сука! — у Бабы рыжая борода, Баба ухмыляется в бороду и говорит Тамаре: «Что! Не признала меня?! Это я — Ермолай!» Муж ее, Ермолай, стоит на кургане, врос в него по колено. И живот, и рожа у него каменные. Одна только борода пушится на ветру, да глаза в глубоких глазницах поворачиваются, сверкая белками.

— Съел ты, съел мою ящерицу! — кричит ему Тамара. — Оттого и помер! Вот отчего ты помер!

Баба хохочет над выдумкой Тамары, и от хохота ее содрогается, срывается с места и плывет, уплывает куда-то курган: множатся его очертания; и вот уже не один, а сотни курганов цепью призраков, медленным караваном тянутся по степи...

Пробуждаясь, не сразу узнает Тамара полуденный мир — яркую и неподвижную картину, внезапно возникшую в чехарде видений. Изумленно, точно впервые, оглядывает она освещенную солнцем дельту, обугленные, пополам разваленные молниями вековые ивы, каменеющие на песчаных берегах прямого, как палац, Мертвого Донца, безымянные ерики и протоки, ослепительно сверкающие в тусклой зелени заливных лугов, выжженные солнцем, вытоптанные козами и коровами рыжие макушки осевших в землю курганов, и далекие, окутанные маревом Аксайские холмы, на которых теснятся, возвышаясь над степью, города и станицы нижнего Дона.

Смотрит старуха Тамара одним только правым глазом, а левый глаз ее уже много лет ничего не видит, кроме прозрачных зигзагов и темных фиолетовых точек: сколько ни следи за ними, они, знай себе, плывут и плывут — то в одну, то в другую сторону; а то еще вспыхнут от солнца, подлюки, и вмиг разлетаются искристыми звездами, — когда-нибудь они перескочат и в правый глаз, и тогда уж совсем ослепнет Тамара от ихней пляски. Она бы и сейчас была зоркой на оба глаза, кабы не муж ее, Ермолай. Ух, ревнивый был! ух, лютий! Чуть прознает грех какой за Тамарой — что вправду было, а что напле-

тут зазря, да ему все одно,— потаскуха, кричит, шалаболка распутная! Задерет все юбки на голову и давай гулять батоном по спине да по ляжкам, так обгуляет, что неделю ползаешь рачки... А это было... куда же он уезжал?.. в горы он ездил, в Осетию. Подрядился стекольщиком, стекла вставлять. Кто-то ему рассказал, что стекольщики там в один день богатеют, оттого что в Осетии этой дожди идут ой какие! С градом хлещут дожди, не дай Бог, стекла дробит подчистую! А он тебе кто? Он хоть плотник, хоть свинопас, хоть стекольщик. Ну и поехал, значит. А вернулся в станицу — и что ж? До дома еще не успел дойти, ему уже про Тамару и то, и это. Тамара ведь молода была, и хороша собою как зачка. Ух! волосы смоляные, тяжелые, брови в стрелочку, задница арбузами — прости Господи,— и мало ли кто за ней ходил кобелем.

Вот и порассказали-то Ермолаю, кто да как за Тамарой ходил. Ох, озлился же он тогда. В дом вошел — и молчком: шагает по комнатам сам не свой, на Тамару совсем не глядит, только бороду свою жует и жует... А потом он снял со стены батог — бить хотел, да, видать, передумал. Отшвырнул его в сторону, тот батог, да кнутовищем же прямо в глаз угодил Тамаре. А и что? Ничего: эдак зыркнул из-за плеча, басурман, усмехнулся и говорит: запомнишь теперя, сучка ты растакай! — и выбежал во двор. Куда ж его? — на коня. Гикнул и в степь полетел, ускакал к себе в степь. Проветриться.

Страшный он был на коне, не дай Бог! Без седла гоцал, без стремян. Вспрыгнет ему на хребтину, весь согнется, вцепится в гриву — точно ворон какой аль паук! Он ведь карликом был. Муж ее, Ермолай. Вот такусенький был, Боже мой, до сиськи едва доставал. А старый какой! — того и сказать нельзя. Бабка ее, Антонина, говорила, что старый он был всегда: старым на свет народился, старым и жил всю жизнь. А жить, говорила она, жить ему, идолу, вечно! Оттого что он, Ермолай, самого сатаны племянник... Ой, прохвостка! и надо ж ей было такое сплести... А по ночам Антонина пугала Тамару карликом Ермолаем. Она тогда была маленькой девочкой — дитем была Тамара. Бабка качает Тамару в люльке, сама уже спит-засыпает, а все бает и бает сквозь сон байку про Ермолая.

— Видала ты,— говорит,— фуражка у него на голове колом стоит?

— Видала.

— Это он роги свои под фуражкой хоронит, поняла?

— Ага... Антонина?

— Че тебе, дочка?

— А где же хвост у него?

— Хвост он в штанине прячет, а на копыта сапоги надевает... Спи уже, спи, а то он придет...

— И што?

— А и ништо! В мешок тебя посадит да к сатане сволокет. Вон он — слышишь? — ходит уже по баяснику: «Ууу! Хто-оо тут не спит?!»

— Брешешь ты, Антонина. То дед наш ходит, а ты брешешь.

— Спи же ты, шалопутная! Че деду ходить? Дед наш в степи, коней караулит, а Ермолай ходит... Ой! В окошко заглянул. Ух, какой злой! Его дядька послал. Дядька его, сатана, голодный. Послал его детку принести. Какая не спит, ту он и съест... Ту-ю, ту-ю, бай-ю-бай... ту-ю, ту-ю... он и съест...

— Бабуля! Бабуля! — кричит Тамара.— Ложись и ты, он же, Ермолай, и тебя заберет!

— И я шас лягу. Вот пойду прогоню Ермолая — и лягу. А ты спи, спи...

И Тамара, замирая от страха, засыпала в своей деревянной люльке. А бабка ее, Антонина, с раскаленной кочергой, сияющей розовым и голубоватым светом, уходила на баясник воевать с Ермолаем...

А когда поженились они с Ермолаем Васильевичем, бабка в тот же день померла. Пошла в огород, легла между грядок и померла. А перед этим сказала Тамаре: ежели деток зачнешь от него, вытрави их, бесенят, а не то родятся карликами и с хвостами, Господи Боже мой! Помирала и говорила ей Антонина:

— Околдовал он тебя, злодей, плоти молодой возжелал, сатанинский племянник! Ну да погодь, погодь! Я вот ангелам поклонюсь — может, он и помрет-то скоро или сгинет куда-нибудь. Господи...

Нет, не скоро он помер, муж ее, Ермолай. Долго он жил еще, долго. Бог, говорит, про мою смерть позабыл, не нужна Ему душа Ермолая, веки ей вековать в степи... А степь Ермолая любит, и кони его любят, и Тамара, краса молодая, любит его, Ермолая, старого карлика, ой-хо-хо! Она на колени его сажает

ет, она к себе его прижимает, а он еще крепкий какой! жесткий какой! как доска, и пахнет от него древесной корой, и пеплом, и пылью, и Боже ты мой!.. А помер он в Мертвом Донце, опрокинулся с лодки и канул в воде, унесли его воды в Азовское море... Когда ж это было? — грец его знает! Наверно, лет тридцать назад. Или сорок? — разве упомнишь... Теперь уж сама Тамара, кажись, старей Ермолая. И, стало быть, лет-то ей много. Может быть, сто их?.. А может, и больше. Зараз-то вот не сочтешь и не вспомнишь. Старая, старая! как луна. А смерти еще не видать. Дни и ночи — будто мухи те к меду повадились — беспрестанно являются ей на глаза; тянутся, тянутся друг за другом нескончаемой вереницей — и смерть не пускают к Тамаре, смерть между ними никак не проскочит, никак не протиснется в их череду...

А недавно Тамаре привиделся сон — будто выплыла из реки здоровенная рыба, с чешуей, точно медные пятаки. Легла на берег, на серый песок, хлопает плавниками, стонет и Тамару зовет. Подойди, говорит, ко мне, не бойся, я тебе доброе слово скажу. Только Тамара к рыбе той подошла, рыба оскалила острые зубы, подпрыгнула и вцепилась в ключицу Тамаре. Стала Тамара плакать от боли. А рыба ей говорит: что же ты плачешь, Тамара? Меня муж твой послал, Ермолай! Он в море на дне лежит — ему невесело мертвым быть, хочет он снова на свет родиться. Слышишь, Тамара? Пока не родится твой муж, Ермолай, смерти тебе не видать! Как же ему родиться, отвечает Тамара. Он ведь в море на дне лежит, и со дна ему не подняться. А ты меня в чрево своепусти, рыба ей говорит. Я в чрево твое войду, сама там умру, а ты в тот же час родишь Ермолая, сказала ей рыба и повалила Тамару на землю. И только коснулась Тамара земли, только ударил ей в спину жесткий песок — как сделалось тело ее молодым, косы ее почернели, набухли, и грудь поднялась у Тамары, плоским и гладким стал у нее живот. И долго Тамару мучила проклятая рыба, и больно было Тамаре, и страшно, и от боли старуха Тамара проснулась.

И снова предстал перед нею равнодушный к ее видениям мир, явный, немеркнувший, неподвижный, с маленьким полуденным солнцем, яростно полыхающим в синеве. И снова он изумил Тамару своей бессмысленной ясностью, беспредельностью и покоем неизменных картин. Стоят на могильных курганах, как прежде, как во дни ее юности, бессмертные Бабы — скорбные вехи сарматских кочевий; лижут измученные зноем коровы и козы их гранитные животы, а они, словно упоенные своей долговечностью, потемневшие от дождей и пыли, выщербленные ветрами, смотрят слепыми широкими лицами в безмолвную даль на людские жилища, прилепившиеся к пологим холмам, смотрят безучастно и отрешенно на всю эту вечно живую, озаренную солнцем степь, где скитались, любили, рождались и сгинули в беспрестанных скитаниях сотворившие их народы; колышутся и сгорают травы в жарком бесцветном пламени марева, и сверкает гладкими водами Мертвый Донец, поглотивший карлика Ермолая... Явный, незыблемый и почти уж забытый душою мир, он еще длит свою власть над Тамарой, еще проникает в ее сны и видения, заслоняя и разрушая их, пробуждая в ней память о далеких, исчезнувших днях ее жизни. Но уже прочней и отчетливей память стали сны старухи Тамары, вернее и явственней жизни стали ее видения. С каждым днем все меньше и меньше узнает она этот мир. И уже ей снится не только степь, не только эти курганы, эти ерики и протоки и песчаные берега Донца, но и то, чего она в жизни никогда не видала. Стали ей сниться горы с ледяными вершинами. Могучие и неоглядные, они словно парят над землей, и нет на земле ничего, кроме этих сияющих льдами гор. На горах, на заостренных вершинах, стоят, возвышаясь до солнца, исполинские Бабы, гранитные истуканы, и они говорят Тамаре:

— Никто не родится здесь вновь! Ни тебе, ни карлику Ермолаю уже не узреть этот мир, этот немеркнувший свет, только Бог его видит вечно. Слышишь, Тамара?

И старуха Тамара смеется...

ИЗ ЖИЗНИ ОЛУХА И ЕГО ПРЯТЕЛЯ

I

У Николая Львовича большая печаль: третий день не видать Романа Юрьевича. Николай Львович сидит на веранде за круглым столом, накрытым бар-

хатной малиновой скатертью, курит одну за другой длинные хрустящие папироски, высушенные в духовке до воздушной легкости, и страшно злится на этого засранца Романа Юрьевича. А Роман Юрьевич все не идет. Николай Львович купил ему тибетейку, расшитую бисером, саблю в кожаных ножнах и юлу с огоньками. Ух! какая юла! Раскрутишь ее — вжик-вжик! — и она вся искрится, сверкает — изумрудно-зелеными, красными, синими и желтыми звездами. Роман Юрьевич сроду такой юлы не видал. То-то обрадуется, сукин сын, то-то развеселится: будет скакать, как козел! А Николаю Львовичу — ему что? ему только того и надо: посмотреть, как скачет и радуется этот олух царя небесного — Роман Юрьевич. Николай Львович и сам — хоть и ноги у него тыфу-ты-черт-как-болят! — будет бегать за ним по комнатам, строить рожки своими окостеневшими и пожелтевшими от табачного дыма пальцами и кричать на весь дом:

— Козел! Козел! Роман Юрьевич — козел!

А потом они будут играть с Романом Юрьевичем в *шахматы*. У Николая Львовича будут все фигуры, а у Романа Юрьевича только одна — Магараджа. Всемогущий Владыка Земли и Неба Магараджа Великий Воин. Который ходит, как хочет. Как вздумается Роману Юрьевичу.

Много отважных ратников полягут в сражении с Магараджей!

Круглоголовые пешки — проворные лучники Николая Львовича — окружают со всех сторон Магараджу Романа Юрьевича. Но не дрогнет бесстрашный воитель — всю когорту сметет одним махом. Опечаленный царь Николая Львовича пошлет на бой своих офицеров — грозных витязей в остроконечных шлемах; вслед за ними двинутся туры — воеводы в зубчатых коронах; и поскачут на Магараджу кони, гордо выгнув могучие шеи. Но рассеет и эту рать нестигаемый воин — славный, всесильный и доблестный Магараджа Романа Юрьевича. А в награду за подвиги и победу он возьмет себе в жены царевну — неприступную и грустную красавицу. Ну а царь Николая Львовича — глупый, трусливый царишка — паршивый царек Николая Львовича сам убежит с поля боя...

А потом они будут играть в *коня*. Роман Юрьевич будет сидеть на коне верхом и держать его за уши, как за уздечку: у Николая Львовича уши для этого самые подходящие — большие и жесткие, как ремень, а у Романа Юрьевича они тонкие и прозрачные, как майские листья, и малосенькие, как пяточки, и держаться за них совсем неудобно, и о чем тут еще толковать? В общем, дернет наездник за левое ухо — конь поедет налево, ну а дернет за правое — поедет направо. И будет ехать себе и ехать, пока лбом не упрутся в буфет. Упрутся и станет как вкопанный, потому что конь этот, хоть и послушный, но очень глупый. Он Вестолковый. Сам он не знает, куда надо ехать, а знает только Умный наездник...

Ну и мало ли еще во что они будут играть с баламутом этим, Романом Юрьевичем!

И юлу, наверно, сломают — разобьют ее вдребезги, раскурочат. Да и саблю, конечно, не пощадят, изогнут ее так, что и в ножны она не влезет. А с тибетейкой — что ж, друзья! — с тибетейкой дело такое, с тибетейкой в сад пойду — собирать в нее вишни и абрикосы...

II

Ох, и повезло же студентам Николая Львовича! Отпустил он их с лекции, шалопаев. А они-то и рады-радешеньки, похватали свои чемоданчики, папки, сумочки и портфельчики и бегом-кувырком кто куда. Николай Львович кричит им вдогонку: вы ж смотрите, сукины дети, прочитайте про Древний Египет, как его покорила Македонский, и какие там строили храмы, и каким божествам поклонялись; я спрошу вас, такие-сякие, про жрецов хитроумных египетских и про всех фараонов-бездельников, кто какую династию вывел. А они, шутики-балагуры, говорят: не волнуйтесь, профессор, фараонов мы ваших изучим, им теперь никуда не деться, день-другой подождут — не состарятся, а у нас и без них дел по горло: зацвели, мол, каштаны в городе, и горят их цветы белым пламенем, точно свечи зажгли в канделябрах, как же нам, дорогой профессор, не взглянуть на такое чудо, до свидания, и будьте здоровы, и привет Рамсесу Второму.

Николай Львович на студентов не обижается — он сегодня, друзья, от радости сам цветет, как каштан, понимаете ли. Дома ждет его Роман Юрьевич — и у них два билета в театр! Там в двенадцать часов представление — сказка Андерсена «Огниво», про солдата и хитрую ведьму, про собак вот с такими глазами, про любовь и, конечно, про золото — ого-го! полный ранец! не шутка ли? — привалило же счастье солдату!

Ну да что толковать вам про сказку — Николай-то Львович торопится, вон бежит он, портфельчик под мышкой, зонт складной торчит из кармана, плащ и шляпа в газету завернуты. Эй, таксист, погоди-ка, голубчик... стой же! ять твою мать коромыслом! — что с того, что ногой голосует он, — руки заняты, черт шалопутный ты!.. как тебя, говоришь, Филимон? ну, прости-извини, Филимон, и давай на Кавказскую улицу... Вот мой дом, посигналь-ка, дружок. Бип-бип! — занавеска отдернулась, и в окошке, смотри, Филимон, там в окошке мелькает рожкица, вся смеется и скачет, как мячик, и кудряшки взлетают над нею... Кто он есть, Филимон, разумеешь ли? Олух он или сам... царь небесный?.. Вот и я говорю, Филимон ты мой, нам с тобой разуместь не дано.

III

В театр долго они собирались — и чуть было не опоздали. Винават же во всем — кто б вы думали? — этот старый Осел Оболдуевич, этот Дуб-Дуримар фон Балбесович, Крокодил-Моколил Обормотович, или дурья башка, государи, или как вы еще прикажете величать Николая Львовича? Роман Юрьевич, он ни при чем. Он-то загодя был наряжен. У него белый бант на шее, позолоченной брошкой пристегнут, и беретик с красным помпоном, и костюмчик малиновый в клеточку. Николай же Львович, друзья, он такую развел мороку! Сто часов набривал свои щеки, сто часов поливал себя «Шипром», а потом как достал из шкафа все свое барахлишко паршивое да как начал скакать перед зеркалом — то не так ему, это не эдак, туфли жмут и скрипят, как собаки, галстук пестрый и плохо завязан, а пиджак, хоть и новый совсем, да фасон у него идиотский, можно бочку...

— Слона!

— Бегемота!

... можно шкаф в тот пиджак засунуть.

В общем, вышли они кое-как.

IV

В театре пахло паркетом и бархатом... А на сцене такое делалось! У собаки, у той, что — золото, дым клубами валил из пасти, и глаза ее страшно сверкали, полыхали, вращались, скрипели. Ведьма что-то в дупло кричала, скрежетала зубами, хрипела, и визжала, и танцевала, все грозила солдату bravому, а когда из дупла он вылез, ведьма тут же его схватила, отдавай, говорит, огниво, а не то я тебя, паршивец, растопчу, растерзаю на части. Словом, кончилось дело прескверно: Роман Юрьевич, он ведь герой! что ему эта ведьма поганая, вынул саблю — ать-два — и на сцену, то-то было там шума и гама! Пovyскакивали царедворцы, и принцесса, и старая фрейлина — все ловили Романа Юрьевича, все кричали, что ведьма хорошая, что она пошутила, беззлобная, что солдата она очень любит, и огниво ей вовсе не нужно, тьфу совсем на это огниво. Провались оно трижды-пропадом!

...А потом их из театра вывели. И они поругались крепко, шли домой руки-в-брюки и молча, — каждый сам себе что-то думает — Роман Юрьевич, олух безмозглый, и его закадычный приятель, трус-предатель, Осел Оболдуевич, балванессор древней истории...



Игорь МЕЛАМЕД

...И мрак, и свет

Бабочка

В неумолимом усердии
в одно счастливое мгновенье
я выхватил тебя у смерти
и заключил в стихотворенье.

Ты в нем живешь, не умирая.
Тебе не будет и не надо
ни ослепительного рая,
ни искупительного ада.

Твой краткий день я сделал вечным,
бесплотной тьме не отдавая.
И под сачком бесчеловечным
ты будешь биться, как живая.

* * *

*И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей игре <...>
Считали пульс толпы и верили толпе...*

Мандельштам

Когда считают пульс толпы,
увы, не Моцарт и не Шуберт, –
ты знаешь: музыку погубят
безумья полные рабы.

Но что страшнее во сто крат
в ночах бессонных и постылых –
душа твоя простить не в силах
не ведающих, что творят.

И сам ты с головы до пят
пронзен презрением и страхом.
И, слитый с деревянным прахом,
 всю ночь Спаситель твой распят.

* * *

Когда душою правит бред –
ей никаких не нужно истин.
Ее томит и мрак, и свет,
ей даже воздух ненавистен.

Она не хочет ничего,
полна такого отвращения,
что, Господи! – и твоего
уже не надо ей прощенья.

* * *

В полночный час, среди мертвой тишины,
созвездия, горящие во мраке,
душе всё так же чужды и страшны,
как при Иакове и Исааке.

И розы, расцветающие вновь,
и пенье птиц в предутреннем тумане
все так же лгут про счастье и любовь,
как при Нероне и Веспасиане.

И, полное обиды и тоски,
беспомощное, маленькое сердце,
изнемогая, рвется на куски
все так же, как при Дарии и Ксерксе.



Семеныч на фоне земных божеств

РАССКАЗ

Стоит и сейчас на Петровке старый дом, принадлежавший некогда банкиру Дебре. Предприимчивый коммерсант, он много сделал для процветания российской виноторговли. Но на мраморной доске справедливости ради следовало бы выбить другую фамилию: «В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ СЕМЕНЫЧЕВ АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ».

Кто-то из соседей назвал его однажды Семенычем. Так и укоренилось — Семеныч. Коротко и удобно.

Дом на Петровке был примечателен не только тем, что дал приют такому редкостному экземпляру человеческой породы, но и общей кухней.

Представьте себе кухонное пространство, на котором вполне могло бы состояться учебное сражение двух взводов. В реальности же кухня коммуналки, ошетилившаяся газовыми плитами первого поколения и почерневшими от времени и копоти столами, столиками и тумбочками, была местом постоянных сражений доброй дюжины хозяек. В нужный момент они подтягивали к себе боевые резервы в лице своих чад и домочадцев. И только Семеныч ни с кем не сражался. Живя один, он довольствовался, как божья птичка, малым, и никогда превратности быта не занимали сколько-нибудь заметного места ни в голове его, ни в сердце.

Происходил он из тверских крестьян. Рано лишившись матери, Семеныч вырос под крылом отца Егора и часто вспоминал его добрым словом: «Простой был землепашец, грамоте учился один только год — в церковно-приходской школе, а нам, детишкам, из города не леденцы привозил, а книжки. Да какие интересные!.. Я спать тогда разучился, до утра читал. Некоторые помню по сей день — «Маленькие женщины», «Княжна Джаваха»... А еще каждый раз новую фарфоровую чашечку привезет — такая, знаете, воздушная. Как ангелочек. Держишь ее, а не чувствуешь — пушинка. И такая красота от нее исходит — как от иконы Божьей Матери. И пить из нее как бы жалко. Только бы глядеть и глядеть...»

Не меньше, чем землю, отец любил и понимал дерево. Сына с молодых лет он приохотил и к плотницкому делу, и к столярному. Хорошо обучил, царство ему небесное, всегда верный хлеб. Особенно прочувствовал это Семеныч на фронте, когда доводилось строить блиндажи, чинить мосты для переправы, обеспечивать в осеннюю распутицу жердевое покрытие для армейской дороги. Уважали его как мастера и на мебельной фабрике, куда Семеныч устроился после войны. И дома мебель у него стояла не фабричная — все в своей комнате от стула до буфета Семеныч сделал собственными руками. Хорошо сработал — любому глазу отдых. Особенно впечатлял буфет с резными украшениями, схожими с той затейливой резьбой, какую можно увидеть на старинных деревенских наличниках. Никому из соседей он не отказывал в ремонте мебели, но денег за это категорически не брал: «Ни-ни! Спрячьте бумажки! Я с чужих сдору сколько надо, а со своих не буду!» Столярничал он под музыку. Поставит рядом с верстачком патефон — и пошел стружку снимать. Работяга, а пальцы длинные, нервные — такие чаще у пианистов бывают.

Мало кто знал о тайном увлечении Семеныча. Стена его комнаты была сплошь заклеена женскими портретами, вырезанными из «Огонька». В самом центре красовалась Богоматерь с младенцем, а вокруг нее толпились женщины разных эпох, возрастов и судеб — от жизнерадостной, с ослепительной улыбкой Любови Орловой до скорбящей Марии Магдалины, от таинственной египетской царицы Нефертити до советской толкательницы ядра Тамары Пресс. Особенно щедро были представлены труженицы кино и эстрады. Участковый врач, вызванный к заболевшему Семенычу, разглядел невзначай среди них известную некогда эстрадную певицу. «Эту бабенцию я бы убрал! — посоветовал он Семенычу. — У нее репутация плохого человека. Аморального».

Семеныч огорчился:

— Мало ли чего наболтают!.. Зачем говорить про женщину, что она плохой человек?

— Вы полагаете, что женщина не может быть плохим человеком?

— Ну!

— А вы оригинал! — усмехнулся врач. — Да я вам дюжину таких стерв назову, что ой-ой-ой! Одна Екатерина Медичи чего стоит!

— Кто?

— Французская королева. Сколько она народу отравила!.. А наша с вами Салтычиха, замучившая сотню крепостных? А поганая Иродиада со своей гнуснопрославленной доченькой Саломеей?.. Это же они упростили Ирода отсечь голову Иоанну Предтече!

Гневные доводы начитанного терапевта озадачили Семеныча. Он даже поблдевел, задумался.

— Не знаю... — выговорил он наконец хмуро. — Тут, как бы сказать... Разобраться надо...

Врач не мог знать, что поколебать убеждения Семеныча в отношении слабого пола было делом вовсе безнадежным. Этот человек, которого давно бросила жена, который каждый день имел возможность лицезреть на кухне осатанелую Марфушку, ненавидевшую всех соседей, считал тем не менее женщин чем-то вроде земных божеств. Возможно, такое безоглядное, почти мистическое почитание женщины и восхищение ею заронил в его душу образ никогда не виденной матери. Она умерла родами.

Семеныч и стихи сочинял, как он сам выразился, «на женскую тему». Одно его стихотворение было посвящено Ниловне, матери горьковского героя Павла: «Ему мама во всем помогала. И потом уж она поняла, что напрасно так долго страдала и вообще несчастливо жила».

Но больше он любил читать чужое. Книжки Семеныч брал в районной библиотеке. Читал он неспешно, вдумчиво. Это позволяло ему порой углядеть в тексте нечто, чего не заметили другие. Как-то, возвращая прочитанную книжку Лескова, он сказал: «И чего этот Левша добился? Скажете, подковал железную блоху? А я вас спрошу: «Зачем?» «То есть как? — удивилась библиотечарша. — Такой самородок... Мастер...» «Не сказал бы. Эта блоха раньше, сами знаете, скакала — как живая была. А как подковал он ее, так и перестала скакать, ну?.. Какой это мастер? Зачем халтуру в книжке прославлять?»

Уважительное отношение к добропорядочному, стеснительному Семенычу разделяли почти все обитатели коммуналки. Даже великая человеконенавистница Марфушка — и та относилась к одинокому соседу с непривычной для нее терпимостью. Но, пожалуй, особенно симпатизировала ему Зинаида Федорвна.

Эта экзотическая особа дворянских кровей, характерная балерина, познавшая в начале тридцатых годов шумный успех на эстраде, жила с мужем — художником Владимиром Артуровичем — в большой комнате, около кухни.

Взаимная симпатия столяра и балерины, которую муж называл Пушком, зародилась с первого взгляда. Произошло это в морозный февральский день на виду у многих соседей.

Долгий, настойчивый звонок заставил выскочить из комнат едва ли не всех соседей. Дверь открыл Семеныч и тут же шарахнулся в сторону, потому что ввалившийся мужчина двигался на него, как танк. Мужчина был высоченный,

с добродушным лицом богатыря из русской народной сказки. На нем была ентовая шуба внакидку.

— Мир сему дому! — протрубил он. — Мы ваши новые соседи!.. Пушок, выходи!

Царственно взмахнув руками, он распахнул шубу. Из недр ее неожиданно выпорхнула, как бабочка, тоненькая женщина. На матовом лице ее горели карие глазщи.

— Как ангел с неба! — произнес ошеломленный Семеныч и замер.

Его смутили собственные слова.

— Какой милый! — пропела хриловатым голосом новая соседка. Она подлетела к Семенычу, звонко чмокнула его в щеку. — Дайте-ка мизинчик, быстро! — Она зацепила палец соседа своим мизинцем, трижды тряхнула его руку. — Это значит, что мы будем дружить до гробовой доски! А ты, Олсуфьев, ни разу не назвал меня ангелом. Стыдись и учись у этого джентльмена!

С этого дня Марфушка стала именовать Семеныча «дженельменом». Сначала он робко возражал, а потом привык и перестал реагировать. До вселения четы Олсуфьевых Семеныч ни к кому из соседей в гости не ходил. Зато к новым жильцам стал заходить регулярно. А как не прийти, когда приглашала сама Зинаида Федоровна. Отказать этой женщине он не мог. Тем более что приглашала его балерина не корысти ради — не для ремонта мебели, — это еще можно было понять, а так, для душевной беседы. Принимала она Семеныча достойно, за дубовым столом, покрытым белоснежной накрахмаленной скатертью, и каждый раз повторялась одна и та же сцена: хозяйка уговаривала соседа выпить с ней рюмашечку-другую или французского коньячку, или отечественной водочки — по выбору. И каждый раз, когда речь заходила о спиртном, Семеныч видел, как каменело лицо Владимира Артуровича.

— Пушок, может, не надо, а? — спрашивал он умоляюще у жены и неизменно получал отпор:

— Питие — это что?.. Веселие Руси, забыл?

— Но, Зиночка! Ты же обещала! Вспомни, что сказал врач!

— Уймись, Олсуфьев! Гораздо важнее то, что сказала я!.. Правда, Семеныч?

Но и после этих или подобных им слов Семеныч, смущаясь, отказывался пить.

— Вы сектант? — спросила Зинаида Федоровна.

— Зачем? Никогда не был... Не употребляю я спиртного, извините...

Зинаида Федоровна громко удивлялась. Она не могла взять в толк: русский человек, работяга — и вдруг не употребляет. «Это же нонсенс!» Семеныч догадывался, что это непонятное слово означает что-то плохое, и еще больше смущался. Заканчивалось дело миром: или она выпивала пару рюмашечек с мужем, а Семенычу подавался хорошо заваренный чай с домашней выпечкой и вареньем, или крепенькое заглядывала она одна, а мужчины баловались чайком.

Чай пили из фарфоровых чашечек, и Семеныч, отхлебывая малыми глотками ароматное питье, вспоминал далекое детство, отца Егора и зачарованно слушал, как Зинаида Федоровна была юной девушкой и училась на балерину.

— Я уже тогда не лирическая была, а взрывчатая, и прыжок был высокий — баллон! Ни о кордебалете, ни о восьмерочке-четверочке и слушать не хотела, наглость была безмерная; затмить Марину Семенову — на меньшее не соглашалась. Все шло нормально, пригласили соплуху даже в «Золушку»... И вот репетирую в тренировочном зале, и вдруг на весь зал — такой треск!.. Ну, как пулеметная очередь!.. Чувствую, вот тут, в колене, внутри, чем-то горячим обдало — сорвала себе, дуреха, мениск! Лопнула связка, а вместе с ней — и карьера... Несколько лет лечилась, потом — операция, только обрела форму, прыгнула — и новая травма. Так что повезло божественной Марине: не затмила ее, в эстраду пришлось уйти. А для страховки шитью обучилась. Вот так, любезный друг Семеныч!.. А тот зловеющий треск до сих пор в ушах стоит!

Семеныч внимал с округлившимися глазами, сочувственно вздыхал, кивал, и так ему было сладостно слушать хриловатый голос Зинаиды Федоровны, так хорошо было ему в обществе Олсуфьевых! К тому же совершенно неожиданно выяснилось, что Владимир Артурович — земляк. Дед Олсуфьева был урожен-

цем той же бывшей Тверской губернии. Более того, его деревня Заднее Поле находилась в одной версте от Левашева, где прошли детские годы Семеныча.

— Чему вы радуетесь?— спросила Зинаида Федоровна.— Его дед был помещик-кровопийца и выжимал все соки из простого народа. Вы должны мстить моему Олсуфьеву за вашего поработанного дедулю!

Семеныч, однако, улыбался. Он испытывал к Владимиру Артуровичу почти родственные чувства. Иногда по просьбе Олсуфьева он позировал художнику, и тогда Зинаида Федоровна пристраивалась неподалеку в кресле — или пасьянс раскладывала, или шила.

Шила она лихо — хватала завалявшиеся, под руку подвернувшиеся тряпочки, кусочки, лоскутки и с какой-то веселой наглостью мастерила из них то замысловатое платье, то халат, то шляпку. Наденет на себя только что сшитое — и приплывает на кухню, да еще с неизменной папироской в зубах — ну чем не звезда из голливудского фильма?.. Соседки ахают, обсматривают, ощупывают, никто не верит, что сама сшила.

— Сама-сама! Чтоб мне помереть на этом месте!— подтверждает Зинаида Федоровна и размашисто осеняет себя крестным знаменем.— Платье называется «Осколки Сен-Жермена», а шляпка — «Мечта мадам Бовари»!

Волна общего оживления не доходила только до Марфушки — та стояла в сторонке, шипела что-то под нос. Особенно шипела, когда засекала Зинаиду Федоровну, входившую в комнату Семеныча, намекала, что у них «отношения». Однако мало кто из жильцов этому верил. Сам Семеныч никогда бы не решился позвать в гости соседку — она сама проявляла инициативу.

Когда Зинаида Федоровна в первый раз заглянула к столяру и увидела в таком количестве женские портреты на стене, она даже захлопала в ладошки от восхищения:

— Вот это мужчина! Такой бабский иконостас соорудить, чудо что такое!.. И откуда у вас такая приязнь к нашей сестре? Вероятно, вам везло с женщинами? У вас был счастливый брак?

Семеныч отвел глаза, тихо попросил:

— Об этом не надо...

— Не буду!— Она вглядывалась в женские лица.— Но я не вижу тут никакого принципа отбора! Любовь Орлова — это еще куда ни шло. Но ведь тут у вас...— Она поморщилась, как от зубной боли.— О Боже! Позвольте, дружок, заметить: женщины делятся на две категории — плебейки и королевы. И никакого промежуточного слоя — королевы и плебейки, вот так. Поняли?.. А у вас тут всякой твари по паре... Надо срочно очистить стену от плебеек, все их жалкие морды — в огонь! Попляшете вокруг костра и останетесь в обществе королев!— И, не дав Семенычу опомниться, Зинаида Федоровна стала сдирать со стены портреты.

Это было поразительное зрелище: к доводам участкового врача, рекомендовавшего снять со стены лишь одну фотографию, Семеныч и не подумал прислушаться, а сейчас Зинаида Федоровна запросто изымала из любовно собранной коллекции добрую половину фотографий — и ничего. Хозяин молча смотрел и не мешал.

— Ну как?.. Правда, лучше?— поинтересовалась она, завершив очистительную работу. И, не дожидаясь ответа, заверила:— Лучше!.. Теперь вам легче будет дышать в этой комнате! Хотя, между нами говоря, оставшиеся дамы — тоже того... сомнительные! Кроме Богоматери, конечно! Минуточку!

Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась со своей большой фотографией, которую не замедлила прикрепить рядом с Богоматерью.

— В жизни я, конечно, много лучше, но пусть повисит в центре!

С течением времени такое же главное место Зинаида Федоровна заняла и в сердце Семеныча. Его идея о женщине, которая есть высшее существо, стала постепенно обретать зримые очертания. И то, что эта женщина существовала не где-то, на недостижимом расстоянии, а рядом, через две двери, и то, что ее можно было видеть каждый день, слышать, разговаривать с ней, внесло новый смысл в жизнь Семеныча, наполняло его тихой радостью и покоем.

Да и Зинаида Федоровна все больше благоволила к нему.

— Какая, однако, у вас чувствительность! — поразились она, когда Семеныч в ее присутствии заплакал, слушая «Аве Марию». — С такой обостренной чувствительностью люди долго не живут, дайте-ка я вам погадаю!

Она разложила карты, поглядела и ахнула:

— Так я и знала!.. Друг мой, остерегайтесь слабого пола! — И тут же пояснила: — Видите, как карты легли?.. В близкой дороге у вас тут дама треш. И туз пиковый — это удар вам. И слезы — вон шестерка лежит пиковая. Так что, дорогой мой Семеныч, погибель вам от некой женщины!

Владимир Артурович услышал:

— Пушок, как не стыдно стращать человека?

— Молчи, Олсуфьев! При чем тут я?.. Карты!

Причудам ее не было конца. Как-то привела с улицы молодую цыганку и выдала ей свое вечернее платье из тафты; раздобыла где-то маску вампира и появилась в ней на кухне, приведя в замешательство соседок. А то вдруг ей пришлось в голову обновить Семенычу гардероб. Нашла мужнино демисезонное пальто, резала, кромсала, колдовала — и наконец вызвала соседа на примерку.

Семенычу хоть и было не по себе, что невольно вогнал человека в такие заботы, но он смирился, пришел. А когда увидел, что он должен примерять, просто испугался: одна пола короче другой, воротник кривой, рукава, если приглядеться, разной ширины — клоунская одежда, по-другому не назовешь. Стоял весь красный, а сказать, понятно, не мог — скорее себе язык откусит. Зинаида Федоровна поняла, усмехнулась:

— Да вы наденьте, дорогуша!

Что оставалось делать? Надел, конечно.

Зинаида Федоровна подвела его к зеркалу.

— Попробуйте сказать, что это не герцогское пальто!

Семеныч глянул на себя в зеркало, глазам не поверил. Что за чертовщина: было непотребство, сам же видел только что, а сейчас... ничего подобного. Можно сказать, красивая вещь. Стоит иностранец — джентльмен, чудеса да и только!

— Ну, что?.. Принимаете работу?

Обескураженный Семеныч кивнул.

Так уж получалось — он всегда принимал все, что исходило от этой женщины. Даже курение ее, хоть сам сроду не курил и очень не одобрял курящих.

Зинаида Федоровна была единственной в квартире женщиной, которая курила. Курила она много, сбрасывая пепел где придется и на что придется, оставляя окурки со следами помады на кухне, в туалете, в ванной, в коридоре. Вот уж была пища для Марфушки!..

— Опять надымил! — напустилась она однажды на балерину. — Не имее-те права в общественном месте!

— В клубах дыма я менее четко вижу ваше лицо! — ответила ей с покоряющей невозмутимостью Зинаида Федоровна. — И это несколько облегчает мне жизнь.

Марфушка возмутилась, полезла с кулаками. Хорошо, что неподалеку оказался бдительный Семеныч. Он встал между женщинами:

— Не надо, Марфа Ивановна, рукоприкладства, это оскорбляет личность!

Марфушка осадил его:

— Молчи, дженельмен! Где она, личность-то? Одна и есть неприличность!

Но настоящие огорчения начались позднее, после концерта в Эрмитаже, в котором принимала участие Зинаида Федоровна и на который был торжественно зван Семеныч.

О подготовке балерины к этому концерту возвестили на коммунальной кухне стойкие запахи поджариваемых куропаток.

Поначалу соседки терялись в догадках: почему Олсуфьевы больше месяца питаются одними куропатками? Посвященным оказался один Семеныч. Он и объяснил любопытствующим, что после долгого, почти десятилетнего перерыва Зинаида Федоровна выступит снова на эстраде. Она покажет новый танец, который называется «Птица Лулу». Для этого танца она шьет по художественному рисунку мужа особое платье. В нем должно быть много перьев — не из бумаги или материи, а настоящих. И вот Олсуфьевы накупили кучу куропаток,

перья выдергивали и красили в разные цвета, а мясо, конечно, ели — не выбрасывать же добро на помойку.

К походу в Эрмитаж Семеныч готовился полдня — принял душ, облачился в свежее нижнее белье, побрился два раза, складочки на брюках так нагладил — хоть на витрину выставляй, пальто надел то самое, «герцогское», непосредственно перед выходом из дому вылил на себя полфлакончика «Тройного» одеколона, не пожалел для такого события.

Сидел он по контрамарке совсем близко от сцены, в третьем ряду партера. Был гордый, что пригласила его сама балерина Зинаида Олсуфьева. Еще ни разу за всю жизнь ему не доводилось видеть такой танец.

Но сначала на сцену вышел узкоплечий мужчина с черной ниточкой усов на толстомсямом бабьем лице. Раскланялся, потом уселся за рояль и заиграл — громко, быстро. И тут вылетела на сцену Зинаида Федоровна. Она и была птица Лулу. Завертелась, закружилась, как волчок. Потом стала прыгать. Прыгнет и зависнет, как птица в полете.

У Семеныча пошла голова кругом — и радовался, и жуть как опасался, что вдруг оступится на сцене и упадет. Ему трудно было поверить, что перья на этой птице Лулу были те самые — от жареных куропаток. Разноцветные, они сверкали, как на солнце, потому что птица была сказочная. За ней гонялся какой-то мужик с волосьями до плеч. Штаны на нем были, как белые кальсоны в обтяжку. И он все норовил схватить птицу-Зинаиду Федоровну и засадить ее в золотую клетку. Но Лулу ни в какую не давалась, смешно увертывалась. И все это было не грубо, как в жизни, а в танце, под красивую музыку.

Зинаиде Федоровне долго аплодировали, а громче других — Семеныч. Но совсем неожиданно праздник для него закончился конфузом. Многие из зала стали подносить Зинаиде Федоровне цветы — тюльпаны, нарциссы, розы. А он не догадался купить, стоял с пустыми руками в своем третьем ряду дурак дураком и сгорал со сраму.

Семеныч бросился опретью к гардеробу — надо было вернуться домой раньше, чем Зинаида Федоровна, запереться у себя, чтобы, упаси Бог, не пасться сегодня на глаза соседке.

Это у него получилось.

Заснул Семеныч под утро. А когда проснулся, быстренько оделся, выскользнул из дому и отправился прямым ходом на рынок. Там он купил розы и, возвратившись домой, стал ждать подходящего момента, чтобы вручить цветы Зинаиде Федоровне.

Она, однако, не появилась — ни утром, ни днем.

Стало уже смеркаться, когда Семеныч, не выдержав, с осторожностью постучал в дверь к Олсуфьевым. Открыл Владимир Артурович. Он выглядел больным — небритый, бледный. Запавшие глаза его смотрели куда-то в сторону. Олсуфьев с трудом выдал из себя несколько слов: жены дома нет. Когда будет — неизвестно... Семеныч догадался, что Зинаида Федоровна не пришла после вчерашнего концерта домой. С ней случилось что-то неладное, о чем Владимир Артурович, безусловно, знал. Но расспрашивать об этом страдающего земляка Семеныч по деликатности своего характера не стал.

Она явилась аж на пятый день — осунувшаяся, необычно тихая, и у Семеныча защемило сердце. Розы за это время увяли, некоторые лепестки даже осыпались, и он побоялся преподнести такие некачественные цветы.

Потом все слышали — из комнаты Олсуфьевых долго доносился непонятный шум, кто-то закричал, что-то с грохотом упало. Семеныч ходил сам не свой по коридору, хотел к ним постучать, узнать, может, надо чем-то помочь, но так и не решился.

В середине дня в коридор выскочил багроволицый Владимир Артурович, сорвал с вешалки свой плащ, но никак не мог рукой попасть в рукав. На пороге комнаты показалась с всклокоченными волосами Зинаида Федоровна.

— Никому, кроме Бога, не позволю себя пасти! — закричала она пронзительно и, перехватив встревоженный взгляд Семеныча, сообщила ему доверительно: — Я изгоняю мужа из своего жилища! Он будет жить у своей разлюбезной мамочки, она достойная женщина, во всяком случае, непьющая, да здравствует моя бывшая свекровь Ирина Станиславовна, ура!

Она покачнулась, ухватилась за ручку двери, и Семеныч понял: хмельная... Владимир Артурович совладал наконец с рукавом плаща и выскочил на лестничную площадку. Марфушка была тут как тут — стояла, подбоченясь, и торжествующе наблюдала происходящее.

— Финита ла комедиа! — произнесла с отвращением Зинаида Федоровна и, войдя к себе, с силой захлопнула дверь.

А дальше все для Семеныча происходило как в дурном сне. То был странный промельк дней и ночей, настоянных на тревожном ожидании беды, которая — как ему казалось — неминуемо должна была постичь Зинаиду Федоровну.

Она долго не показывалась на люди. Никто не ведал, что делала она там, в недрах своей комнаты.

Позвонил по телефону Владимир Артурович, попросил позвать Семеныча. Семеныч взял трубку.

— Голубчик! — услышал он умоляющий голос Олсуфьева. — Окажите дружескую услугу... Вы же знаете — Зинаида Федоровна беззащитна, как ребенок... Приглядите, пожалуйста, чтобы ее там, у вас, никто не обидел. И еще... Запишите мой телефон... И если, упаси Бог, что-нибудь такое... Ну, вы понимаете... Позвоните мне тогда, пожалуйста!

В один из вечеров к Зинаиде Федоровне пожаловал гость, которого Семеныч сразу узнал — тот самый мордатый пианист с усиками. На нем был модный клетчатый костюм, галстук-бабочка. В руке он держал чемоданчик, обитый дерматином.

Зинаида Федоровна долго не открывала дверь, а он без устали стучал костяшками пальцев, умоляя:

— Зинуля, открой!.. Это я, Макс!.. Открой, Пушок!

Семеныча точно обухом шибануло по голове. Ну, козел!.. Какое он имеет право называть Зинаиду Федоровну этим домашним именем, которым называл ее Владимир Артурович?

Макс собрался уже уходить, но дверь неожиданно приоткрылась, высунулась женская рука, втянула в комнату отчаявшегося гостя, после чего дверь захлопнулась.

Вскоре из квартиры Зинаиды Федоровны донеслась громкая музыка — то ли радио включили на полную катушку, то ли патефон. Музыка звучала с небольшими перерывами до глубокой ночи. Ежась в своей одинокой постели, Семеныч с тоской думал о том, как худо сейчас Зинаиде Федоровне, если ей приходится принимать такого гостя, — очень ему не понравился этот Макс.

А ранним утром соседи были ошеломлены, увидев на кухне Макса в одних трусах и майке. Впрочем, голое тело его разглядеть было невозможно, ибо оно было напрочь закрыто буйно разросшимися иссиня-черными волосами. Напевая бравурный мотивчик из какой-то оперетты, Макс жарил на большой сковороде яичницу с колбасой. Когда Семеныч проходил мимо, в нос ему шибанул терпкий запах давно не мытого тела.

Первая не выдержала Марфушка. Грозно придвинувшись к усатому, она сказала с вызовом:

— А может, мне тошно смотреть на ваши волосья! Посторонний мужчина, а так нахально ведете себя на чужой кухне, тьфу!

Она смачно сплюнула. Плевок угодил на ногу усатого, и тот, оставив на плите сковороду, поспешно удалился.

— И Зинаида хороша! — сказала другая соседка. — Такого мужа выгнала, а этого...

Она не закончила фразы — на кухне появилась Зинаида Федоровна. Она и сейчас была хмельная — шла неуверенными шагами, держась за стенку. Такой ее Семеныч еще ни разу не видел: распахнутый на груди халат, из-под которого выглядывал скособоченный бюстгальтер, глаза какие-то непривычно маленькие, почти незаметные; бровей и ресниц почему-то вовсе не видать — словно сбрила их...

Она поздоровалась кивком с одним Семенычем и сказала:

— Довожу до сведения некоторых! Макс — никакой не посторонний, а мой аккомпаниатор! К тому же гость! И, если угодно, мой любовник! И никаких

выпадов против него не потерплю!.. Наш бронепоезд стоит на этом... забыла, но вы меня поняли! — Она простерла руку к плите.— Макс, забирай нашу яичницу и следуй за мной!

Из-за спины ее вынырнул уже облачившийся в костюм Макс и, схватив сковороду, поспешил за Зинаидой Федоровной.

Семеныч проводил их растерянным взглядом. Была бы его воля, он бы, конечно, шуганул этого жука, но как это сделаешь? Только что объявила его любовником... Позвонить Владимиру Артуровичу? Рассказать все, как есть... Он же просил о дружеской услуге. А как расскажешь такое обидное законному супругу? Так любит ее — как с дитем малым возился, а тут вдруг услышит про чужого мужика...

Семенычу так и не достало решимости позвонить.

Между тем с каждым новым днем ситуация становилась все более угрожающей. Зинаида Федоровна пила со своим любовником напропалую. Время от времени Макс выносил дорогие вещи из дому, а возвращался со спиртным, и опять оба пили — под музыку и пение. Случались и драки. Как-то вечером Семеныч пришел на кухню сварить кофе и столкнулся лицом к лицу с Зинаидой Федоровной. Под глазом у нее красовался внушительных размеров синяк.

— Что уставились? — спросила она с вызовом.— Разве не знаете, что на Руси мужик всегда дубасит свою сожительницу?

Как же Семеныч страдал! Такая женщина на его глазах погружается в трясины — захлебывается, тонет... А он тут, он рядом и не может спасти, выручить, ничего не может...

Самое страшное произошло в канун женского дня Восьмое марта.

Зинаида Федоровна вышла из дому, неся большую золоченую люстру с хрустальными подвесками. Она долго не возвращалась. Ближе к вечеру ее, мертвецки пьяную, приволокли в квартиру два здоровенных мужика:

— Забирайте вашу мадам!

Макс суетливо бегал вокруг них, хватал за руки то одного, то другого, обвинял, угрожал:

— Это вы ее подпоили!.. Зина, это они забрали у тебя деньги? Скажи, Зинуля, я тогда вызову милицию!

Никого, однако, он не вызвал. Мужики, как пришли, так и ушли, а обеспамятевшую Зинаиду Федоровну Макс и Семеныч перенесли в комнату, уложили на расстеленную кровать.

Макс теребил лежащую:

— Зина, у тебя остались какие-то деньги?.. Ты меня слышишь?

— Плохо ей...— сказал Семеныч.

— А вы идите! — обернулся к нему Макс.— Сам справлюсь, идите!

Но Семеныч вдруг сказал:

— Не пойду.

Зинаида Федоровна застонала.

Макс наклонился:

— Очухалась?.. Зина, где деньги за люстру?.. Ты же обещала, что принесешь коньячок. Дай мне денежку, я сам сбегаю. Надо же отметить женский день!.. Зинуля, ты меня слышишь?

Зинаида Федоровна привстала, обвела мутными глазами комнату, увидела опечаленное лицо соседа.

— Се... меныч, дружок... Умоляю... Освободите меня от этого... вульгарного человека...

Семеныч вздрогнул. Женщина умоляла его о помощи. И какая женщина — Зинаида Федоровна!.. Тело его напряжилось, он резко повернулся к Максусу:

— Слыхал?.. Вали отсюда!

— Она пошутила! — взвыл мордатый.— Зинуля, скажи ему, что ты пошутила!

— Уйди, шваль...— устало проговорила Зинаида Федоровна и прикрыла глаза.

Семеныч схватил лежавшие на подоконнике массивные портновские ножницы, угрожающе подступил к Максусу:

Тот отскочил в сторону.

— Вы что?! Она моя жена... Неофициальная...

— У ней официальный муж есть! Не уйдешь — прирежу!

Опасливо косясь на ножицы, Макс открыл чемоданчик и стал торопливо швырять туда свое барахло, разбросанное по комнате:

— Плащ... Где мой плащ?

— В коридоре... На вешалке... — подсказал Семеныч. — Быстро!

Он выпроводил мордатого в коридор, сам снял с вешалки плащ, швырнул Макс, распахнул входную дверь.

— Вы не думайте... Я еще вернусь... — неуверенно пообещал усатый и, пятясь, спиной выбрался наконец на лестничную площадку.

Семеныч закрыл дверь, наложил цепочку.

Оглянувшись, он увидел вездесущую Марфушку. Прислонившись к двери своей комнаты, она с интересом смотрела на соседа, почему-то молчала.

Не обращая на нее ни малейшего внимания, Семеныч вернулся в комнату Зинаиды Федоровны, закрыл за собой дверь.

Она лежала в той же позе, спала.

Семеныч был озадачен. Что теперь? Уйти к себе?.. А она проснется... И как себя поведет? Вдруг выскочит на улицу раздетая? Мало ли что может сделать человек в таком состоянии... Но сидеть тут всю ночь — это тоже казалось невозможным.

И все же он остался. Электричество выключать не стал — в темноте и во все неудобно: в чужой комнате, с чужой женой. Он устроился в кресле, неподалеку от кровати.

Восковое, без кровинки лицо Зинаиды Федоровны пугало Семеныча своей безжизненностью. Подавшись корпусом вперед, он прислушался и, уловив ровное дыхание спящей, чуть успокоился.

Из коридора через дверь до него доносились тихие, приглушенные голоса — ну и черт с ними, пусть себе говорят, что хотят. Сейчас это его нисколько не волновало.

Сидел, сидел и задремал. Он не помнил, сколько проспал. От долгого сидения стали затекать ноги. Семеныч встал. Тихо ступая, чтобы не разбудить Зинаиду Федоровну, он прошелся по комнате и вдруг услышал слабый голос:

— Макс...

Он обернулся и встретился глазами с Зинаидой Федоровной.

Она сидела на кровати, пристально смотрела на него мутными глазами.

— Нет, это не Макс... А где Макс?

Ее вопрос парализовал Семеныча.

— А вы... Зинаида Федоровна... Вы мне велели, чтоб он ушел... Забыли?

Она неожиданно рассмеялась:

— Так вы его выставили?! Молодец, Семеныч! Хочу выпить за здоровье моего рыцаря!.. Я тут кое-что припрятала, сейчас... — Она поднялась, пошатываясь, дошла до шкафа, порылась, извлекла из глубин его бутылку и, вернувшись к кровати, плюхнулась на нее. — Теперь, Семеныч... А почему, собственно, Семеныч? Я давно хочу спросить... Вы какое имя получили при крещении?

— Семенычев, Андрей Саввич.

— Так вы Андрей? — обрадовалась Зинаида Федоровна. — Вос... хитительно! Апостол Андрей Первозванный... Андрей Рублев... Князь Андрей... Это мой любимый литературный персонаж — князь Андрей! Такое замечательное имя — и вдруг какой-то Семеныч, это же просто абсурд! Не надо!.. Андрюша, возьмите на столе две рюмки, будем пить за ваше здоровье!

— Зинаида Федоровна, непьющий я...

— Тогда за мое здоровье! Надеюсь, за здоровье своей дамы рыцарь не откажется выпить?

Семеныч малость поколебался и принес рюмки.

— Молодечик! Наполните бокалы!

Семеныч налил вино в рюмки. Чокнулись, выпили.

— Какая гадость! — поморщилась Зинаида Федоровна. — Но дело не в этом... Сейчас я объясню, почему я к вам так расположена. Потому что вы способны к добру — вот почему! А большинство людей к добру не способны... Я,

например... Хитрый дьявол позаботился, чтобы грех был соблазнительным! Очень соблазнительным! А теперь, Андрюша, отвернитесь, мне надо раздеться!

— Я пойду...— произнес он глухо.

— Никуда вы не пойдете!

Семеныч сделал несколько шагов к двери.

— Я что сказала?! — повысила она голос.

Он остановился.

— Почему вы такой непонятливый?.. Отвернитесь! Я разденусь и юркну под одеяло, теперь вы поняли?

Семеныч отвернулся. Стоял, дрожа всем телом.

Зинаида Федоровна разделась догола, легла под одеяло и откинула край его.

— Можно повернуться!

Он повернулся.

— Приблизьтесь ко мне, Андрюша! Ну! — торопила она. — Я жду, ну! —

Она соскочила на пол — босоногая, голая, подбежала к нему, прижалась горячим телом. — Андрюша, не противься, пойдем ко мне! Пойдем, голубчик!.. Я хочу тебя... Ты мой князь! Подари мне себя!

— Я... Как же это?.. — чуть слышно выговорил он. — Никак невозможно...

Владимир Артурович...

— А ну его! — поморщилась Зинаида Федоровна. — Не хочу слышать! Все эти художники — интеллигенттики. Разные там Артурычи. Максик-шмаксик — они не мои. Они фантэмы!.. А ты правдышний... Мужик! Натуральный человек!.. И ты мой!

— Зинаида Федоровна...— произнес он обессиленно, глядя на нее печальными глазами.

Она знала свое — тянула его к кровати, но ноги Семеныча налились свиновой тяжестью. Он не мог сдвинуться с места.

— Не надо, Зинаида Федоровна...

— Надо, надо! — твердила она и жадно целовала его в губы. — Кто меня назвал ангелом, забыли?.. Вы будете единственным мужчиной на нашей планете, который переспал с ангелом, как лестно!

— Зинаида Федоровна... Нехорошо так... Некрасиво получается... Я лучше пойду... А вы лягте в постель... Поспите, лучше станет... А я пойду...

— Нехорошо, да?! — Зинаида Федоровна с силой оттолкнула его, глаза ее выкатились, как у Макса, на лице проступили багровые пятна. — Каков негодяй! Ему «некрасиво»!.. Ах, ты ничтожество, мужичье! — Она ударила Семеныча по щеке наотмашь, изо всех сил, кричала сквозь слезы: — Я хотела тебя осчастливить, а ты!.. Поди прочь, плебей! Вон отсюда!

Ужасаясь, он смотрел на ее лицо с застывшим в крике ртом. И это было уже не лицо, а белое пятно. Оно ширилось, заполняло собой все пространство комнаты. Ничего не видя, он шел к двери наугад. Наткнулся на шкаф, оступясь, опрокинул стул, кое-как нащупал спасительную дверную ручку и вывалился в коридор...

Спустя три дня соседи обратили внимание на непривычно долгое отсутствие Семеныча. Кто-то обеспокоился, постучал к нему в дверь. Потом в дверь стали стучать по очереди все. Но и это ни к чему не привело — Семеныч не отзывался. По наущению Марфушки был вызван управдом. Он пришел со слесарем. Вдвоем они взломали замок, проникли в комнату.

К стене была приставлена стремянка. К ней была прилажена петля из обрывка электропровода. В петле висел Семеныч. Он висел на фоне фотоизображений своих земных божеств. Окоченевшее тело его закрывало от досужих взглядов лик Богоматери и портрет Зинаиды Федоровны.

Около ног его печалилась вырезанная из «Огонька» Мария Магдалина, а над головой Семеныча ослепительно улыбалась королева экрана Любовь Орлова.

Ромен ГАРИ

Другая игра

РАССКАЗЫ

Бег против часовой стрелки

О Ромене Гари всем известно, что это классик XX века, уроженец России (род. в 1914 г.), одаривший французскую литературу двумя незабываемыми именами (второе – Эмиль Ажар). Французы ему до сих пор этого простить не могут – не разгадали в Ажаре Гари и только после его самоубийства (1980 г.) из его же текста узнали, что он обвел их вокруг пальца. Обида все еще так свежа, что о Романе Касеве (настоящее имя Гари) почти не пишут книг и ни словом не упоминают в чрезвычайно популярном у франкофонов журнале «Магазин Литтерер». Во французской литературной энциклопедии его окрестили «лирическим клоуном» и «фокусником с марионетками».

Кажется, русский читатель, свободный от обид, больше открыт сегодня отнюдь не клоунскому искусству этого серьезного, тонкого мастера. Во всяком случае, славянский дух в сочетании с французской эстетикой всегда дает добрые плоды – как в литературе, так и в кинематографе – и не может оставить нас равнодушными. На русский язык переведены как отдельные рассказы, так и многие романы Гари, например, «Европейское воспитание» (*Education européenne*), «Корни неба» (*Les Racines du Ciel*), «Обещание на рассвете» (*La Promesse de l'Aube*), «Жизнь впереди» (*La Vie devant soi, Emile Ajar*) и другие.

Настоящие три рассказа взяты из сборника «Птицы прилетают умирать в Перу» и представляют собой некоторое единство: попытку взглянуть на события определенного исторического момента с различных точек зрения. Или так: один и тот же психологический тип человека, помещенный в разные национально-исторические ситуации в пределах одного исторического периода. Психологический тип – идеалист; исторические рамки – вторая мировая война. Разумеется, можно копать и глубже: еврейский вопрос, советская оккупация Германии, психологические драмы войны и т. д., – но мы ищем сходство, а не различия. Тип идеалиста, верящего в добро и человеческий разум, не способного принять циничные законы мира, вообще характерен для творчества Гари. Новеллы как бы продолжают некоторые темы из романов, но более сжато, лаконично, расставляют точки над «i», оттачивают идею. Некоторые образы, метафоры могут повторяться, переходить из одного произведения в другое; например, тип Глюкмана из новеллы «Старая-престарая история» до этого промелькнул в «Корнях неба»: у иезуита лицо, «словно вытесанное топором и похожее на те каменные изваяния, чьи следы» находят в недрах земли. Гари вообще заметил, что «в определенном возрасте на лице окончательно застывает какое-то одно выражение, изменить которое непросто». У героев всех трех новелл, независимо от их возраста, – такие лица. Все они пытаются пережить случившееся с ними потрясение. И чувствуют они приблизительно одно и то же: «Мы воспринимали все это лишь как отвратительные, чудовищные случайности истории, как исключение. Мы продолжали верить, что тут просто нарушены правила игры, что идут удары ниже пояса. Нам и в голову не приходило, что в том, быть может, как раз и проявляются подлинные правила игры...» (некоторые герои этих новелл так свыкаются с новыми правилами, что не в состоянии вернуться к старым, и это принимает у них форму психоза; зло становится вечным и абсолютным). «Мы долго жили, уку-

*таннные в моральную вату, но фашисты и коммунисты в конце концов дали нам понять, что правда о человеке, быть может, как раз у них» («Корни неба»). Дело, конечно, не в фашистах и коммунистах, а в правилах игры вообще. Наверно, каждое поколение рано или поздно вылезает из идиллической ваты своих идей и сталкивается с постоянно меняющимися законами внешнего мира. Законы меняются – трагедии остаются. А последнее слово – всегда за реальностью – за **другой реальностью, другой игрой**. И всегда: попытка защитить свой внутренний мир от враждебной действительности, от новых правил игры – это **«бег против часовой стрелки»**, как сформулировал сам Гари, размышляя о своем пути в жизни и литературе.*

Идеалист у Гари непобедим, хотя и унижен, растоптан, почти уничтожен физически. Он пытается «придать незначительность тому, что его больше всего истерзало», и благодаря этому выживает морально, духовно. «В конце концов, наверное, существует такое, чего не уничтожить», – пишет автор в другой своей книге. – Право же, можно поверить, что человека ничем не сокрушить».

Жизнеутверждающее начало в рассказах, может, прочитывается и не сразу. Их можно воспринимать очень пессимистически, а можно, наоборот, увидеть в них победу человеческого духа над материей. Видеть и судить мы предоставляем теперь читателю.

М. АННИНСКАЯ

СТАРАЯ-ПРЕСТАРАЯ ИСТОРИЯ

Столица Боливии Ла-Пас расположена на высоте пяти тысяч метров над уровнем моря. Выше не заберешься – нечем дышать. Там есть ламы, индейцы, иссушенные солнцем плато, вечные снега, мертвые города. По тропическим долинам рыщут золотоискатели и ловцы гигантских бабочек.

Шоненбаум грезил этим городом едва ли не каждую ночь, пока два года томился в немецком концлагере в Торнберге. Потом пришли американцы и распахнули перед ним двери в мир, с которым он совсем было распрощался. Боливийской визы Шоненбаум добивался с упорством, на какое способны только истинные мечтатели. Он был портным из Лодзи и продолжал старинную традицию, прославленную до него пятью поколениями польско-еврейских портных. В конце концов Шоненбаум перебрался в Ла-Пас и после нескольких лет истового труда сумел открыть собственное дело и даже достиг известного процветания под вывеской «Шоненбаум, парижский портной». Заказов становилось все больше; вскоре ему пришлось искать себе помощника. Задача оказалась не из простых: среди индейцев с суровых плато встречалось на удивление мало портных «парижского класса» – тонкости портняжного искусства не давались их задубевшим пальцам. Обучение заняло бы так много времени, что не стоило за него и браться. Оставив тщетные попытки, Шоненбаум смирился со своим одиночеством и горой невыполненных заказов. И тут на помощь пришел неожиданный случай, в котором он усмотрел перст благоволившей к нему Судьбы, ибо из трехсот тысяч его лодзинских единоверцев уцелеть посчастливилось не многим.

Жил Шоненбаум на гористой окраине города. Каждое утро перед его окнами проходили караваны лам. Согласно распоряжению властей, желавших придать столице более современный вид, ламы лишались права дефилировать по улицам Ла-Паса; тем не менее животные эти были и остаются единственным средством передвижения на горных тропах и тропинках, где о настоящих дорогах еще и не помышляют. Так что вид лам, навьюченных ящиками и тюками, покидающих на рассвете пригород, запомнится многим поколениям туристов, надумавших посетить эту страну.

По утрам, направляясь в свое ателье, Шоненбаум встречал такие караваны. Ему нравились ламы, только он не понимал отчего: может, потому что в Германии их не было?.. Караван состоял обычно из двух-трех десятков животных, каждое из которых способно переносить груз, в несколько раз превышающий его собственный вес. Иногда два, иногда три индейца перегоняли караваны к далеким андийским деревушкам.

Как-то ранним утром Шоненбаум спускался в город. Завидев караван, он, как всегда, умиленно заулыбался и умерил шаг, чтобы погладить какое-нибудь животное. В Германии он никогда не гладил ни кошек, ни собак, хотя их там водится великое множество; да и к птицам никогда не прислушивался. Разумеется, это лагерь смерти столь недружелюбно настроил его к немцам. Глядя бок ламы, Шоненбаум случайно взглянул на погонщика-индейца. Тот шлепал босиком, зажав в руке посох, и поначалу Шоненбаум не обратил на него особого внимания. Его рассеянный взгляд готов был соскользнуть с незнакомого лица: ничего особенного, лицо как лицо, худое, обтянутое желтой кожей и как будто высеченное из камня: словно над ним много столетий подряд трудились нищета и убожество. Вдруг что-то шевельнулось в груди Шоненбаума – что-то смутно знакомое, давно забытое, но все еще пугающее. Сердце бешено застучало, память же не торопилась с подсказкой. Где он видел этот беззубый рот, угрюмо повисший нос, эти большие и робкие карие глаза, вззирающие на мир с мучительным упреком: вопрошающе-укоризненно? Он уже повернулся к погонщику спиной, когда память разом обрушилась на него. Шоненбаум сдавленно охнул и обернулся.

– Глюкман! – закричал он. – Что ты тут делаешь?

Инстинктивно он крикнул это на идише. Погонщик шарахнулся в сторону, будто его обожгло, и бросился бежать. Шоненбаум, подпрыгивая и дивясь собственной резвости, кинулся за ним. Надменные ламы чинно и невозмутимо продолжали шагать дальше. Шоненбаум догнал погонщика на повороте, ухватил за плечо и заставил остановиться. Ну, конечно, это Глюкман – никаких сомнений: те же черты лица, то же страдание и немой вопрос в глазах. Разве можно его не узнать? Глюкман стоял, прижавшись спиной к красной скале, разинув рот с голыми деснами.

– Да это же ты! – кричал Шоненбаум на идише. – Говорю тебе, это ты!

Глюкман отчаянно затряс головой.

– Не я это! – заорал он тоже на идише. – Меня зовут Педро, я тебя не знаю!

– А где же ты идиш выучил? – торжествующе вопил Шоненбаум. – В боливиjsком детском саду, что ли?

Глюкман еще шире распахнул рот и в отчаянии устремил взгляд на лам, словно ища у них поддержки. Шоненбаум отпустил его.

– Чего ты боишься, несчастный? – спросил он. – Я же друг. Кого ты хочешь обмануть?

– Меня Педро зовут! – жалобно и безнадежно взвизгнул Глюкман на идише.

– Совсем рехнулся, – сочувственно проговорил Шоненбаум. – Значит, тебя зовут Педро. А это что тогда? – Он схватил руку Педро и посмотрел на его пальцы: ни одного ногтя. – Это что, индейцы тебе ногти с корнями повывергали?

Глюкман совсем вжался в скалу. Губы его наконец сомкнулись, и по щекам заструились слезы.

– Ты ведь меня не выдашь? – залепетал он.

– Выдам? – повторил Шоненбаум. – Да кому же я тебя выдам? И зачем?

Вдруг от жуткой догадки у него сдавило горло, на лбу выступил пот. Его охватил страх – тот самый панический страх, от которого вся земля так, кажется, и кишит ужасами. Шоненбаум взял себя в руки.

– Да ведь все кончилось! – крикнул он. – Уже пятнадцать лет как кончилось.

На худой и жилистой шее Глюкмана судорожно дернулся кадык, лукавая гримаса скользнула по губам и тут же исчезла.

– Они всегда так говорят! Не верю я в эти сказки.

Шоненбаум тяжело перевел дух: они были на высоте пять тысяч метров. Впрочем, он понимал: не в высоте дело.

– Глюкман, – сказал он серьезно, – ты всегда был дураком. Но все же напрягись немного. Все кончилось! Нет больше Гитлера, нет СС, нет газовых камер. У нас даже есть своя страна, Израиль. У нас своя армия, свое правительство, свои законы! Все кончилось! Не от кого больше прятаться!

– Ха-ха-ха! – засмеялся Глюкман без намека на веселье. – Со мной этот номер не пройдет.

– Какой номер с тобой не пройдет? – опять закричал Шоненбаум.

– Израиль, – заявил Глюкман. – Нет его.

– Как это нет? – рассердился Шоненбаум и даже ногой топнул. – Нет, есть! Ты что, газет не читаешь?

– Ха! – сказал Глюкман, хитро прищурившись.

– Даже здесь, в Ла-Пасе, есть израильский консул! Можно получить визу. Можно туда поехать!

– Не пройдет! – уперся Глюкман. – Знаем мы эти немецкие штучки.

У Шоненбаума мороз прошел по коже. Больше всего его пугало выражение хитрой пронцательности на лице Глюкмана. «А вдруг он прав? – подумалось ему. – Немцы вполне способны на такое: явитесь, мол, в указанное место с документами, подтверждающими вашу еврейскую принадлежность, и вас бесплатно переправят в Израиль. Ты приходишь, послушно садишься в самолет – и оказываешься в лагере смерти. Бог мой, – подумал Шоненбаум, – да что я такое насочинял?» Он стер со лба пот и попытался улыбнуться. Глюкман продолжал с прежним видом осведомленного превосходства:

– Израиль – это хитрый ход, чтобы всех нас вместе соединить. Чтобы, значит, даже тех, кому спрятаться удалось. А потом всех в газовую камеру... Ловко придумано. Уж немцы-то это умеют. Они хотят всех нас туда согнать, всех до единого. А потом всех разом... Знаю я их.

– У нас есть свое собственное еврейское государство, – вкрадчиво, будто обращаясь к ребенку, сказал Шоненбаум. – Есть президент, его зовут Бен-Гурион. Армия есть. Мы входим в ООН. Все кончилось, говорят тебе.

– Не пройдет, – упрямо твердил Глюкман.

Шоненбаум обнял его за плечи.

– Пошли, – сказал он. – Жить будешь у меня. Сходим с тобой к доктору.

Шоненбауму понадобилось два дня, чтобы разобраться в путаных речах бедняги. После освобождения, которое он объяснял временным разногласием между антисемитами, Глюкман затаился в высокогорьях Анд, ожидая, что события вот-вот примут привычный ход, и надеясь, что, выдавая себя за погонщика со склонов Сьерры, он сумеет избежать гестапо. Всякий раз, как Шоненбаум принимался растолковывать ему, что нет больше никакого гестапо, что Гитлер мертв, а Германия разделена, тот лишь пожимал плечами: уж он-де знает что почем, его на мякине не проведешь. Когда же, отчаявшись, Шоненбаум показал ему фотографии Израиля: школы, армию, бесстрашных и доверчивых юношей и девушек, – Глюкман в ответ затянул заупокойную молитву и принялся оплакивать безвинных жертв, которых враги вынудили собраться вместе, как в варшавском гетто, чтобы легче было с ними расправиться.

Что Глюкман слаб рассудком, Шоненбаум знал давно; вернее, рассудок его оказался менее крепким, нежели тело, и не выдержал зверских пыток, выпавших на его долю. В лагере он был излюбленной жертвой эсэсовца Шульце, садиста, прошедшего многоэтапный отбор и показавшего себя достойным высокого доверия. По неведомой причине Шульце сделал несчастного Глюкмана козлом отпущения, и никто из заключенных уже не верил, что Глюкман выйдет живым из его лап.

Как и Шоненбаум, Глюкман был портным. И хотя пальцы его утратили белую ловкость, вскоре он вновь обрел достаточно сноровки, чтобы включиться в работу, и тогда «парижский портной» смог наконец взяться за заказы, которых с каждым днем становилось все больше. Глюкман никогда ни с кем не разговаривал и работал, забившись в дальний темный угол, сидя на полу за прилавком, скрывавшим его от посторонних глаз. Выходил он только ночью и отправлялся проведать лам; он долго и любовно гладил их по жесткой шерсти, и глаза его при этом светились знанием какой-то страшной истины, абсолютным всепониманием, которое подкреплялось мелькавшей на его лице хитрой и надменной улыбкой. Дважды он пытался бежать: в первый раз, когда Шоненбаум заметил как-то походя, что минула шестнадцатая годовщина крушения гитлеровской Германии; во второй раз, когда пьяный индеец принялся горланить под

окном, что-де «великий вождь сойдет с вершин и приберет наконец все к рукам».

Только полгода спустя после их встречи, во время семидневной войны Йома Кипура*, в Глюкмане что-то переменялось. Он вдруг обрел уверенность в себе, почти безмятежность, будто освободился от чего-то. Даже перестал прятаться от посетителей. А однажды утром, войдя в ателье, Шоненбаум услышал и вовсе не вероятное: Глюкман пел. Вернее, тихо мурлыкал себе под нос старый еврейский мотивчик, привезенный откуда-то с российских окраин. Глюкман быстро зыркнул на своего друга, посплунявил нитку, вдел ее в иголку и продолжал гнусавить слащаво-заунывную мелодию. Для Шоненбаума забрезжил луч надежды: неужто кошмарные воспоминания оставили наконец беднягу?

Обычно, поужинав, Глюкман сразу отправлялся на матрац, который он бросил на пол в задней комнате. Спал он, впрочем, мало, все больше просто лежал в своем углу, свернувшись калачиком, уставясь в стену невидящим взглядом, от которого самые безобидные предметы делались страшными, а каждый звук превращался в предсмертный крик. Но вот как-то вечером, уже закрыв ателье, Шоненбаум вернулся поискать забытый ключ и обнаружил, что друг его встал и воровато складывает в корзину остатки ужина. Портной отыскал ключ и вышел, но домой не пошел, а остался ждать, притаившись в подворотне. Он видел, как Глюкман выскользнул из-за двери, держа под мышкой корзину с едой, и скрылся в ночи. Вскоре выяснилось, что друг его уходит так каждый вечер, всякий раз с полной корзиной, а возвращается с пустой; и весь он при этом светится удовлетворением и лукавством, будто провернул отличное дельце. Сначала портной хотел напрямик спросить у Глюкмана, что означают эти ночные вылазки, но, вспомнив его скрытную и пугливую натуру, решил не задавать вопросов. Как-то после работы он остался дежурить на улице и, дождавшись, когда из-за двери выглянула осторожная фигура, последовал за ней.

Глюкман шагал торопливо, жался к стенам, порой вдруг возвращался, сбивая с толку возможных преследователей. Все эти предосторожности только разжигали любопытство портного. Он перебегал из подворотни в подворотню, прячась всякий раз, когда его друг оглядывался. Вскоре стало совсем темно, и Шоненбаум едва не потерял Глюкмана из виду. Но все же каким-то чудом нагнал его, несмотря на полноту и больное сердце. Глюкман шмыгнул в один из дворов на улице Революции. Шоненбаум выждал немного и на цыпочках прокрался следом. Он оказался в караванном дворе большого рынка Эстунсон, откуда каждое утро нагруженные товаром караваны отправляются в горы. Индейцы вповалку храпели на пропахшей пометом соломе. Над ящиками и тюками тянули свои длинные шеи ламы. Из двора был другой выход, против первого, за которым притаилась узкая темная улочка. Глюкман куда-то пропал. Портной постоял с минуту, пожал плечами и собрался было уходить. Путь следы, Глюкман изрядно покружил по городу, и Шоненбауму до дома было теперь рукой подать.

Только он вступил в тесную улочку, внимание его привлек свет ацетиленовой лампы, пробивавшийся сквозь подвальное окно. Рассеянно глянув на освещенный проем, он увидел Глюкмана. Тот стоял у стола и выкладывал из корзины принесенную снедь, а человек, для которого он старался, сидел на табурете спиной к окну. Глюкман достал колбасу, бутылку пива, красный перец и хлеб. Незнакомец, чье лицо все еще было скрыто от портного, сказал что-то, и Глюкман, суетливо пошарив в корзине, выложил на скатерть сигару. Портной с трудом оторвался от лица друга: оно пугало. Глюкман улыбался. Его широко раскрытые глаза, горящий, остановившийся взгляд превращали торжествующую улыбку в оскал безумца. В этот момент незнакомец повернул голову, и портной узнал Шульце. Еще секунду Шоненбаум надеялся, что, может, он не разглядел или ему померещилось: уж что-что, а физиономию этого изверга он никогда не забудет. Он припомнил, что после войны Шульце как сквозь землю провалился; кто говорил, будто он умер, кто утверждал, что он прячется в Южной Америке. И вот теперь он здесь, перед ним: коротко стриженные ежи-

* Так называемая «Война Судного дня» 1973 года. (Прим. переводчика.)

ком волосы, жирная, чванливая морда и глумливая улыбочка на губах. Не так было страшно, что это чудовище еще живо, как то, что с ним был Глюкман. По какой нелепой случайности он оказался рядом с тем, кто с наслаждением истязал его, кто в течение целого года, а то и больше упрямо вымещал на нем злобу? Какой потаенный механизм безумия вынуждал Глюкмана приходить сюда каждый вечер и кормить этого живодера, вместо того чтобы убить его или выдать полиции? Шоненбауму показалось, что он тоже теряет рассудок: все это было столь ужасно, что не укладывалось в голове. Он попробовал крикнуть, позвать на помощь, всполошить полицию, но сумел только разинуть рот и всплеснуть руками: голос не слушался его,— и портной остался стоять, где стоял, выпучив глаза и наблюдая, как недобитая жертва откупоривает пиво и наливает его в стакан своему палачу. Должно быть, он простоял так, забывшись, довольно долго; дикая сцена, свидетелем которой он невольно стал, лишила его чувства реальности. Шоненбаум очнулся, когда рядом раздался приглушенный вскрик. В лунном свете он различил Глюкмана. Они смотрели друг на друга: один — с недоумением и негодованием, другой — с хитрой, почти жестокой улыбкой, победоносно сверкая безумными глазами. Неожиданно Шоненбаум услышал собственный голос и с трудом узнал его:

– Ведь он же пытал тебя каждый Божий день! Он тебя истязал! Рвал на части! И ты не выдал его полиции?.. Ты таскаешь ему еду?.. Как же так? Или это я из ума выжил?

Хитрая ухмылка резче обозначилась на губах Глюкмана, и словно из глубины веков прозвучал его голос, от которого у портного волосы зашевелились на голове и едва не остановилось сердце:

– *Он обещал, что в следующий раз будет добрее.*

ГУМАНИСТ

В ту пору, когда в Германии пришел к власти фюрер Адольф Гитлер, проживал в Мюнхене некий Карл Леви, фабрикант игрушек. Был он человек веселый и жизнерадостный, верил в человеческую природу, в хорошие сигары и демократию и, хотя мало в нем было арийского, не принимал всерьез антисемитских воззваний нового канцлера; он хранил глубокое убеждение, что здравый смысл, чувство меры и врожденное чувство справедливости столь прочно слились с человеческой природой, что вскоре возьмут верх над минутным ослеплением.

На предостережения соплеменников, звавших его уехать, герр Леви отвечал добродушным смехом. Уютно устроившись в кресле и закупив сигару, он вспоминал верных друзей, найденных в окопах на войне четырнадцатого—восемнадцатого. Некоторые из этих друзей занимали теперь высокие посты и в случае чего вступились бы за него без промедления. Он потчевал своих гостей рюмочкой ликера и поднимал тост «за человеческую природу», в которую беззаветно верил независимо от того, в какую она рядилась форму: в нацистскую ли, в прусскую, в тирольскую шапочку или рабочую кепку. Что верно, то верно: первые годы нового режима не были для доброго друга Карла ни опасными, ни даже трудными. Случалось, конечно, пару раз, что кто-то его попытался оскорбить, унижить; но тогда, видно, «товарищи по траншее» за него замолвили словечко, а может, его собственная привычно-немецкая жизнерадостность и благонадежный вид помогли — только долгое время никаких расследований по вопросу о его происхождении не велось. Меж тем, как все, чья национальная принадлежность оставляла желать лучшего, отправлялись в изгнание, наш друг продолжал мирно жить, где жил, проводя дни либо на фабрике, либо в домашней библиотеке, радуясь сигарам и содержимому винного погреба, охраняемый своим несокрушимым оптимизмом и верой в человеческую природу. Потом началась война, и положение изменилось к худшему. В один прекрасный день Леви не пустили на фабрику. На следующий день на него напали какие-то молодчики в униформе и серьезно избили. Герр Карл позвонил в одно место, в другое, но «товарищи по траншее» уже не подходили к телефону. И тогда Карл

Леви впервые обеспокоился. Пришел он в свою библиотеку и долго смотрел на книги, громоздившиеся по стенам с пола до потолка. Он выглядывался в них внимательно и серьезно: все накопленные им сокровища выступали в защиту человека, оправдывали его, ручались, умоляли не отчаиваться. Платон, Монтень, Эразм Роттердамский, Декарт и Гейне... Как можно не верить этим славным пионерам духа? Просто надо подождать, дать человеческой природе время проявиться, вновь обрести себя во всеобщей смуте и хаосе; для победы ведь тоже нужно время. Хорошее выражение есть у французов: «Гони природу в дверь — войдет в окно». Благодетельство, разум, справедливость восторжествуют и на этот раз, только, судя по всему, не скоро. Главное — не терять надежды, не пасть духом. Ну а кое-какие предосторожности все же не помешают.

Герр Карл уселся в кресло и погрузился в размышления.

Он был весь круглый, с розовым лицом, на котором хитровато поблескивали очки; узкие губы, казалось, хранили отпечаток всех хороших и добрых слов, которые им случалось произносить.

Он долго смотрел на свои книги, коробки с сигарами, на бутылки с тончайшими винами и просто привычные предметы, словно спрашивал у них совета. Потом глаза его заблестели, на губах заиграла добродушно-лукавая улыбка, и Карл поднял рюмку изысканного коньяка в адрес своей многотысячетомной библиотеки, будто хотел уверить ее в собственной преданности.

На протяжении пятнадцати лет у Карла Леви состояла в услужении супружеская чета. Это были уроженцы Мюнхена, честные и трудолюбивые. Жена исполняла обязанности экономки и кухарки и баловала хозяина его излюбленными лакомствами. Муж, герр Шутц, работал шофером, садовником и сторожем. Кроме того, он имел одну подлинную страсть: чтение. Бывало, закончив работу, герр и фрау Шутц коротали вечера в своем уютном маленьком домике в углу сада; она вязала, а он часами сидел над какой-нибудь книгой, не в силах оторваться, и время от времени зачитывал жене вслух возвышенные и благородные места. Книгами снабжал его герр Карл; Шутц любил Гете, Шиллера, Гейне и Эразма. А то, если вдруг хозяину становилось одиноко, он призывал к себе дружище Шутца, и оба, покуривая, вели длинные неспешные беседы о бессмертии души, о Божьем промысле, о свободе и гуманизме: в общем, о высоких материях, знакомых по книгам, которые их окружали и на которые они взирали с благоговением.

Так что теперь, когда пришла беда, герр Карл решил обратиться за помощью к Шутцу. Он взял коробку сигар, прихватил бутылку шнапса и явился в маленький домик на краю сада, чтобы изложить свой план.

На следующий день герр и фрау Шутц принялись за работу.

Ковер в библиотеке был свернут, пол разобран, и в винный погреб спущена лестница. Старый вход в подвал заделали. В погреб перенесли часть книг и коробки с сигарами, потеснив вино и ликеры. Фрау Шутц постаралась обустроить тайник с максимальным комфортом, и через несколько дней погреб превратился в уютную, по-немецки опрятную комнатку. Дыра в полу была прикрыта аккуратно подогнанными паркетинами и вновь застлана ковром. В сопровождении верного Шутца герр Карл в последний раз вышел на улицу и оформил кое-какие документы по фиктивной продаже фабрики и дома своему слуге, дабы уберечь имущество от конфискации; герр Шутц едва ли не насильно всучил бывшему хозяину ответные бумаги, при помощи которых истинный владелец мог бы снова вступить в свои права при благоприятных обстоятельствах. После чего соумышленники вернулись домой, и герр Карл, по-прежнему лукаво улыбаясь, спустился в свое убежище, где намеревался ожидать счастливых дней.

Дважды в сутки, в полдень и в семь часов вечера, герр Шутц отодвигал ковер и поднимал паркетные доски; жена его сносила в погреб вкусные домашние кушанья, для которых у герра Карла всегда имелась под рукой бутылочка доброго вина. А вечером и сам герр Шутц навещал своего благодетеля, и они беседовали о высоких материях: о правах человека, о терпимости, бессмертии души или же о пользе чтения и просвещения вообще; и крошечный подвальчик преобразался от их благородных, вдохновенных речей.

Поначалу герр Карл просил носить ему газеты и даже слушал радио, проведенное в погреб. Но прошло шесть месяцев, новости становились день ото дня печальнее; мир будто и в самом деле шел навстречу своей гибели. Герр Карл велел убрать радио, чтобы никакие отголоски брэнной реальности не смущали его незыблемой веры в человеческую природу. Он продолжал сидеть в винном погребе, скрестив руки на груди и улыбаясь, верный своим нерушимым принципам, и не желал даже косвенно соприкоснуться с этой случайной, лишенной будущего действительностью. Кончилось тем, что он и газеты бросил читать, чтобы духом не падать, и взялся перечитывать сокровища своей библиотеки, черпая в вечных текстах, опровергавших лживую сиюминутность, моральные силы, столь нужные ему для поддержания веры.

Герр Шутц с женой переселились в дом, чудесным образом уцелевший во время бомбежек. На фабрике возникли сначала кое-какие трудности, но у герра Шутца имелись все необходимые документы, согласно которым он являлся полновластным хозяином фабрики после того, как ее прежний владелец бежал за границу.

Отсутствие солнца и воздуха сделало герра Карла еще тучнее; щеки его вскоре утратили былой румянец, зато жизнерадостность и вера в человеческую природу остались непоколебимы. Он упрямо сидел в своем подвале и ждал, когда в мире восторжествуют благородство и справедливость, и, хотя новости, которые ему приносил из внешнего мира верный Шутц, не радовали, он не терял надежды.

Через несколько лет после крушения гитлеровской Германии старый друг герра Карла вернулся из эмиграции и заглянул в особнячок на Шиллерштрассе.

Открыл ему высокий сутулый человек довольно ученого вида, с сединой в волосах. В руках он держал том Гете. Он сказал, что Карл Леви здесь больше не живет и никто не знает, что с ним стало. Уехав, он не оставил адреса, и сколько после войны его ни искали, так и не нашли. Gruss Gott! Дверь за посетителем закрылась, и герр Шутц вернулся в дом. Он направился в библиотеку, где уже ждал приготовленный женой поднос. С тех пор как в Германии воцарилось благополучие, она вновь принялась баловать герра Карла всевозможными лакомствами. Шутц свернул ковер, раскрыл пол и, оставив Гете на столе, спустился с подносом в погреб.

...Герр Карл теперь слаб и страдает флебитом. Да и сердце время от времени дает сбой. Надо бы обратиться к доктору, но он не хочет подвергать милых Шутцев такому риску, ведь если кто узнает, что они много лет кряду прячут у себя в подвале еврея, гуманиста по убеждениям, им несдобровать. Просто надо подождать, не дать сомнениям закрасться в душу; справедливость, разум, естественное человеческое благородство непременно восторжествуют. Самое главное — не отчаиваться. И хотя от герра Карла мало что осталось, он по-прежнему радостно смотрит в будущее и вера его в человека ничуть не уменьшилась. По вечерам, когда герр Шутц спускается к нему в подвал и докладывает дурные новости (оккупация Гитлером Англии оказалась поистине тяжким ударом), герр Карл всегда находит слова утешения, способные разгладить морщины на лбу друга. Он указывает ему на полки с книгами и твердит, что гуманизм всегда побеждает, что без веры в победу и доверия к людям не смогли бы родиться на свет все эти шедевры. И герр Шутц выходит из подвала умиротворенным.

Фабрика игрушек процветает; в 1950 году герр Шутц расширил ее и удвоил товароборот; дела он ведет профессионально.

По утрам фрау Шутц приносит в подвал свежие цветы и ставит их у изголовья кровати. Она поправляет герру Карлу подушки, помогает ему приподняться и кормит с ложечки: есть сам он уже не в силах. Он даже говорит теперь с трудом. Порой глаза его наполняются слезами, и он устремляет исполненный благодарности взгляд на лица этих чудных людей, не обманувших его доверия, его гуманистических убеждений. Ясно, что долго он уже не протянет, но уйдет из этого мира счастливым, сжимая обеими руками ладони своих заботливых друзей, уверенный, что в них не ошибся.

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ

Стоял когда-то до войны на дороге между Гамбургом и Нейгерном городишко, называемый Патерностеркирхен. Славился он стеклодувным производством, и на главной площади, прямо против Бургомистерского дворца, заезжие могли лицезреть легендарный фонтан, изображавший Стеклодува, то бишь приснопамятного мастера Иоганна Крулла, поклявшегося выдуть из стекла собственную душу, дабы стеклолитейное дело, гордость целого края, было подобающим образом представлено в раю. Но скульптура бравого Иоганна, свершающего свой подвиг, равно как и прелюбопытнейший, XIII века, Бургомистерский дворец, хранивший образцы всех шедевров, выдутых в Патерностеркирхене, да и весь крошечный городок, канули в небытие в годы последнего мирового конфликта — случайно, во время бомбежки.

Было четыре часа пополудни, и площадь Стеклодува пустовала. На западе желтое распухшее солнце медленно садилось в пелену черной пыли, накрывшую то место, где был недавно жилой квартал. Команда по расчистке доламывала остатки «Schola Cantorum», Певческой школы, которая славилась некогда по всей Германии тем, что сформировала известные на всю страну немецкие хоровые ансамбли. Школа была основана в 1760 году владельцами стеклодувных цехов, и дети рабочих с малолетства ходили туда разрабатывать легкие под руководством местного кюре. Падал редкий снег: снежинки медленно кружились и в нерешительности замирали, прежде чем коснуться земли. Площадь по-прежнему пустовала; вот пробежала по своим делам, уткнув нос в землю, тощая псина; воровато присела ворона и, подцепив что-то клювом, улетела прочь. На пустыре, где некогда начиналась Ganzgemutlichgasschen, появилась пара. Мужчина нес в руке чемодан; был он сильно в годах и невысок, без шапки, в потертом пальто; шея старательно замотана старым шарфом. Скорее всего от холода: он изо всех сил втягивал голову в плечи. Круглое сморщенное лицо с беспомощными глазами поросло седой щетиной. Выглядел он совершенно потерянним. Старик вел за руку молоденькую белокурую девушку; глаза ее недвижно смотрели вперед, а на губах застыла странная улыбка. На девушке была короткая юбка, слишком короткая для ее возраста, и девчачий бантик в волосах — будто она сама не заметила, как выросла. На вид ей казалось около двадцати. Девушка была ярко, неумело накрашена: на щеках рдели плохо размазанные пятна румян, толстый слой помады кривил рот. Видно, пальцы, наносившие грим, вконец заоченели. Туалет довершали облезлая короткая шубка с куцыми рукавами и рваные перчатки; ноги поверх шерстяных чулок были обуты в мужские башмаки.

Сделав несколько шагов по расчищенной площади, пара остановилась как раз в том месте, где прежде стоял бравый Иоганн, а теперь мокрая земля была изрыта колесами грузовиков, выезжавших на Гамбургскую дорогу. Снежинки нехотя садились на волосы и плечи путников. Снегопад был не снегопад, а так; он даже не мог выбелить город, а лишь подчеркивал разлитую кругом серость.

— Где мы? — спросила девушка. — Вы нашли статую?

Старик окинул взглядом пустое пространство и вздохнул.

— Нашел, — сказал он. — Вот она, перед нами, где и должна быть.

— Она красивая?

— Очень.

— Теперь вы довольны?

— Еще бы.

Он поставил чемоданчик на землю.

— Присядем на минутку, — сказал он. — Тут мимо проезжают грузовики, авось какой и подберет нас. Конечно, можно просто выйти на дорогу... Но разве мог я побывать здесь и не увидеть снова Иоганна Крулла? Я часто играл около него, когда был мальчишкой.

— Ну что ж, любуйтесь на свою статую, — сказала девушка. — Мы ведь не торопимся.

Они уселись вдвоем на чемоданчик и сидели некоторое время молча, прижавшись друг к другу. У них был спокойный и вполне домашний вид людей без

кровя. Девушка по-прежнему улыбалась, а мужчина задумчиво созерцал снежинки. Время от времени он выходил из оцепенения, бил себя руками в грудь и шумно дышал, затем стихал. Казалось, эти действия ненадолго согревали его. Девушка не двигалась вовсе, будто и не мерзла. Ее спутник стащил с себя правый башмак и, морщась, принялся растирать ступню. Порой на площадь вдруг выезжал грузовик, нагруженный обломками; мужчина вскакивал и начинал судорожно махать руками. Но грузовик все равно проезжал мимо. Тогда он садился и опять старательно разминал заочневшую ступню.

Грузовики оставляли позади себя клубы грязи и копоты, и проходило немало времени, прежде чем глаз вновь начинал различать падающий снег.

- Снег все еще идет? — спросила девушка.
- Не то слово! Скоро все будет белым-бело!
- Вот и славно.
- Что-что?
- Это славно, говорю.

Мужчина грустно глянул на худосочную снежинку, подставил ладонь и зажал в кулаке ледяную слезку.

— Красиво, должно быть, — сказала девушка. — Я люблю снег. А еще мне хотелось бы увидеть статую.

Мужчина не ответил ей, достал из кармана небольшую бутылку шнапса и сделал аккуратный глоток. Потом повел вокруг пугливыми глазами и снова прильнул к горлышку.

- Спиртным пахнет, — сказала девушка.

Старик поспешно спрятал бутылку в карман.

- Это прохожий. Выпил, должно. А ты как думала, завтра небось Рождество!

— Припудрите мне лицо, — попросила девушка, — мне кажется, оно у меня все посинело.

- Это от холода, — ответил ее спутник и снова вздохнул.

Он порылся в карманах, нашел пудреницу, открыл. Пуховка несколько раз выпадала из его одеревенелых пальцев.

- Ну вот, — проговорил он наконец.

- Он посмотрел на меня?

— Кто? — удивился мужчина. — Ах, ну да, — спохватился он. — Конечно, на тебя все смотрят. Ты очень красивая.

— Мне все равно. Просто не хочу выглядеть чокнутой. Меня всегда красиво одевали и красиво причесывали. Родители очень за этим следили.

Стая ворон взвилась над пустырем, покружила над площадью и, каркая, полетела куда-то. Девушка подняла голову и широко улыбнулась.

— Вы слышите? — сказала она. — Мне нравится, как они каркают. Будто сразу картину видишь.

- Это точно, — согласился мужчина.

Он боязливо огляделся, снова извлек из кармана бутылку и отпил.

— Рождественскую картину, — продолжала девушка, по-прежнему улыбаясь и глядя в пространство. — Я вижу это так же отчетливо, как если бы видела взаправду. Трубы... из них в вечеряющее небо поднимается дым... Продавец елок катит свою тележку... И лавки все такие нарядные, аппетитные... А в окнах огни и белые снежинки...

Ее спутник оторвался от бутылки и вытер губы.

— Ага, — откликнулся он хриловато. — Все именно так. И еще снеговик: с трубкой и в цилиндре. Это дети вылепили. Мы всегда в детстве снеговика на Рождество лепили.

— Если уж ко мне действительно должно вернуться зрение, хорошо бы под Рождество. Все кругом такое белое, чистое...

Старик мрачно уставился в грязную лужу у себя под ногами.

- Это точно, — согласился он.

- Заметьте, я совсем с этим не тороплюсь. Мне и так хорошо.

Старик вдруг заерзал на чемодане, замахал руками.

— Что ты, что ты! Не говори так! Вот потому ты и не видишь. Это психологическое... Врачи все как один говорили, что лечить тебя придется долго. И

трудно. Но ты обязательно вылечишься. А если ты будешь упрямиться, то даже профессор Штерн ничего не сможет сделать. Я все прекрасно знаю, все, что ты видела, что пережила...

Он сидел на своем чемоданчике, говорил и размахивал руками, и концы его шарфа подпрыгивали в такт.

— Да, конечно, ты пережила шок. Но ведь это же были солдаты... скоты, а не люди... Не все люди такие. В людей надо верить. И вовсе ты не слепая. Ты не видишь, потому что не хочешь видеть. Все врачи подтвердили, что это всего-навсего нервный шок... Если ты сама хоть капельку постарайся, если перестанешь упрямиться... Если захочешь видеть... Профессор Штерн обязательно тебя вылечит. Может, даже к следующему Рождеству. Только надо верить!

— От вас спиртным пахнет, — сказала девушка.

Старик замолк, спрятал руки в рукава и втянул голову в плечи. Он теснее придвинулся к девушке, и они снова замерли на чемоданчике, а снег танцевал вокруг них свой робкий танец.

Очередной грузовик, оставив позади руины Певческой школы, выехал на площадь. Старик снова поднялся. Он не выказал радости, когда грузовик вдруг затормозил, и вроде даже не огорчился, когда тот дал газ. Машина везла обломки, и на площади повисло облако рыжей пыли. Оно коснулось лица девушки, и она принялась тереть глаза. Старик вынул из кармана белоснежный платок и с величайшей осторожностью стал вытирать ей лоб и веки, будто хотел стереть с ее лица малейшие следы грязи.

— Не остановился? — спросила девушка.

— Он нас просто не заметил.

Постепенно их окутал мрак, и снежные хлопья сменились звездами. Сонно прокаркав, разлетелись последние вороны, и на небо взошла луна, чтобы слегка приаккуратить мир и развеять тьму. Проехал еще один грузовик: фары его пристально вперились в путников, но затем равнодушно отвернулись.

— Надо бы пройти чуть дальше, — сказал мужчина. — Они просто едут в другую сторону. Не менять же им из-за нас направление.

Девушка встала в ожидании. Мужчина засуетился вокруг чемодана.

— Сейчас, сейчас! — Он покосился в ее сторону, вынул из чемодана другую бутылку, побольше, и приложился к горлышку. Остановился, перевел дух и приложился снова. Чемодан его был набит игрушками: куклами, плюшевыми медведями, разноцветными шарами и елочной мишурой. Еще там был костюм Деда Мороза: красный с белой оторочкой халат, колпак с помпоном и накладная белая борода. Старик закрыл чемодан, взял девушку за руку и направился к шоссе. Асфальт от снега стал мокрым, и дорога под ногами блестела. Вскоре они подошли к столбу с указателем на Гамбург; до города было шестьдесят километров. Посмотрев на табличку, мужчина прибавил шаг.

— Почти уже пришли, — отметил он удовлетворенно.

На дороге сверкнул фарами грузовик и под монотонно нарастающее рычание широко распахнул горящие глаза. Старик встрепенулся, засуетился, замахал руками. Грузовик пронесся мимо, потом затормозил и медлительно попятился. Старик засеменил к дверце.

— Нам в Гамбург! — выкрикнул он.

Лица шофера не было видно: из глубины кабины синеватый огонек дежурной лампочки выхватывал лишь общие очертания фигуры и дрожащие руки на баранке. Шофер, вероятно, разглядывал путников. Одна рука оторвалась от руля — знак садиться. В кабине было жарко. Девушка прислонилась к дверце, сунула руки поглубже в рукава и заснула, не дожидаясь, пока машина тронется. Старик устроился рядом, втащив чемодан на колени. Он был настолько мал ростом, что ноги его в грязных, потрескавшихся башмаках болтались, не доставая пола. Круглое бесцветное лицо, несмотря на морщины и седую щетину, казалось совсем детским в синем свете лампочки. Его мотало из стороны в сторону, но он изо всех сил старался не толкнуть и не разбудить девушку. От жары и рева мотора, добавившихся к общей усталости и действию шнапса, он совсем разомлел, а разомлев, сделался словоохотливым и принялся болтать с шофером. Рассказал, что зовут его Адольф Каннинхен, что он бродячий торговец из

Ганновера и, что если бы у шофера были дети, он мог бы показать ему свой товар... Но шофер будто и не слушал; лица его было совсем не разглядеть, один только блик от ночника. Порой он бросал быстрый взгляд на девушку, прикорушившую в своем уголке. Старик же болтал без умолку: дела-де у него шли неважнецки, понадеялся вот на праздники, потратился, накупил всякой всячины для Рождества да костюм Деда Мороза в придачу; ходил-ходил по улицам в красном колпаке, с бородой, да только все зря; совсем голодно им обоим стало... Может, в Гамбурге дело пойдет на лад, большой город все-таки. Так что теперь они в Гамбург едут. Это все ради девушки. Она... как бы это сказать... больна, в общем. Родителей у нее убило, а с бедняжкой беда приключилась. Нет-нет, он не собирается вдаваться в подробности... солдаты есть солдаты, какой с них спрос. Но для малышки это был настоящий шок: она вдруг взяла да и ослепла. Вернее, как говорит доктор, у нее случилась психологическая слепота. Она просто не хочет видеть этот мир — вот и все. Очень сложный случай. Не то чтобы она по-настоящему была слепа, но это все равно, что по-настоящему, раз она не может видеть. То есть она не хочет ничего видеть, но врачи говорят, что это все одно слепота, самая что ни на есть настоящая, а никакое не притворство. Они говорят, это такая форма истерии. Вот не хочет видеть — и все тут. Прячется в свою слепоту, вот как они говорят. И вылечить это совсем непросто: тут чуткость нужна, и деликатный подход, и даже самоотверженность... Шофер в очередной раз повернул голубоватый блик своего лица и пристальней посмотрел на девушку, потом снова уставился на дорогу...

Да, вот ведь какая история, малышка такой хрупкой оказалась, ну прямо чистое стекло... То бомбежка, то поди проживи на этих развалинах, а потом еще и солдаты... Да что с них взять, сами не ведали, что творили, война, знаете, они думали, так и надо... Да только вот с тех самых пор малышка крепко-накрепко закрыла свои глазки. То есть она их внутри закрыла, а так-то они у нее всегда открыты. И очень даже, знаете ли, хорошенькие: голубые-голубые. В общем, все это трудно объяснить, психология, одним словом. Но ее вылечат, непременно вылечат, наука так стремительно развивается, оглянитесь вокруг: это же просто чудо, особенно в Германии; у нас такие замечательные ученые, прямо-таки пионеры нового мира, даже враги это признают. Правда, доктора говорят, что настоящий специалист есть только один. Это доктор Штерн из Гамбурга. Таких, как он, больше нет на свете, это не человек, а событие. Все врачи в один голос так говорят. Он даже лечит задаром, если случай интересный. А у малышки случай еще какой интересный, это уж точно. Психологическая слепота — так врачи говорят. Очень редкий случай, прямо-таки уникальный. Как раз то, что профессору надо, потому как у него ко всему психологический подход. А с большими он такой деликатный — деликатность перво-наперво нужна, и не только в этом — говорит с ними, а сам записи делает, а потом, через несколько месяцев, хоп — и больной здоров. Только долго это все, вот беда. Тут ведь надо действовать с величайшей осторожностью. А крошка эта, вы понимаете, ну прямо как надтреснутое стекло, впору в вате хранить. Мне приходится очень следить за тем, что и как я ей рассказываю: все в веселых красках — никаких разрушенных стен, никаких солдат; кругом только славные домики с красной черепицей, садики-огородики да добрые люди. Я все ей описываю в розовых тонах, понимаете? И мне, представьте, совсем это нетрудно, я ведь в душе оптимист. Верю я людям. Я всегда говорил: верьте людям, и они оплатят вам сторицей. Я вот только чего боюсь: что лечение очень уж затянется. Ну да ладно, авось люди в Гамбурге до игрушек охочи. Уж кого-кого, а ребятшек в Германии хватает, это скорей родителей маловато, вот игрушки никто и не покупает. Но я, знаете ли, все равно оптимист. Просто мы, люди, еще не достигли высот, мы еще как бы в начале пути. Но надо все время идти вперед и вперед, и тогда из этого непременно выйдет толк. Я лично верю в будущее. Ведь малышка мне не дочка и даже не племянница, нет, она мне совсем никто, чужая то есть. Если только можно считать чужим своего ближнего...

Он сидел с чемоданом на коленях и размахивал руками, и лицо его было совсем синим от света ночника. Шофер снова окинул взглядом девушку, задержался на нарумяненных щеках, на губах, приоткрытых в сонной улыбке, на ро-

зовой ленточке в светлых волосах. Торговец продолжал что-то лепетать, качался все больше и поминутно тыкался подбородком себе в грудь... Внезапно завизжали тормоза. Старик уже успел заснуть, сложившись вдвое над своим чемоданом. По инерции он подался вперед, стукнулся лбом в ветровое стекло и вскрикнул:

— Господи Боже мой, что случилось?

— Вылазь.

— Вы дальше не поедете?

— Вылазь, говорю.

Старик засуетился.

— Ну что ж, ничего не поделаешь... И на том спасибо...

Он соскочил на землю, поставил чемоданчик и протянул руки, чтобы помочь спуститься девушке. Но шофер склонился вбок, захопнул дверцу у него перед носом и дал газ. Старик остался стоять на дороге со все еще протянутыми руками и разинутым ртом. Он проводил глазами уплывающие красные огоньки, охнул, подхватил чемодан и бросился вдогонку. Снег повалил сильнее; человечек на дороге нелепо дрыгался и размахивал руками под густым снегопадом. Сначала он долго бежал, потом запыхался и замедлил шаг; затем остановился, сел на дорогу и заплакал. Снежинки участливо кружились над ним, сядились на волосы, залезали за воротник. Старик перестал плакать, но начал икать и, чтобы унять икоту, снова принялся колотить себя в грудь. Наконец он глубоко вздохнул, вытер глаза кончиком шарфа, подобрал чемоданчик и снова пустился в путь. Так шел он добрых полчаса, как вдруг заметил впереди знакомую фигурку. Радостно вскрикнув, он бросился к ней. Девушка неподвижно стояла посреди дороги и, казалось, ждала. Вытянув руку, она улыбалась: пушистые хлопья таяли у нее на ладони. Старик обнял ее за плечи.

— Прости меня,— пролепетал он.— Я чуть было не потерял веру... Я так за тебя испугался! Уже вообразил невесть что... Думал, больше тебя не увижу.

Розовый шелковый бант на девушке был развязан. Краска на лице смазалась, помада была растерта по щекам и шее, «молния» на юбке вырвана. Она неловко придерживала сползавший чулок.

— Кто его знает, а вдруг бы он тебя обидел...

— Не надо все время ожидать худшего,— сказала девушка.

Старик энергично закивал.

— Верно, верно,— согласился он.

Он поднял руку и поймал снежинку.

— Ах, если бы только ты могла это видеть! Вот это уж действительно снег так снег! Завтра все будет белым-белехонько. Все такое белое, новое, чистое. Ну а теперь в дорогу! Теперь уж, должно быть, рукой подать.

Вскоре они подошли к верстовому столбу, и старик, вытянув шею, прочел: «Гамбург, сто двадцать километров». Он поспешно сдернул с себя очки и в растерянности широко распахнул рот и глаза. Этот шоферюга увез их на целых шестьдесят километров в другую сторону. Ехал-то он, оказывается, вовсе не в Гамбург. Бедняга, он, наверно, не понял, что от него хотят.

— Вперед,— бодро сказал человечек,— теперь уж и впрямь недалеко.

Он взял девушку за руку, и они продолжали путь сквозь снежно-белую ночь, ласкавшуюся к их щекам.

Перевод с французского М. АННИНСКОЙ



Из нелитературной коллекции

Казенный дом

На жизнь я зарабатываю охранником в больнице. Так получается, что жизненные обстоятельства в разное время ставили меня, в сущности, на одно место — вертухая, вахтера, охранника и я становился частью того, что самому сильней всего в этой жизни ненавистно и что по мне прокатывалось безжалостно катком.

Служба моя в больнице чуть не кончилась в первый же месяц увольнением. Я попал в съемку японского телевидения как литератор. Японцы снимали фильм о России, была там серия и о культурной жизни, понадобился им типаж молодого русского писателя, и в редакции «Нового мира», где опубликовался тогда мой роман «Казенная сказка», посоветовали меня. Надо сказать, что за роман, стоивший мне двух лет работы, получил я двести тысяч: раздал долги да еще и остался в долгах. Надо было искать работу. Намаевшись за два года безденежья, за место в охране держаться я готов был зубами, такая вот получалась история. Японцам же хотелось снять меня, конечно, и на рабочем месте, в том был их бредовый сценарий, как они мне объяснили: русский писатель изучает в гуще народа жизнь. У больницы, в брошенном ларьке, жили бомжи, которых мы, охранники, то и дело гоняли для порядка. Так вот японцы, все облазившие вокруг больницы в поисках природы и раскопавшие этих бомжей, рисовали мне такой сценарий съемок: русский писатель, изучающий жизнь в шкуре охранника, то есть я, берет бутылку водки (водка за их счет — реквизит) и отправляется в гости к бомжам, распивает с ними бутылку и узнает правду о жизни. Я тогда-то начал выходить из образа, уперся — не пойду!

Японцы не верят: вы же, Павлов-сан, написали роман о народе. Стал я им объяснять, но слово «казенный» с русского языка не переводится, а начинаешь им объяснять — не понимают. Показываю на стену больничную — сидим на вахте — на кипяильник и банку, где завариваем чай, на форму свою армейскую, на дубинку — вот, говорю, это все казенное, бездушное, чужое. Но объяснить до конца и самому трудно, будто за волосы себя тащишь. В общем, сняли они меня, разочарованные, на фоне этой стены, в вахтерке, наговорил я им про русскую литературу, уехали: надо им было снимать в Сибири. А на следующий день кто-то донес главврачу, что в больницу проникло иностранное телевидение и снимали в вахтерке какого-то охранника. Тот, испуганный до смерти, говорит, чтобы звали к нему охранника, меня. Кто я такой, я скрывал — и вот пришлось сознаться, что литератор, малость вот прославился, подрабатываю у него в больнице, а японцы ничего тут не снимали другого, а только меня на фоне стены. Думал, врач, человек образованный, поймет, еще и зауважает. Он успокоился, но говорит мне, уже на «вы»: с завтрашнего дня вы уволены. Я обомлел. Ну, сняли меня, они ж даже в больницу не проходили, она ж не государственная тайна, чтоб запрещено было ее стену снимать. Тот уже кричит: нет, государственная! А если покажут по ихнему телевидению? Я уж и страшал его, чем мог, что пожалуюсь японцам и они об этом в своем фильме расскажут, но вышвырнули из больницы на следующий день, отчего вовсе он не испугался.

Уволил меня хозяин нашей фирмы охранной, отставной офицер, который зависел от главврача, но сжалился все же в последний раз, трудоустроил в другую больницу. И усмехался надо мной по-доброму, что хоть я и писатель, но дурак, потому что все дело в деньгах, — главврач простить мне не может, думая, что японцы заплатили мне доллары за съемки в больнице, а должны платить ему, он бы им все, чего бы ни захотели, разрешил.

Японцы нагрянули ко мне через неделю, прилетели из Сибири, надо было до-снять. Когда ж я им рассказал, что после их съёмки свершилось, они даже не удивились. Стали жаловаться, как их тут, в России, все стараются ободрать да притесняют. Испугались, что и я теперь потребую с них вроде как возмещения ущерба, сказали, что если мне важно восстановить свою репутацию на работе, то они готовы написать, составить письмо в Минздрав и что его подпишут руководители их компании с просьбой, чтобы меня не наказывали.

История ж эта в фильм никак не попала, они не стали ее снимать, побоялись как бы лезть не в свои порядки. Все они знали, всему искусству жить у нас обучились, но про казенное так и не поняли, что это такое.

С тех пор я и вправду сжился со шкурой охранника, служу-то уж не месяц, а годы. Бытовой современный фашизм на больничный лад... Была больница. Ходили в нее при Советской власти, как хотели, навещая свободно своих больных, правил особо не соблюдали — как говаривал Салтыков-Щедрин, законы у русских хороши необязательностью их исполнения. Полно было дури в больнице, однако и при Советской власти, да не такой жестокой, это теперь мы стали такие жестокие, потому что, верно, стали умней. Мне рассказывала одна пожилая санитарка историю из восьмидесятых годов, из времени Олимпийских игр. В больницу попал негр из западной страны, с аппендицитом. Тогда враз поменялся больничный рацион: кормить стали курочками, салатами из свежих овощей да фруктами, а главврач и еще кто-то, кого прикомандировали в больницу из «комитета», лично проверяли каждую готовку. Началась не показуха, а прошла по больнице линия фронта идеологической борьбы. Когда негра забрали и перестали навещать из посольства, то рацион тут же поменялся на обычный советский, из макарон, а поскольку больные неудобны уж были как свидетели «хорошего питания», то поступила установка: прием больных временно прекратить, а какие выздоравливают, тех без промедления выписывать. Такая вот чистка произошла больничных рядов.

Теперьшние больницы обзавелись охраной. В самоохране этой, такие времена, больничной, вокзальной, рыночной, стояночной, вооруженной и невооруженной и всякой прочей, кормится половина нашего народа. Охраняет же не иначе как от другой половины — чем не гражданская война? Зарплата московского охранника в три раза больше зарплаты воркутинского шахтера. Шахтер трудится в аду, а получает, как в раю. Охранник сидит сиднем, а получает, как за работу адскую. Потом уж я заметил, что получает самоохранник, как милиционер, как страж порядка. На рынке — значит, рыночного. На вокзале — вокзального.

В больницах в начале этих времен охранники лентяйничали, пропускали всех валом, и никакого порядка не было. Охрана ж пила да гуляла с работы. Но так при Советской власти могли работать, а теперь у нас конкуренция. Хозяева фирм, боясь подряд упустить на охрану, начали порядок наводить. Охранников, с которых и начали, превратили в бригаду, поставив над ней старшего. Превратившись в начальника, тот ужесточает дисциплину путем штрафов в свой карман.

Началось с того, что вовремя, к семи утра, стали выходить на работу сами охранники. В больницу начали пускать только по пропускам и в часы для посещения. Было это зимой, так что людей, пришедших навещать своих родных, содержали в «предбаннике», люто морозили, не давая переступить и порога больницы, хоть в ней нарочно для этого имелся холл. Однако была лазейка — охранники нагоняли строгости, поняв, что тогда покапают в их карманы взятки. И это было видимостью порядка, который за десять тысяч растаивал, как мираж. Но потом начальник уволил парочку за взятки, брать их стали бояться и не пропускали без пропуска или не в часы посещения, даже за сто тысяч. Не пропускали потом к оперированным и только поступившим, на беседу с лечащим врачом. Потом был карантин, ужасающий из-за эпидемии гриппа, когда посетителей перестали пропускать даже по пропускам. Но передачи носить было некому. Их носили сами больные, которые ходячие, или нужно было выйти больному в «предбанник», где его дождался посиневший от холода родственник, и взять передачу самому — а больные-то в халатиках, да еще ведь женщины из гинекологии! Карантин открыл возможность подзаработать гардеробщице: она за умеренную плату носила передачи и вызывала из отделений больных, которых охрана и выставляла за порог на мороз.

Карантин кончился. Теперь нововведение: охрана не пускает на посещение без сменной обуви — говорят, в грязное время года наступает такой режим переобувания. Людей посылают за пакетиками в магазин за углом: купишь два пакетика, зачехлишь в них обувь — проходи. После посещения же больных многие свои пакетики выбрасывают, и тут эти халатные пакетики разбирает под конец дня больничная обслуга, которая сплошь из малоимущих, санитарки, уборщицы, лифтеры, опять же не гнушается и гардеробщица — да еще берут про запас, для родни! Опи-

сать это зрелище, как люди стадом обуваются пакетиками и бредут в отделения, я не в силах — нет таких красок, такого холоднокровия у меня. Слышны не шаги, а сплошное крысиное шуршание по всей больнице — и глухота. Потом поднаторели и стали приходиться со сменной обувью, но грязные сапоги гардеробщица отказывается на хранение принимать. Так что, переобувшись, грязные сапоги несут в руках в те же самые отделения, да еще какие сапоги у большинства: стертые, избитые, когда купить другие не хватает давно средств. И тут унижение народа видно ярко, зримо, беспощадно, как с высоты: заставляют переобуваться и нести в руках у всех на виду свою ж нищету.

Перестали пускать с детьми, ввели правило, что один пропуск дается на одного человека, то есть если даже по пропуску приедут навестить дочь, скажем, отец да мать, то ходят они к ней, как в уборную, по очереди. В уборную, конечно, пришлых не пускают — это в больнице только для сотрудников, об этом администрация заботится тщательно, тут с охраны давно особый спрос. И начинается такое, что посетители, которым запретили входить в туалет, выбегают на улицу и мочатся за углом больницы, а то и прямо под стеной.

Взятки остаются, но их теперь и не дают, а всучивают силой в карман, да еще с мольбою, то есть если удалось вручить охраннику взятку каким-нибудь фокусом-покусом, чуть не приклеить суперцементом к его карману, что и не отдерет, тогда уж пройдешь. Отчего все так зверски и никто от этого зверства, с одной стороны, не устанет, с другой — не возмутится? Что это за жизнь? Дедок натягивает пакетики, из дому принес, купить денег нету, говорит: «У нас в госпитале, в третьем, там порядок, там бахилы дают!» Так вот, был какой-то порядок, но теперь в память о нем и как отродясь, словно это в крови, натягивают, не задумываясь, на ноги пакетики, облегчаются безмолвно не в уборной, а, будто воруя, за углом.

Охрана — народец, на охрану подраженный? Их дают, и они дают. Да еще ведь деньги — платят их, по сути, ни за что, так как это ж халява, а не работа, потому эту халяву и отработывают с таким, с одной стороны, усердием, а с другой — бездушием, что работников тут ценных нет и уволить, сменить за малейшую слабость могут в момент, поставив на их место ребятшек из очереди, которые готовы на то же, так как вовсе не имеют работы, и ведь даже за еще меньшую плату.

Это опричнина, то есть порядок в порядке: такое устройство жизни, когда, чтобы быть небитым, бьешь сам. Все на страхе. Человеку все надо запретить, потому что страшно допустить его к свободе, и те, кто исполняет, исполняют уже из-за страха оказаться ненужными, как бы ведь и на свободе, а кто подчиняется безропотно — из страха, из добытого целыми поколениями знания, что свобода есть отсутствие порядка, именно вынужденная необходимость, а запрет есть необходимость невынужденная, именно насущная. Значит, надо подчиняться ему, как если бы ты сам того же хотел: если б мог сам, будучи начальником, такой запрет — ввести, при должности — исполнить, а будучи простым смертным — завсегда подчиниться.

А в стенах больницы — люди, страдающие, не могущие после операции и встать, иные и на смертном одре. Одна санитарка, у которой в отделении полсотни больных, ухаживать за ними не будет. Одной больничной гнусной баландой они не поздоровеют. Им надо носить еду, кормить их с ложки домашним, свести в уборную или убрать утку, укрыть потеплей, согреть и душевным теплом, чтобы они верили в главное — что должны выжить, что нужны своим родным, которые ведь только и вселяют в болящее тело здоровье, жизнь.

Как это можно постичь? Не знаю. Но все по такому порядку, которого разумом постичь нельзя, живут изо дня в день и выживают, в общем, что-то побеждая, неизвестно что, усиливаясь как люди, то есть развивая в себе, как мышцу, человека — существо, которому всеми мыслимыми и немыслимыми способами дано от природы находить выход из самых безвыходных обстоятельств, когда бы, скажем, не выдерживало и подыхало животное, ломался камень... И это другой наш подорок, не переводимый миру, — душевность.

Сентябрь 1996

Бывшие люди

Людей этих называют божмами. Живут они воровством, попрошайничая, а то и как зверье — на помойках, поедая отбросы, падаль... Все дело в том, что у этих людей нет жилья. А раз нет жилья, то нет и прописки с паспортом. Если нет у тебя жилья да паспорта, то хоть умирай. Но сразу-то не помрешь. И, гонимый голодом,

холодом, беспросветной угрозой побоев от милиции да и от всякого загулявшего молодца, ты и выживаешь, как можешь, до самой смерти.

В советское время люди такого сорта запрятались в тюрьмы, уголовные и лечебно-трудовые, в психушки, что содержались худо-бедно государством, и воздух городов был чист. Тогда же местом их обитания, существования стали добычливые северные края и дальневосточные порты, где было легче затеряться, прокормиться. Север так и не был до конца освоен, на их-то счастье. Бывших человек кормили шабашка, прииски, путина, шахты, куда самых жизнестойких и крепких охотно нанимали местечковые хозяйственники — без паспортов. Вот как бывало, к примеру, в Магадане: с вечера тебя напойт вусмерть, а наутро в море очухаешься одуряченный, где уж принуждают работать на себя всю путину ушлые рыбаки. Но те, кто бичевал в Магадане том, знать, давно померли. Давным-давно стало все не так. Рыбы нет, говорят, да в морях пусто — дороговизна, ни души. Может, сами те рыбаки, запродав в прошлой еще жизни харьковские да курские ненужные им тогда комнатухи и избенки, в одну ночь дружно всенародно обнищав, а за год свято поодиночке спившись, ловят пустыми черными ртами воздух, будто вытасченные из воды рыбины, издыхают на московском тепловатом снежку, выпучивая немые глазища на ставших огромными пешеходов. Конец века.

Нищие да бездомные были во все времена и во всех странах, но как есть пустыни, где невозможно укорениться даже травиночке и ползает, извиваясь гадом, зыбучий один песок, так и непостижимо, против всех законов природы мертва, пустынна наша земля.

Сколько б ни раздавалось в истории возгласов о распятой, потерянной, в крови утопленной или запроданной России, всегда она и была подобна пустыне, только что разъятой на песчинки, а всей громадой своей песчаной была блуждающей, кочующей. И мы все говорим величественно о том, как покорялся простор этот огромный русским человеком, а надо б вообразить вживую. Вот Василий Поярков, славный, отправился заради царской соболиной казны пустыню амурскую покорять, да и как покорять: главное-то — выжить суметь и до земли этой хоть дойти. Пускается он с отрядом казаков по рекам. Дорогой одолевая такое, отчего б всякое животное подошло, люди эти русские доходят до заветной амурской земли. Да, богата земля, а люди, что дошли до земли той с Поярковым, все силы жизни отдали на то, чтобы дойти, а больше и нет у них сил.

«Служилых людей он бил и мучил напрасно и, пограбя у них хлебные запасы, из острожка их вон выбил, а велел им идти есть убитых иноземцев, и служилые люди, не желая напрасною смертью помереть, съели многих мертвых иноземцев и служилых людей, которые с голоду померли, приели человек с пятьдесят; иных Поярков своими руками прибил до смерти, приговаривая: «Не дороги они, служилые люди! Десятнику цена — десять денег, а рядовому — два гроша», — читаем мы в записках очевидца.

А потом отряд за отрядом по следам Пояркова уходил в Амурию. Из походов же этих, «даурских», не первооткрывательских, а уже своих, возвращались живыми поменьше половины людей. Но ведь сколько поглотил жизнью, сил народа только Дальний Восток — и даже воздвигнутая под конец века ценой невероятной «скрепляющая» гигантская магистраль так ничего и не скрепила. И нынешние строители ее да покорители живут бродягами в бараках, спиваются, кончают с жизнью, и нет у них силы, у этих крепчайших людей. Правда, и крошечный сюжет русской жизни в «мертвых землях» — в мертвящем отчуждении от той земли, которая должна б человеку быть родной и удабривается его потом, кровью.

Россия — страна бездомная, а не бедная, равно как народ наш — в сути своей бездомный. Отчего возник тот громадный простор — вопрос исторический, однако он возник. А после гнало у русского человека в таежные, ледовитые и азиатские пустыни вовсе не по законам истории да по географическим ландшафтам. Переселений народов, от малых до великих, была такая тьма, что никак не сравнимо даже с пресловутым переселением славян. Петровские преобразования — это прежде всего гигантское переселение русского народа внутри евразийской пустыни. И всякое преобразование сопровождалось именно переселением, что и важно понимать. Одно дело — когда человек остается на природном своем месте, а вокруг него изменяется среда социальная и прочее, а другое — когда разрушаются весь мир и уклад жизни: человек отрывается от своей земли, и даже не человек, а сотни тысяч таких вот атомов жизни отрываются от земли и зашвыриваются в пустоту. Двадцатый

век — это ведь для России не век революции и социализма, а величайшее переселение народа, крушение именно из-за этого миллионов человеческих судеб и рождение миллионов уже судеб новых, то есть и нового какого-то народа. Ломка социальная меркнет в сравнении с подвижкой, переброской такой народа. Кулаков не просто раскулачивали — не оставляли в своих деревнях, и это было главное: коллективизация, по сути, была переселением в казахстанскую и сибирскую пустыни миллионов русского крестьянства. Именно в пустыни, а не туда, где бы хоть что-то было устроено для жилья. Остаток — на стройки из деревень, потому индустриализация была не чем иным, как вторым уж исходом. Не говоря о том, что и просто «переселялись» целые народы. Лишались родины и эмигранты.

Это был для России и век трех опустошительнейших войн — первой мировой, гражданской, Отечественной, рассеявших по свету несметное число людей. Такой же трагедией переселения обернулись сталинские репрессии, хрущевское поднятие целины, брежневское объявление малых деревень для сельхозхозяйства «неперспективными». А теперь и того наглядней: произошла историческая и социальная ломка, но миллионы оказались не в «новой истории» или же в «новом экономическом порядке», а бездомными — они будто лишались самой жизни, самих своих судеб. От России в одночасье отселились двадцать шесть миллионов, а столько ведь погибло в войну. Целые города внутри России — а их десятки, — таких, как Воркута и закрытый Арзамас, которые воздвигались чуть ли не на костях, оказываются теперь ненужными и убыточными, как бы черными дырами, ну а люди-то, живущие в них?

У русского человека нет и не было почти никогда в истории того, что называл бы я личной судьбой. Личная судьба — это домовое, семейное, родное, то есть единственная земля, где рождается человек, имея уже свое место и судьбу; это же и дает человеку ту опору важнейшую в самом себе, которая и делает его сильным, способным справляться с трудностью и сложностью земными.

Есть понятный каждому вывод: если человек себе хозяин, то он и хозяин своей судьбы. Ну да и понятно, что человеку у нас не давали быть хозяином, только он и похозяйствовал, что от крепостничества до колхозов. Однако бесправие, называемое экономическим, вовсе не единственное. Вся громадность угнетения человека в России держалась на чуде избытия человека в громадных ее просторах. Нет, не тишайшая среднерусская возвышенность, но азиатские степи, таежная глушь, северная мерзлота избытали русский народ. Возможность такого пространственного неограниченного избытия, передвижки, и родила ту машину управления народом, которая не сравнится по силе ни с каким угнетением: управление это и до наших дней состоит из двух механизмов — закрепощения по месту и избытия с места.

К месту, к земле приколачивался гробовым гвоздищем крестьянин: то Юрьев день отменяет, то отымут паспорта, а то истребуют непосильный денежный откуп, плату арендную. А города людей брали за горло той же мертвой хваткой: паспорт, лимит, прописка, без которых не будешь иметь работы. Это — бесправие «по рождению», усечение в правах, как у незаконнорожденных. Избытие же с места — это вечная наша «тмутаракань», куда возможно сослать или переселить сколь угодно лишнего, неудобного народа, а главное, что и следа его не отыщется — человек-то что песчинка. Сколько народу сгинуло в ГУЛАГе, но другая ведь половина этой утраты почти и не заметила, и архипелаг тот гулаговский с потрясением открыли, узнали, каковы были истинные его масштабы, когда уж сровнялись с землей от давности сами эти лагеря. И дело не только в том, что не было правды, и не в тайне истребления, избытия миллионов человеческих жизней, а в том, что само дикое, пустынное пространство оказывается тайной, уничтожает след человеческий и хранит десятилетиями страшное молчание.

Таким архипелагом безмолвным стала, по сути, и армия. В практику армейскую — и ведь не война, а мирное время — заложен был тот же принцип управления человеком. Нельзя было служить по месту рождения, обязательно и направленно рассылался и разбрасывался народец: киргизов гнали служить в Сибирь, а сибиряков — в Киргизию и т. д. У нас в конце восьмидесятых, когда я служил, из московского призыва именно от климатических условий погибло в ташкентском конвойном полку шесть человек, а пригодился тот призыв годиком позже, во время ферганских событий, потому что русских солдат, пригнанных сюда служить, и бросали в чужие, страшные для них Фергану, Наманган подавлять волнения. А в Новочеркасске рабочих взбунтовавшихся расстреливали при Хрущеве солдаты иных на-

циональностей. Однако и жертвы, и каратели — суть одно. Так уже в Чечне одинаково бесправными и ничего не значащими в «масштабах государства» оказывались обреченные и солдаты, и жители — тот самый российский народ, разве что с небесной родиной и заступницей, но без права на мирную жизнь здесь, в России, каждый в своем доме.

Жить стало втрое трудней и сложней. Требуется уж надрыв сил, чтобы просто остаться человеком, облик сохранить человеческий, а не опуститься, и нет речи даже ни о какой «опрятной бедности», потому что бедность и нищета наступают для многих чуть ли не через месяц, как лишаются они по какой-то причине средств к существованию, — человек лишился давно опоры личной, в себе самом, но и мир окружающий, общество не дают ему теперь никакой опоры, выживает каждый сам по себе, и это есть наш «капитализм». Лозунгом капитализма этого было то, что богатые люди сделают и Россию богаче. Однако эти богатые люди — а действительно уж многие сказочно стали богаты — даже в Москве ни одного бездомного не захотели тарелкой супа одарить; даже одного приюта или столовки в городе банков, отелей, казино, нефтяных компаний и прочего не организовали. А ведь деньги не делаются из воздуха; мы с некоторых пор подзабыли, что богатство — это то, что изъятый ловким и оборотистым человеком в свой карман из общего, читай — национального, дохода. И разве неясно, что толику этого дохода нужно возратить тем, кого чье-то накопление богатств лишило не хлеба с маслом, но последней, что капля крови, копейки, кто и просится по копейке и нуждается-то в тарелке похлебки, чтобы дожить хоть до завтра. Однако почти все приюты для несчастных в Москве от церкви организованы. Есть один, что финансируется аж американским конгрессом, а с него, с приюта этого, аккредитованно вынимает наш чиновник плату за «аренду помещений» — и жирует на денежки американских налогоплательщиков.

В советское время была статья знаменитая о бродяжничестве, но теперь статью эту отменили. Всех не прокормишь. Бубнили о правах человека, но, тюремную баланду отняв, даровали только право умереть с голоду. Нынче голодают и те, кто в квартирах: одинокие, забытые старики. Они приходят еду просить в больницу, надеясь, что истощение голодное — это болезнь. Но такой болезни нет и еда — не лекарство. Платят им такую пенсию, что не хватает на хлеб, а лечить в больницах от голода отказываются. Бездомный в Москве может выжить от зимы до зимы, не больше года. Зацепиться, устоять не дадут — сегодня ты лишился крова, а завтра уже заживо гниешь. Эти заживо гнущиеся — уже не люди, однако не в том смысле, что они «нелюди», звери: человек, если уподобляется животному, и существовать начинает, как животное, в общем, уж и утрачивает жизнь. Это живые трупы — без одного, без трех дней как мертвые, только что доходящие до мига единого смерти, но смерть эта — и не смерть для них. Допустить человека до такого состояния, до вшивости такой и вони и значит убить, это обыкновенное убийство. А бомжи, что пронзительно, попадая, к примеру, в больницу, всегда требуют к себе уважения «как к гражданам», и все их истории — про то, что они были люди работающие. И если бомж врет, то он называется «чернобыльским ликвидатором» и плачет при том, верит свято в эту ложь. Или говорят, что они честные пенсионеры, и многие и вправду тычут пенсионную книжку. Только где ж они по ней деньги получают? Ведь и чтобы пенсию получать, даже если заслуженная она, честная, надо прописку иметь. Но и эти рассказы — до первого окрика и удара палки милицейской. Тогда они замолкают и покорно уползают. В больницах их обязаны принимать «как граждан», но даже ползающих на карачках ни за что не берут — вышвыривают прочь. В случаях таких пишется врачами, что «больной отказался от госпитализации». Они, чтобы их приняли, особенно в зиму, попадали в больницу босые, думая, что босых не выгонят на мороз, однако эта их хитрость теперь не действует. «Скорая помощь» от больницы отъехала — ну и ползи обратно босой.

Я видел паспорт: стоит штампик загса, что человек в девяносто третьем женился, значит, состоятельным был, мог хоть свадьбу сыграть. Но вот зима девяносто шестого: этот человек уже бомж, то есть труп. И что такое бомжи — это милицейское клеймо, есть еще зеки, то есть заключенные, а были и «казры», «чесеоры» — контрреволюционеры, члены семей репрессированных... Только бы людьми не называть или согражданами, тогда ведь с него, с государства нашего милиционерского, да и общества другой будет спрос. Горько, что это слово прижилось, что и в народе иначе не говорят. Но ведь в здоровой, сильной половине народа и стараются, как могут, совесть усыпить, даже и ненависть разжечь.

Слыхали, что у нищих кучи денег, что они из обносков переодеваются в шубы и жируют на вашу милостыню? Слыхали, что бомжи — это тунеядцы, пьянчуги, которые продали свои квартиры? Так им и надо, это наказание за порок! Слыхали, они вшами нам угрожают, сифилисом, туберкулезом? Что они наши вокзалы изгадили?.. Однако попробуй переодеться в обноски, постой хоть час на морозе, может, разбогатеешь, но тогда и поймешь, что это за труд — унижаться и обмораживаться. Да и кто побирается на твоих глазах, разве розовощекие, сытые на рожу? Ведь старухи да инвалиды, ничего не понимающие дети. И таких безвинных теперь больше — беженцев, душевнобольных, брошенных детей, вышедших из тюрем баб да мужиков, но опустившихся именно без работы, не нужных людей. У них тот туберкулез, который никто не лечит, и потому, что не лечат. Они спят на вокзалах, потому что больше им и негде спать. Они напиваются допьяна, чтобы довести себя до бесчувствия,— попробуйте ходить раздетыми по морозу и так, как они, существовать. Как же они порочны, если голодают и замерзают, если умирают? Страдание, мучение — это ли порок? Когда недавней зимой бездомных по приказу градоначальства, дабы очистить эти самые вокзалы от скверны и угодить москвичам, погнали за сто первый километр, то сколько вымерло их в пустынных Калуге, Александрове, Твери, никто и не считал.

Никто и не считал.

Февраль 1997



Владимир КАНТОР

Возможно ли построить в России «град цивилизации»?

Предложенный вопрос относится не только к сегодняшнему, но и к вчерашнему и позавчерашнему времени. Когда-то было сказано, что существует Град небесный и по его образцу должен возводиться Град земной. Именно град, город выступал в раннем христианстве символом очеловеченного, разумного существования человека. Схимники и святые спасались в пещерах, остальные люди жили в городах, защищенные от дикости окружающей стихии. Новгородско-Киевская Русь была страной городов. После опустошительного нашествия кочевников она превратилась в страну деревенскую. О rus (О деревня), О Русь! – сближал эти два понятия Пушкин в одном из эпиграфов к Онегину.

Правда, сам поэт все же считал, что Русь сызнава сумела построить «град цивилизации». Это град Петра. Неколебимый, как Россия. С тех пор Россия претерпела многое... Вспомним, однако, что великий поэт был уверен: «будущий историк» вряд ли «поставит нас вне Европы»¹.

После крушения советской империи многим стало казаться, что мы сызнава возвращаемся в то пространство, где неустанное построение «града цивилизации» – норма жизни. Вместе с тем война в Чечне, невыплата зарплаты и пенсий, распад производства, безнадежные забастовки рабочих, педагогов и врачей, воровство и взятки на всех уровнях – от госаппарата до мелких делопроизводителей... Очевидно, властвует не закон – непременный фактор цивилизации, а безудержная стихия.

Впрочем, еще Пушкин видел эту опасность – незамиренность с «градом цивилизации», градом Петра, вроде бы побежденной преобразователем стихии. Он все время говорил и писал о возможности потопа, все заносящей метели, наводнения, способного разрушить строящийся град и укрепившуюся в нем частную жизнь. Эту грозную стихию он понимал символически-конкретно, придавая ей вполне человечески-социальные черты:

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна...

(«Медный всадник»)

Вор в русском языке – понятие более широкое и емкое, нежели мелкий *карманник* или *форточник*. Это понятие обнимает в себе определенный чрезвычайно обширный пласт явлений и людей – от разбойника Емельяна Пугачева до государственного казнокрада. Вор – носитель стихии, враждебной цивилизации.

Миновать опыт, размышления и наблюдения отечественных мыслителей прошлых веков, думая о нашей жизни, невозможно. Ибо «сегодня» – просто очередная страница все той же российской истории. Однако задача наша не только еще раз переосмыслить исторический путь России, осознать константы ее судьбы, но постараться понять, существует ли цивилизованное разрешение современного кризиса. Разумеется, при таком анализе необходимо отказаться от малопредсказуемых политических персонажей и реалий, оставаясь в пределах историософских сюжетов и сущностей.

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Т. 10. М.—Л., 1949, с. 867.

Еще в начале прошлого века П. Я. Чаадаев, анализируя исторические тенденции России, увидел константу ее жизни в «безличном хаосе», в отсутствии гарантий для собственности и свободы личности, в тотальном подавлении человека, а в результате – в постоянной готовности русских людей к метафизическому и буквальному бунту против любых правовых норм. В этом смысле русский народ всегда был равен русскому правительству. *Вольность / произвол* противопоставлены в русской ментальности понятию *свободы*, имеющей ограничение в свободе другого человека. Этот диагноз получил подтверждение в творчестве Достоевского, показавшего возможность возникновения из «карамазовской стихии» всеразрушающего бунта. «Нет оснований нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение – и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренне, нравственно»², – писал он.

К несчастью, русская революционная демократия была глуха к этим предостережениям. После революционного бунта 1905 г. в знаменитом сборнике «Вехи» сызнова прозвучали трезвые голоса русских мыслителей об опасности революционных призывов в стране, где еще не сложились нормы гражданского общества, о том, что попытки революционного переустройства такой страны приведут ее в состояние почти первобытного хаоса, к крушению тех элементов европеизации, которые возникли к концу XIX в. Но предостережения мыслителей никогда не имели исторической силы. И в 1918 г., после тотального крушения всех норм и форм цивилизованной жизни, когда, кстати, было еще не ясно, победят большевики или нет, Н. Бердяев следующим образом формулировал состояние российской ментальности: «Личность человеческая тонет у нас в первобытном коллективизме. <...> Совершенно безразлично, будет ли этот всепоглощающий коллективизм «черносотенным» или «большевистским». Русская земля живет под властью языческой хлыстовской стихии. В стихии этой тонет всякое лицо, она несовместима с личными достоинствами и личной ответственностью...»³.

Строго говоря, сталинизм оказался окаменевшей формой этой стихии, где характерный для стихии произвол был возведен в ранг государственной политики. Всякие гарантии собственности, чести и достоинства личности, на которых держится европейская цивилизация, были уничтожены. После падения коммунистической диктатуры и распада империи, когда прежние властные структуры, опиравшиеся на беззаконие в форме закона, были элиминированы, на первый взгляд осталось одно беззаконие, уже не сдерживаемая даже государственным произволом *российская стихия, противостоящая нормам цивилизованной жизни*.

Сумеет ли нынешнее российское общество найти способ цивилизованного обуздания хаоса или снова выход будет найден на путях войны и диктатуры? Быть может, от этого зависит *судьба всей цивилизации* (нельзя забывать о нашем ядерном оружии и плохо обслуживаемых АЭС). Именно поэтому анализ взаимоотношений этих двух констант российского развития (стихии и цивилизации), их сопряжения и отталкивания и представляется столь актуальным для понимания процессов, происходящих сейчас в России.

1. «Стихия» и «цивилизация» как проблема русской истории

Незадолго до развала СССР, когда коммунисты еще боялись неожиданного взрыва бунтующей народной стихии, они готовы были поддержать трезвые голоса, предупреждающие об опасности разбушевавшейся толпы (которую сегодня коммунисты вкупе с националистами будят, рассчитывая, что удар придется по их противникам). Таковы были, скажем, размышления писателя Евгения Носова, опубликованные в «Правде» в начале девяностого года: «Толпа не имеет лица. В этом я убеждаюсь, вглядываясь на телевизионном экране в бушующие людские массы, которые все шире разливаются не только по другим союзным республикам страны, но и по городам и весям России»⁴. На что способна эта толпа? Писатель с ужасом констатирует: «Вот они, уже готовые кадры боевиков!.. По первому кличу и опять же от нечего делать, из одного желания поразиться, поднять шухер, они уже готовы перевернуть, разбить, опрокинуть, двинуть кого-нибудь в ухо, рубануть по черепу арма-

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт. Т. 16, Л., 1976, с. 329. Курсив Достоевского.

³ Бердяев Н. Идеи и жизнь. Русская мысль. М.— П., 1918, № 1–2, с. 105.

⁴ Носов Е. У толпы нет лица. Правда, 22.02.90.

турным прутком или намотанной на руку цепью...»⁵. Ирония истории в том, что напечатаны были эти строки в газете «Правда», которая выросла на раздувании пожара российской революции.

А если стихия – «глас народа»?..

В «Окаянных днях», книге-дневнике, одном из самых потрясающих свидетельств о революции и гражданской войне в России, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин пишет (сначала передразнивая апологетов происходящего, затем возвращая им):

«Революция – стихия...»

Землетрясение, чума, холера – тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются»⁶.

С какого момента оказывается возможным бороться с чумой и холерой? Очевидно, когда человечество достигает определенного уровня цивилизации, создавая лекарства и вакцины. Таким образом, совершенно определенно задается словами Бунина оппозиция, которая проявлялась на всем протяжении русской истории.

а) Постановка проблемы

Рассуждая о специфике российской ментальности, П. Я. Чаадаев характеризовал ее следующим образом: «Это все еще хаотическое брожение предметов нравственного мира, подобное тем переворотам в истории Земли, которые предшествовали образованию нашей планеты в ее теперешнем виде»⁷. Иными словами, это господство неупорядоченных стихий, хаоса, не претворенного в космос, или, еще точнее, неструктурированность общественной и духовной жизни. Такова роль России в раскладе мировых сил, полагал Чаадаев. В роли же начала гармонизирующего, нашедшего равновесие и порядок (несмотря на предшествовавшие века катаклизмов и брожений), выступает, по мысли русского философа, внешнее по отношению к России геокультурное образование – Западная Европа, выработавшая за долгие годы цивилизованные нормы существования, «идеи долга, справедливости, права, порядка... Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история и психология, это физиология европейца»⁸. Со времени Чаадаева это противопоставление стало постоянным в русской мысли. То этой российской стихийностью гордились – в противовес европейскому «мещанскому порядку», то ее боялись, надеялись на благотворное воздействие европейских правил и принципов.

Что же такое стихия, стихийность? Очевидно, речь идет не о лексическом, а об определенном историософском значении, которое получило это слово под перьями русских мыслителей. Понятие «стихия» в русской историософии находится в ряду таких понятий, как «хаос», «варварство», «дикость», «природа» (в ее разрушительной ипостаси: вулканы, землетрясения и т. п.), и противопоставит таким понятиям, как «космос», «культура», «цивилизация», «логос», «просвещение» и т. п. Скажам, Бердяев был уверен, что «в русской земле, в русском народе есть темная, в дурном смысле иррациональная, непросветленная и не поддающаяся просветлению стихия. <...> Эта темная русская стихия, – писал он, – реакционная в самом глубоком смысле слова. В ней есть вечная мистическая реакция против всякой культуры, против личного начала, против прав и достоинства личности, против всяких ценностей»⁹. В этом контексте цивилизация выступает как *высшая форма, высший этап культуры*. До появления книги Шпенглера, когда понятие цивилизации приобрело оттенок негативный, иной оппозиции русская мысль и не знала. Не ссылаясь даже на прогрессистов либерально-демократического толка, напомним лишь Н. Я. Данилевского, писавшего следующее: «Под периодом цивилизации разумею я время, в течение которого народы, составляющие тип, – вышед из бессознательной чисто этнографической формы быта <...>, создав, укрепив и оградив свое внешнее существование,

⁵ Там же.

⁶ Бунин Иван. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990, с. 108. Возможно, это был ответ на восторг одного из русских символистов – Андрея Белого, который в своей брошюре 1917 г. «Революция и культура» восклицал: «Как подземный удар, разбивающий все, предстает революция: предстает ураганом, сметающим формы... Революция напоминает природу: грозу, наводнение, водопад...» И призвал «слиться с внутренним ритмом стихий» (Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х тт. Т. II, М., 1994, сс. 451, 461. Курсив А. Белого).

⁷ Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989, с. 20.

⁸ Там же, с. 22.

⁹ Бердяев Н. Судьба России. М., 1918, сс. 52, 53.

как самобытных политических единиц <...>,- проявляют преимущественно свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть залоги в их духовной природе»¹⁰. Иными словами, период цивилизации, по его мнению, есть период возникновения и развития поэзии, искусства, науки, философии, государственности и прочих явлений, возвышающих и отгораживающих человеческое общество от капризов природы, период «цветущей сложности», говоря словами К. Н. Леонтьева.

Кстати, европейская традиция тоже сохранила и в XX в. сознание благотворной роли этого периода в человеческой истории (возможно, не без учета русского опыта). Скажем, Ж. Маритен говорил о том, что цивилизация необходимо есть и культура, что ненависть к цивилизации ведет к уничтожению человека, не знающего иных форм выживания в природном мире, кроме форм культуры и цивилизации. Фрейд же заметил, что «пренебрегает различием между культурой и цивилизацией»¹¹ ради решения главной задачи – защиты человека от природы.

Говоря о важности окультуривания природы, Фрейд напоминал, что природные стихии отнюдь не укрощены, что земля будто насмехается над человеческими усилиями покорить ее, насылая на человека ураганы, тайфуны, наводнения, извержения вулканов и землетрясения, которые уничтожают человеческие труды. К этому перечислению русские мыслители могли бы добавить нашествие варваров, всегда понимавшееся ими как явление чисто природное. Напомним хотя бы пророчество Герцена о новой (после падения Древнего Рима) гибели западноевропейской цивилизации: «Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? – Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землей, внутри гор. Когда настанет их час – Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот...»¹². Иными словами, осуществление идеалов социализма, которое Герцен поначалу связывал с европейским пролетариатом, а затем только с Россией, с русской общиной, было равнозначно для него геологическому катаклизму, выбросу природных стихий, уничтожающему все приобретения цивилизации.

Возникает, однако, вопрос: а может ли человеческая стихия (если, разумеется, речь не идет о завоевании варварами) уничтожить собственную цивилизацию, что с таким трудом создавалась многими поколениями? Для корректности ответа напомним, что традиционно в научной литературе фиксируют несколько этапов формирования культуры: дикость, варварство, цивилизация,- различающиеся степенью окультуривания природы. В разных исторических типах общества пути к цивилизации бывают более, а бывают менее успешными. В тех случаях, когда цивилизация не стала для культуры достаточно органичной, так сказать, не проросла в ней, сохраняется опасность возврата к варварству. Этот рецидив варварства возможен и в высокоразвитых странах, и «внутреннее варварство» по своим последствиям мало чем отличается от нашествия «варварства внешнего». Увидевший в большевизме и фашизме «восстание масс», «вертикальное вторжение варварства» и «существенный регресс», Ортега-и-Гассет писал, протестуя против апологетики стихийных инстинктов, якобы присущих «творческому» развитию: «Степень культуры измеряется степенью развития норм». Но вертикальное вторжение варварства способно разрушить любые нормы. Это вторжение в XX в. перенесли Германия, Испания, Италия и другие европейские страны. Поэтому Ортега писал: «Цивилизация не дана нам готовой, сама себя не поддержит. Она искусственна и требует художника, мастера»¹³. Именно цивилизация нуждается в созидательной, творческой активности.

К несчастью, быть может, влиятельные и яркие выразители российской духовности, предупреждая о грядущих бедах и катаклизмах, не сумели найти противовесия от стихийных сил своей культуры. Более того, на взгляд, скажем, европейца Фрейда даже Достоевский оказался уязвим в качестве общественного лекаря и моралиста. Как моралист, писал Фрейд, «он напоминает варваров эпохи переселения народов, варваров, убивавших и затем каявшихся в этом,- так что покаяние становилось техническим приемом, расчищавшим путь к новым убийствам. Так же поступал Иван Грозный; эта сделка с совестью – характерная русская черта»¹⁴. И к Октябрю в конечном счете вели не только «революционные бесы», но и другие течения русской мысли, пытавшиеся в *свойствах самой народной стихии* найти позитивную основу строительства «нового мира». В результате сила народного духа обращалась

¹⁰ Данилевский Р. Я. Россия и Европа. СПб., 1889, с. 111.

¹¹ Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992, с. 19.

¹² Герцен А. Собр. соч. в 30-ти тт. М., 1955., т. 6, с. 58.

¹³ Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Вопросы философии. 1989, № 3, сс. 152, 144, 150.

¹⁴ Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. Вопросы литературы, 1990, № 8, с. 168.

не на самосозидание,— что исключает самоупоенность, предполагает самокритику, самодисциплину и самодеятельность (вместо привычного крепостного, принудительного труда), а на разрушение всего непонятного и чуждого этой стихии.

По соображению русского философа Б. П. Вышеславцева, переживание хаоса, ощущение хаоса как основы миропорядка свойственно именно русской душе, и именно из этого хаоса выплескиваются стихии, подобные Октябрьской революции и нацистскому перевороту, уничтожившим, по существу, все сложившиеся к тому времени в этих странах цивилизованные структуры. Надо сказать, что в прошлом веке уже высказывалась русскими учеными идея, что цивилизация обеспечивает сохранение человеческого рода посредством развития и защиты индивида (И. Мечников, Д. Менделеев и др.), а потому удары стихийных сил должно воспринимать как бедствие. Почему же, говоря словами Вышеславцева, «стихия... чувствуется каждым русским как непонятная и непередаваемая иностранцам сущность русской души, русского характера, русской судьбы, даже русской природы»?..¹⁵

б) Славянская мифология и православное христианство

Возможно, это переживание стихии как сущности русской души связано с исходными моментами развития нашей ментальности, с тем, что славянская мифология не была достаточно разработана (отсутствие или, точнее, слабая обозначенность пантеона «высших богов») и не знала космогонических мифов с их главной темой — преобразование хаоса в космос. Великий русский филолог прошлого века Федор Буслаев писал, что «эпос мифологический полагает первые основы нравственным убеждениям народа, выражая в существах сверхъестественных, в богах и героях, не только религиозные, но и нравственные идеалы добра и зла»¹⁶. Однако, замечал он далее, «славянский мифологический эпос не успел создать полных, округленных типов божеств, подобно эпосу греческому, скандинавскому или финскому <...>, и доселе живет теплою, искреннею верою в целый ряд мифических существ, но существ мелких, немногочисленных: это не крупные, величавые личности греческого Зевса, финского Вейнемейнена, скандинавского Тора или Одина, с определенным нравственным характером, развитым во множестве подвигов и походов,— но ряд существ не самостоятельного, но отдельного бытия»¹⁷.

Славянское язычество не знает также и «культурного героя», т. е. героя, освобождающего мир от чудовищ, цивилизующего и преобразующего землю. Такие герои (цикл богатырских былин) появляются в России лишь на христианской почве в XI—XII вв. Когда русские писатели и мыслители XIX в. писали об опасности рецидивов русского язычества (изображенного Достоевским в разгульной «карамазовской» стихии), они видели в этом возврате не просто отказ от христианства, но возврат именно к низшей мифологии, отрицавшей «личность в ней самой посредством ее собственной чувственной природы»¹⁸, не знавшей противоборства Света и Тьмы, Добра и Зла, а потому исторически неплодотворной, лишенной стимула к историческому прогрессу.

В России православное христианство выполнило роль мифообразующей структуры, внося в сознание крестившихся жителей Руси основные понятия о Добре, Зле, сотворении мира, преодолении Хаоса. Как известно, Русь приняла христианство от Византии. С тех пор не раз спорили о зловредности или благотворности этого выбора, объясняя недостатки российского развития именно конфессиональной формой христианства — православием, с его цезарепапизмом, несамостоятельностью церкви, с подчиненностью светской власти императоров. Но надо сказать, что в тот момент, в X в., византийское христианство, отточенное в философской школе античности, было и богословски, и философски более разработано и более утонченно, чем римское. По замечанию одного из крупнейших сегодняшних специалистов по средневековой Европе, «для византийцев и мусульман интеграция в римский христианский мир означала бы упадок, переход на более низкую ступень цивилизации»¹⁹. Поэтому выбор конфессии Киевской Русью был вполне обоснован. В последующие два столетия после Крещения Киевская Русь переживает безусловный социальный, культурный и духовный подъем. Переводятся книги, изучаются

¹⁵ Вышеславцев Б. П. Русская стихия у Достоевского. Берлин, 1923, с. 5.

¹⁶ Буслаев Ф. О литературе. М., 1990, с. 34.

¹⁷ Там же, с. 35.

¹⁸ Соловьев В. С. Собр. соч. в 10-ти тт. СПб., б. г., т. 1, с. 22.

¹⁹ Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992, с. 140.

иностранные языки (и прежде всего греческий и латынь), строятся храмы, возводятся города, усиливается торговый оборот со всем светом, с Европой и Византией особенно, создается свод законов — «Русская правда»...

Разумеется, существуют разные степени усвоения христианских представлений — от высокого богословия монахов до амальгамы язычества и православия у темного люда. Представление о среднем уровне религиозного развития народа дают, как любят утверждать славянофильствующие публицисты, духовные народные стихи. Однако, как замечал один из самых глубоких исследователей русской духовной жизни Г. П. Федотов, «изучение религиозного содержания духовных стихов ведет нас не в самую глубь народной массы, не в самую темную, близкую к язычеству, среду ее, но к тем высшим ее слоям, где она тесно соприкасается с церковным миром»²⁰. Конечно же, влияние этих слоев на толщу народа могло со временем оказаться решающим. Но начавшие входить в народное сознание идеи христианства плохо укоренялись в силу трагического исторического развития Руси и двойственной роли в ней церковного начала. После завоевания Руси татарами-монголами православная церковь была вынуждена раболепствовать перед завоевателями, молиться за «царя-хана», став в еще большей степени, чем в Византии, связанной с интересами государства. Завоеватели, поощряя вражду князей между собой, тем не менее поддерживали православие, звериным чутьем кочевников поняв его важность. Ибо обеспечить духовную покорность завоевателям *всей Руси*, независимо от проживания людей в том или ином княжестве, могла только церковь. Заметим, правда, амбивалентность данной ситуации: православие тем самым сохраняло в русских представление о себе как о едином народе, хотя клир и выполнял фискально-полицейские функции. К тому моменту как Москва не без содействия ханской власти принялась покорять остальную Русь, а затем, воспользовавшись распадом Золотой Орды, выходить из-под ее опеки, православная церковь, будучи достаточно огосударственной, сделала ставку на новую силу и стала активной помощницей Москвы в «собираении» русских земель. Но привычка к фискальной роли, к требованию чисто внешнего исполнения обрядов привела к тому, что церковь не умела влиять на души своих прихожан, «окультуривая» их, просвещая и цивилизуя. В XVIII в. екатерининский вельможа гр. Орлов писал Ж.-Ж. Руссо, что русские священники не умеют ни диспутов вести, ни проповедовать, а паства умеет только креститься, полагая, что этого достаточно, чтобы считаться христианами. Собственно народное религиозно-христианское движение начинается со второй половины XVII в., с раскола. Однако и в XX в. Георгий Федотов констатировал: «Мы лучше всех культурных народов сохранили природные, дохристианские основы народной души»²¹.

Православие никогда не было связано (до «неоправославленного ренессанса» начала XX в.) с каким-либо общественным движением, мечтавшим улучшить народную жизнь или способствовать духовному и социальному прогрессу, а потому оказалось чуждым реальным социальным интересам народа. Достаточно привести слова даже апологетов православия, вполне сознававших, что в основе бездвижности русской жизни лежит «упорный консерватизм русского православия, не позволяющий изменить ни одной буквы, ни одного движения в обряде. Спасительными оказались именно *эти* формулы, а каковы будут новые — еще неизвестно». Поэтому православие «подозрительно относится к социальному и культурному прогрессу»²². Не случайно многие представители дворянства начала прошлого века, искавшие в христианстве *социально-преобразующую силу*, обращались к католицизму (М. Лунин, П. Чаадаев, В. Печерин и др.). К 1905 г. совершенно определенно сложилась ситуация нарастающего экономического, политического, социального и религиозно-культурного кризиса, требовавшего неординарного и быстрого решения. Но в этом решении православие помочь не смогло, великая социально-терапевтическая сила христианства не была использована — слишком несамостоятельной, не имевшей собственной позиции, лишенной свободного духовного развития оказалась русская церковь.

Вот как оценивал ситуацию С. Н. Булгаков: «Великий народ, беспомощный, *беззащитный духовно* (курсив мой.— В. К.), как ребенок, находящийся на уровне просвещения почти что эпохи св. Владимира, и интеллигенция, которая несет просвещение Запада, преимущественно с разными последними словами, сменяющимися с быстротою моды, и которая, как ее ни утверждают и ни отстраняют, находит и, конечно, будет находить дорогу к этому ребенку. Два электричества: когда они со-

²⁰ Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991, с. 15.

²¹ Федотов Г. П. Новый град. Сборник статей. Нью-Йорк, 1952, с. 81.

²² Ельчанинов А., Флоренский П. Православие. В кн.: История религии. М., 1909, сс. 173, 183.

единятся, что дадут они — благодетельный свет и тепло или разрушительную и испепеляющую молнию?»²³. Как мы знаем теперь, в русскую жизнь ударила испепеляющая молния, выжигая наработанные за долгие и трудные годы исторического развития элементы европейской и христианской цивилизации в ее православном варианте. И уже в 1918 г. С. Н. Булгаков резюмировал устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения «На пиру богов» (вошедшего позднее в сборник «Из глубины»): «Как ни мало было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе... Русский народ вдруг оказался нехристианским...»²⁴. Сын священника, большой русский писатель Варлам Шаламов вспоминал: «Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты. Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей»²⁵. Достоевский задавался вопросом: сможет ли русский человек «черту переступить»? И вот, «переступив черту» христианства, всколыхнулась и пошла гулять по необъятным просторам России российская вольница, российская стихия. Этот процесс закономерно завершился возникновением жесточайшей сталинской диктатуры.

в) Стихия — «чужая» и «своя» — как предпосылка российского деспотизма

И российский, и германо-романский миры выросли из взрыва стихий, двинувшего полчища варваров в эпоху переселения народов на Римскую империю. Судьба этих полчищ оказалась, однако, различной. Германские племена попали в области Римской империи, где уже был заложен фундамент европейской цивилизации. Славяне же, напротив, были оттеснены на северо-восток, в места девственные, заселенные такими же дикими финскими племенами. Эта тема — бесплодия почвы, на которую попали славяне, и культивированной почвы античности (усвоившей к тому же уже и христианство), сумевшей в течение столетий цивилизовать германцев, — была постоянной в рассуждениях русских мыслителей о становлении России и Европы.

Тем не менее и славяно-финские племена, *будущая Русь*, шли (пусть более затрудненным путем) к созданию цивилизованных основ жизни. Христианизация (Крещение), норманское завоевание, которое связало молодое государство с остальной Европой, контакты с Византией, хранительницей достижений античности, — все это втягивало Русь в орбиту молодых европейских, цивилизующихся, хотя еще и полуварварских народов. Надо, однако, учесть, что Русь постоянно испытывала давление Степи, степных племен — половцев и печенегов, кочевников, стоявших на более низкой ступени развития, занимавшихся не производством продукта, а грабежом, т. е. представлявших культуру варварскую, паразитарную. По отношению к этим племенам Русь начинает играть роль, какую играли в свое время Рим и Византия по отношению к окружавшим их варварам — тем же германцам и славянам: отражает набеги, заводит с кочевниками дипломатические связи, русские князья женятся на половецких княжнах... *Цивилизуясь сама, Русь пыталась цивилизовать степных соседей.*

Но это развитие было прервано катастрофой. *Стихийным бедствием* считали практически все мыслящие люди России татаро-монгольское нашествие в первой половине XIII в. Сметая все на своем пути, орды Батые выжгли и практически уничтожили Киевскую Русь: разрушая города, церкви, убивая и уводя в полон жителей. «Молодое европейское государство Киевская Русь столкнулось... с силой, являющейся абсолютной противоположностью европейской цивилизации. Урбанистическая идея, связанная с принципом... окультуривания пространства, столкнулась с общественной организацией, базирующейся на исчерпании ресурсов без дальнейшего их воспроизводства. Столкнулась с монгольскими ордами»²⁶. Татаро-монгольское нашествие (как видно из этой фразы — цитаты из *газетной статьи*) и сегодня пе-

²³ Булгаков С. О противоречивости современного безрелигиозного мировоззрения (Интеллигенция и революция). Там же, с. 243.

²⁴ Булгаков С. Н. Соч. в 2-х тт. М., 1993, т. 2, с. 609.

²⁵ Шаламов В. Четвертая Вологда. В кн.: Шаламов В. Несколько моих жизней. М., 1996, с. 346.

²⁶ Грунин Е. Российское «нечто». Россия. 10—16. 03.93, с. 12.

реживается как актуальное событие, ибо послужило причиной выхода России из цивилизованного европейского пространства, отбросило ее назад. Земледелие, ремесло и торговля становились делом маловыгодным, ибо завоеватели (а их господство продолжалось несколько столетий) отбирали любой прирост. Цивилизованная жизнь прекратилась.

Оценивая масштабы разрушения Руси монгольскими ордами, русские историки проводили аналогию с падением Римской империи в эпоху переселения народов. «Россия,— писал Н. М. Карамзин,— испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскою империею от времен Феодосия Великого до седьмого века, когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собою только в силе»²⁷. Несмотря на уважение к памяти Карамзина, эффектность и внешнюю убедительность сравнения, эту мысль необходимо дополнить. Во-первых, варвары, ворвавшись в области Римской империи, приняли христианство, оказавшее в дальнейшем решающее влияние на их культуру. Татаро-монголы, однако, остались чужды христианству, обходясь с церковью, как с необходимым для их нужд орудием. Не церковь подчиняла завоевателей, а завоеватели-варвары подчинили себе церковь. Во-вторых, германские племена попали на почву высокоразвитой античной цивилизации, складывавшейся и укреплявшейся не одно столетие. Русь же сама только-только ступила на путь цивилизации. И если германцы в конечном счете подпали под влияние покоренного ими Рима, то на Руси произошло обратное: Русь оказалась под мощным воздействием Золотой Орды. Иными словами, неокрепшая, только становящаяся цивилизация была *сызнова варваризована*.

На Руси утверждается военно-тираническая форма правления. Некоторые публицисты называют ее азиатской, восточной деспотией. Но в отличие от восточных деспотий, знавших архитектуру, изящные искусства, придворную поэзию, выработавших свое законодательство, Орда не имела даже начатков цивилизации, никаких элементов гражданского общества. Только невероятная жестокость вожака, хана, в состоянии была удержать в повиновении хаотическую вольницу, не скрепленную никакими законами. Причем каждый из этой вольницы старался быть не менее жестоким, чем вожак, чтобы заслужить его милость и благосклонность. Раболепие перед вышестоящими, предательство, если того требует вожак, своих ближних в соединении с беспрекословной преданностью и готовностью отдать свою жизнь во имя интересов хана, персонафицирующего в своей особе нужды государства,— такое наследие получила Москва от Орды. Именно эти человеческие особенности подданных позволили Орде, а затем московскому самодержавию стать активно беспособным государственным образованием. «Действием ли примера, привитием ли крови правящим, они (степняки-завоеватели.— В. К.),— писал евразиец П. Н. Савицкий,— дали России свойство организоваться военно, создавать государственно-принудительный центр, достигая *устойчивости*; они дали ей качество — становиться *могущественной «ордой»*»²⁸.

В результате, разумеется, не могла идти речь ни о «правильном» феодализме, ни тем более о возникновении третьего сословия, сколько-нибудь напоминавшего европейское. Если в Европе централизация происходила как результат внутренних центростремительных тенденций с опорой на богатевшие города, на поднимавшееся третье сословие, учившееся чувству независимости личности у сословия феодального, то Россия получила свое единство с помощью татарских войск, разорявших враждебные Москве (имевшей «ярлык на великое княжение» от ханов Золотой Орды) города и княжества, приводя страну в упадок. Конечно, как говорят историки, московский князь, обманув татар, окреп с их помощью, а затем сумел им противостоять. В этой хвале не учитывается, однако, что возвышение Москвы могло произойти только потому, что Москва взяла на себя функции *представительницы* завоевателей, собиравшей дань и грабившей Русь от имени и по поручению татар. «Этот союз,— писал В. О. Ключевский,— сначала только финансовый, потом стал на более широкое основание, получив еще политическое значение. Простой ответственный приказчик по сбору и доставке дани, московский князь сделан был потом и полномочным руководителем и судьей русских князей»²⁹. Произошла, как замечал Г. П. Федотов, «московизация» Руси, сложилось, по его же словам, «православ-

²⁷ Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. т. I—IV. Калуга, 1993, с. 419.

²⁸ Савицкий П. Н. Степь и оседлость. В кн.: Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993, с. 124. Курсив П. Н. Савицкого.

²⁹ Ключевский В. О. Соч. в 9-ти тт. М., 1988, т. 2, с. 21.

ное ханство». Пытаясь разобраться в истоках русского большевизма и просматривая под этим углом зрения историю России, Н. А. Бердяев пришел к заключению, что «московское православное царство было тоталитарным государством»³⁰.

Сторонник евразийства, своего рода певец складывавшейся в эти годы антиправовой русской социальной психологии, Л. Н. Гумилев тем не менее весьма точно формулирует принцип российского деспотизма, на котором выросла Московская Русь. Московиты, утверждал он, «стремились не к защите своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей, за несение которых полагалось «государево жалованье». Он полагал, что именно «эта оригинальная, непривычная для Запада система отношений власти и подчиненных была столь привлекательна»³¹, что собрала вокруг Москвы всю Русь. При таком устройении государства, разумеется, не могло сложиться гражданское общество, т. е. цивилизованности — в точном значении этого слова (от латинского «civilis» — «гражданский»), не было и законов, утверждавших элементарные права личности. «Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными. Каждый обязан был или оборонять государство, или работать на государство, т. е. кормить тех, кто его обороняет. Были командиры, солдаты, работники, не было граждан»³².

Следуя за этой мыслью Ключевского, мы без труда придем к соображению, что стоит ослабнуть или прекратиться по тем или иным причинам самодержавной власти, как все части этого механизма неминуемо начнут действовать вразнобой (ибо в них нет элемента самодеятельности) и воцарится хаос, Смута. К этому надо добавить, что в сознании московизированной Руси русский царь как бы соединял в себе и царя (императора) Византии, будучи его «наследником» как владыка *православного государства*, и царя (хана) Золотой Орды: «территориально, — замечает Б. А. Успенский, — он оказывается преемником татарского хана, а семиотически — греческого императора», царь становится «более сакральной фигурой, чем патриарх»³³ — он наделен божественной властью по праву рождения, т. е. государственная власть является в России более важной, чем церковная. Поэтому религиозные ереси, даже такие мощные, как раскол, не колебали привычно-равномерного течения жизни большинства, а вот падение династии, ослабление царской власти моментально вызывали катастрофическое потрясение всего национального организма.

Иван Грозный был последний московский царь, завершавший процесс становления независимого от внешних (степных) захватчиков московского государства. Однако со смертью сыновей и пресечением его династии в России воцаряется Смута, разрушительные последствия которой можно сравнить только с татаро-монгольским завоеванием. Смута, эта гражданская война начала XVII в., привела в расстройство всю структуру московского государства. Даже объявленное всенародным избрание на трон в 1613 г. Михаила Романова не сразу могло усмирить всколыхнувшуюся Русь. Не случайно XVII век историки так и называют — «Бунташный», т. е. век мятежей, восстаний, бунтов. Россия представлялась тогда европейскому взгляду огромным полупустым пространством с редким крестьянским населением и едва ли не единственным хорошо укрепленным и крупным городом — Москвой. Поэтому с такой легкостью растекались бунты по стране, не встречая особых препятствий. Вот свидетельство из немецкой диссертации, посвященной восстанию Степана Разина (1670—1671) и защищенной в 1674 г., т. е. вскорости после восстания: «Потомство вряд ли поверит тому, что один человек за столь короткое время занял такую территорию и опустошил такие области, что на пространстве в 260 германских миль все пришло в совершенный беспорядок»³⁴. Этих восстаний опасалась и Европа: не окажется ли страна после поражения московского правительства в руках более варварского и тиранического вожака, который бросит свои орды на Европу и затопит ее новым потоком? Царская Москва все-таки начинала признавать некоторые формы европейской жизни и уже желала, чтобы ее считали страной, подобной европейским.

³⁰ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 10.

³¹ Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992, с. 624.

³² Ключевский В. О. Ук. соч. Т. 2, с. 372.

³³ Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен. В кн.: Художественный язык средневековья. М., 1982, сс. 223, 226.

³⁴ «Стенко Разин донски казак изменник», т. е. Степан Разин донской казак изменник. Представлено на публичное рассмотрение под председательством Конрада Самуэля Шурцфлейша, выступил Иоганн Юстус Марций из Мальгаузена в Тюрингии 29 июля 1671 г. В кн.: Иностранные известия о восстании Степана Разина. Л., 1975, с. 71.

По мнению русских историков, смысл этого процесса был в том, что после поражения татар, *внешней Степи*, бунтовала *внутренняя Степь*, не желавшая поворачиваться к европейской, городской жизни вместе со всей страной. «Поднималась степь, поднималась Азия, Скифия, — резюмировал данный культурно-исторический конфликт С. М. Соловьев, — на великороссийские города, против европейской России»³⁵. Хотя эти восстания зачастую получали социальный характер, ядром их были казаки — тот слой русских людей (по мнению некоторых ученых сложившийся даже в этнос), который возник на основе «плодной дани», собираемой татарами с покоренной Руси. Из этих пленников, как считает историк казачества А. А. Гордеев, часть народа, предназначенная для пополнения вооруженных сил монголов, селилась на указанных ими землях, обзаводилась семьями и основывала военные поселения. Вооруженные силы Золотой Орды и были той школой, в которой сформировалось казачество. Впоследствии, в течение истории казаки были и за, и против степняков (защищая границы Руси), но очень долго превалировало в их поведении степное, варварское: грабеж окрестного населения, своего и чужого. Поэтому так легко они сливались с шайками разбойников и иными элементами, недовольными существующим порядком вещей. Это признавали и монархисты начала XX в., видевшие в казаках опору трона. Так, известный русский философ-монархист И. А. Ильин писал: «Не было в старину твердой грани между разбойниками и казаками, эта грань появилась лишь тогда, когда «вольные люди» приобретали *оседлость и имущество*, когда начиналось *огосударствление* «удалых добрых молодцев» и когда храброе казачество заселяло и обороняло русские окраины. Тогда *анархия* постепенно принимала закон и подданство»³⁶.

Понимание разбойника как потенциального революционера было характерно для русских нигилистов, скажем, для М. А. Бакунина, считавшего самодержавие порождением «германской Европы» и видевшего «светлое будущее» России в «стихийно-народно-социальной революции». А ее основу, по его мнению, должен составить «казачий воровско-разбойничий и бродяжнический мир», который всегда «играл именно эту роль совокупителя и соединителя частных общинных бунтов и при Стеньке Разине и Пугачеве»³⁷.

Бесконечные бунты XVII в. привели к новой попытке государства укрепить свою власть, сменив *форму деспотизма*, наделив не только обязанностями, но и правами целое сословие — дворянство, *правами и собственностью* (имения, бывшие раньше жалованьем за службу, были превращены в частную собственность дворянства). Раньше все сословия были перед государством равно бесправны. Теперь же дворяне получили над народом власть не только по долгу государственной службы, но еще и как частные лица. Народ же оказался в новом, как бы двойном рабстве: уже не только у государства, но и у частных владельцев. К тому же дворянство приобщилось и к европейской культуре — обстоятельство, еще больше отделившее его от народа, пребывавшего в области просвещения, говоря словами С. Н. Булгакова, на уровне киевского князя Владимира. Так, внутри одной страны возникли, по существу, два типа цивилизации. Кровавая «пугачевщина» (1773—1774), уничтожившая всех представителей культурного европеизированного слоя, хоть и подавленная, была грозным предостережением, что, оставив народ лишенным собственности и прав, послепетровская империя заложила основу растущего противоречия и более страшного стихийного взрыва.

И все же именно реформы Петра Великого стали, пожалуй, самой радикальной попыткой структурировать российский хаос, придать цивилизованные формы российской бесформенности и расхлябанности. Не говоря уж о Пушкине, чье творчество явилось отдаленным результатом петровских преобразований и который к образу и деяниям Петра обращался постоянно; напомним мнение Михаила Ломоносова — прямого наследника петровской идеи просвещения России. Именно он, великий ученый-энциклопедист и поэт, равно почитаемый и западниками, и славянофилами, чувствовал, что своим существованием он обязан петровской ревности к наукам. Петр казался ему Творцом России, «земным божеством России». Он писал (в «Надписи 1 к статуе Петра Великого»):

Се образ изваян премудрого Героя,—
Что, ради поданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,

³⁵ Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983, с. 147.

³⁶ Ильин И. А. Наши задачи. В 2-х тт. М., 1992, т. 2, с. 83. Выделено И. А. Ильиным.

³⁷ Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989, с. 542.

Свои законы сам примером утвердил,
 Рожденны к Скипетру простер в работу руки,
 Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.
 Когда Он строил град, сносил труды в войнах,
 В землях далеких был и царствовал в морях,
 Художников сбирал и обучал солдатом,
 Домашних побеждал и внешних сопостатов;
 И, словом, се есть Петр, отечества Отец.
 Земное божество Россия почитает,
 И столько олтарей пред зраком сим пылает,
 Коль много есть Ему обязанных сердец.

В этих строчках Ломоносов, по сути, описал практически все усилия Петра по преобразованию России, которые должны были вернуть ее в Европу как равно мощное государство. Петровские реформы, однако, не решили да и не могли решить проблему европеизации *всей* России. Даже культивация и цивилизация верхнего слоя были чрезвычайно трудными, требовали колоссальных усилий и заняли не меньше столетия. Помимо всего прочего, для этого преобразования не хватало средств, экономика была слаба, и создание нужного государству слоя образованных русских проводилось путем усиления гнета над основной массой населения. Поэтому, опасаясь народа, высшее сословие в массе своей оказалось зависимым от самодержавия, обладавшего силой и возможностью держать низшие слои в повиновении. Отсюда и следствие: дворянство усилило государственную власть, но самостоятельности не приобрело. А поскольку большинство народа оставалось в положении рабов, подлинная цивилизация так и не состоялась тогда в России, ибо дворянство не стало самостоятельной силой. Сложилось то, что Бакунин удачно назвал «государственной цивилизацией»³⁸. Подобная цивилизация в конечном счете основой своего существования по-прежнему считала принуждение, деспотическую власть.

Вместе с тем введенные в Россию, хотя бы и частично, экономические и социокультурные принципы западной цивилизации расшатывали монолит самодержавия, требовали создания законов, обеспечивающих права собственности, права личности, создания, по сути дела, гражданского общества, которое, разумеется, было противоположно и противопоставлено принципам российского деспотизма. В значительной степени вынужденные обстоятельствами (поражение в Крымской войне) реформы Александра II двинули страну, казалось бы, в европейском направлении — постепенном наделении всего народа правами и возможностью иметь собственность. Однако — в каком-то смысле естественное — опасение самодержца дать «слишком много» свобод, тем самым ослабить государственную власть и вновь разбудить стихию, наподобие пугачевской, сдерживало его преобразования. Возможно, вовремя принятая конституция, включившая бы все движения и зарождавшиеся партии в легальные рамки, купировала бы радикальные движения, во всяком случае, умерила бы призывы к насильственному ниспровержению режима. Ведь стесненные произволом самодержавия радикалы, отнюдь даже не самые кровавые, вроде, например, П. Л. Лаврова, начинали видеть — вполне всерьез — в разбойничьей пугачевщине прообраз грядущей социальной революции, способной дать свободу России.

К этому надо добавить, что поначалу для народа были ощутимы лишь недостатки реформ: к неизжиткам крепостничества добавился капиталистический гнет в его самой дикой и примитивной форме. Успехи и рост промышленности, свободного предпринимательства, расцвет духовного творчества стали вняты только спустя время, когда, к сожалению, эпоха ушла в прошлое. Некоторые трезвые голоса (Д. И. Менделеев в работе «К познанию России». СПб., 1906), говорившие что, если обойтись без потрясений, Россия к 1930 г. догонит наиболее развитые страны, разумеется, были заглушены хором нетерпеливых. И, надо сказать, в этом хоре голос большевиков не был самым громким. Революцию торопили все партии. Забывалась русская история, показывавшая необходимость союза реформаторов и правительства — для мирного вхождения в цивилизацию. Но и государство не шло на встречу реформаторам, не учитывало и народных требований.

Сегодня говорят, что большевики обманули и изнасиловали народ, согнули и загнали в лагерь. Но так ли было на самом деле? Нельзя забывать, что русский народ, погруженный, по словам европейца Энгельса, «в трясины внеисторического существования», *пошел за большевиками*. Иначе бы они не победили. В лагерь народ действительно загнали и голодом несколько миллионов уморили, но — потом. А

³⁸ Там же, с. 396.

вначале — и в этом-то весь ужас ситуации — народ сам всколыхнулся и сам пошел громить уже появившиеся в России элементы европейской цивилизации. Второй раз в русской истории победила стихия (первый раз «чужая» — татары, второй раз — «своя», в 1917-м)³⁹.

2. Победа стихии в революционной России

Буквально в первые же годы «перестройки» не было, кажется, ни одного журнала, ни одной газеты, не обратившихся за «демократическими примерами» к периоду Временного правительства. Период с февраля по октябрь 1917 г. очень долго выглядел в нашей прессе неким социальным идеалом, которому надо бы подражать, к которому необходимо вернуться. Забывалось только, что большевики все-таки победили демократов, и хорошо бы сегодня, в условиях всеобщей неврастии, понять причины поражения — сначала монархии (уже достаточно европеизированной), а затем и демократической коалиции начала нынешнего века.

а) Неспособность власти к реальному контакту с обществом и народом

Начиная с эпохи Николая I, оформилась идеология о единении самодержавия и народа. Это было справедливо для Московской Руси. Но бунташный XVII в. показал, что ситуация изменилась. И идеологическая схема николаевской эпохи говорила уже о должном, а не о сущем. Рост радикальной оппозиции заставлял самодержавие все больше и больше опираться на схему, жить по схеме, а не по реальности. Иллюзия единства давала силу властному аппарату, уверенность в своей правоте. К началу XX в. контакт самодержавия с народом достиг высшей степени иллюзорности. Даже желая сблизиться с народом, узнать его реальное мнение, царское правительство осуществляло это не путем демократических процедур, а по определенной идеологической схеме.

Скажем, в грозные военные и предреволюционные годы царь слушал не прессу, не депутатов Думы, а «представителя народа» (но народа не реального, а выдуманного, мифологизированного) — знаменитого Григория Распутина. Его явление было возможно только на почве укоренившейся идеи о «народе-богоносце». Но Распутин явил в себе как бы две ипостаси народа, о которых писал Достоевский: с одной стороны, пьяная, языческая «карамазовская» стихия, с другой — кающаяся, странническая, идущая замаливать грехи к «старцам» как носителем русской православной истины. Гришка и был, с одной стороны, блудником и пьяницей, с другой — православным старцем. История словно бы посмеялась над великим писателем, надевшимся излечить русскую стихию старчеством. И как раз после того, как Гришка, «носитель народности и православия», был приближен к трону, трон и царская Россия зашатались. Ни православная церковь, ни государство не смогли обуздать разгул языческой народной стихии, напротив, словно бы даже поощряли ее, видя в ней специфику народного духа: грех, а затем покаяние.

Петровские европеизирующие устремления, структурировавшие Россию, скреплявшие ее, были подвергнуты сомнению и отринуты. Искус национализма оказалось чрезвычайно силен, а в той ситуации и обрекал на гибельный путь. Был совершен в начале первой мировой войны символический отказ от петровского наследия, то есть произошло, говоря словами Степуна, «бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград»⁴⁰. Торжество романтического почвенничества на самой вершине государства привело к пришествию «старца» Распутина, массовому изготовлению для армии так называемых «богатырок» (перехваченных большевиками и утвердившихся в восприятии масс как «буденовки»), появлению Петрограда вместо Санкт-Петербурга... Город лишился своего святого, а при большевиках, несмотря на формально исповедуемый ими марксистский интернационализм, во многом продолживших националистические тенденции последних Романовых, и своего имени, перестав быть и столицей. *Петровский период закончился*, власть вернулась в Москву. Произошел

³⁹ Интересно указать на одно историософское сближение двух понятий: знаменитый католический мыслитель Жозеф де Местр, много писавший о российских проблемах, называл степные, стихийные завоевания «*тамерланическими* революциями» (Местр Жозеф де. Петербургские письма. 1803—1817. СПб., 1995, с. 33. Курсив де Местра).

⁴⁰ Степун Федор (Н. Лугин). Из писем прапорщика-а, тиллериста. М., 1918, с. 9.

предугаданный Пушкиным в «Медном всаднике» потоп. Именно об этом в двухсот-летнюю годовщину смерти царя-преобразователя (28.1.1925) написал Бунин в стихотворении «День памяти Петра»:

«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...»
О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и царь расторгли ныне!
Где град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?
*Хлябь, хаос — царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.*
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад —
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.
И все ж придет, придет пора
И воскресенья и деанья,
Прозрения и покаянья.
Россия! Помни же Петра.
Петр значит камень. Сын Господний
На Камени созиждет храм
И скажет: «Лишь Петру я дам
Владычество над преисподней» (курсив мой.— В. К.).

Николаевский самодержавный национализм оказался несостоятельным в управлении европеизирующейся страной, не сумел избежать потрясений и разрешить возникавшие противоречия нового типа, направив их в русло эволюционного развития. Недовольство самодержавием, потерявшим связь с реальностью, в образованном обществе было всеобщим. Даже монархисты и «патриоты» предлагали, судя по записям французского посла, «национальную революцию». Конечно, «патриоты» верили, что «национальная революция» обойдется без бунта, ибо в русском народе содержится «величайший очаг идеализма, какой только есть на свете»⁴¹. Но здравомыслящие, в том числе и приближенные к верхам, люди считали это всеобщее недовольство образованных слоев правительством признаком надвигающейся катастрофы. Морис Палеолог в дневнике от 13.XI.1915-го приводит слова одного из русских сановников, говорившего, что прогрессисты, кадеты, октябристы и прочие либералы «ведут нас к революции, которая... унесет их самих с первого же дня: ибо она пойдет гораздо дальше, чем они думают; ужасом она превзойдет все, что когда-нибудь видели... Когда мужик, тот мужик, у которого такой кроткий вид, спущен с цепи, он становится диким зверем. И снова наступят времена Пугачева... Русский народ самый покорный из всех, когда им сурово повелевают; но он не способен управлять сам собою... Он нуждается в повелителе... Может быть, это происходит у нас от долгого татарского владычества. Но это так»⁴².

Неспособность управлять самим собой — иными словами, это бытие в произволе. Но подобные голоса были редки. Скажем, прогрессисты полагали, что народ уже просвещен и созрел для подлинной социальной революции, а патриоты были уверены, что народ изначально «свят» и не способен ко злу. Беда, однако, была в том, что железная власть самодержавия ориентировалась на тот же российский архетип — *архетип произвола*. Произвол народной стихии покорялся произволу самодержавной власти, воспитывая и в маленькой кучке оппозиционеров все ту же наклонность к произволу. «Мы во все вносим идею произвола... мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения...»⁴³ — писал Чернышевский. Тягу русских радикалов и нигилистов к бесконтрольному манипулированию и управлению чужими судьбами прекрасно показал Достоевский в «Бесах».

Самодержавие искало мифологический контакт с народом, чувствуя, что народ меняется, что европеизация пробивает себе дорогу во все более широкие слои народа, что одного произвола уже недостаточно. Но правовые структуры цивилизации только начинали складываться: царизм изо всех сил тормозил их развитие. Народ не знал демократических институтов. Поэтому, когда государство ослабело, си-

⁴¹ Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991, с. 195.

⁴² Там же, с. 225.

⁴³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 15-ти тт. Т. 7, М., 1950, с. 616.

лой сдерживать оппозиционные тенденции не могло, а иных средств разрешения конфликтов не знало, вспыхнувший взрыв, поддержанный и обществом, и народом, уничтожил все сдерживающие скрепы, и стихия вышла из берегов, затопляя все цивилизованное пространство, унося под воду государственные учреждения, законы, сметая нормы морали, права, разрушая не только элементы цивилизации, но и нормы традиционного общества. «В том-то и дело,— удивлялся С. Булгаков,— что революции у нас никто не делал и даже никто по-настоящему так скоро и не ждал: она произошла сама собой, стихийной силой»⁴⁴.

б) Социальная революция или стихийный бунт?

То, что произошло в России в 1917 г., те «десять дней, которые потрясли мир» (Джон Рид), и друзья, и враги установившегося большевистского режима называли социалистической революцией, или на худой конец социальной революцией. Слишком грандиозны были масштабы разрушения всех прежних социальных, экономических, государственных, правовых и культурных структур. И слишком заманчивы и убедительны для европейского слуха обещания и лозунги новой власти о построении принципиально нового, справедливого общества. Безусловно, были в этом потрясении и элементы чисто социального возмущения и гнева. Однако может ли лозунг «грабь награбленное», брошенный тогда в массы революционерами, быть выражением жажды социальной справедливости?

Казалось бы, самые главные печальники за русский народ — русские писатели — наиболее жестко и непредвзято отреагировали на произошедшую со страной катастрофу. Независимо от политических пристрастий писатели и поэты определяли свою эпоху как время апокалипсически разбушевавшейся стихии, находя аналогии происходящему в бунтах Степана Разина и Емельяна Пугачева (поэмы С. Есенина, В. Хлебникова, В. Каменского и др.). Прислушаемся к названиям произведений и «красных», и «белых» писателей: «Взвихренная Русь» А. Ремизова, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Голый год» Б. Пильняка, «Рожденные бурей» Н. Островского, «Двенадцать» А. Блока, «Окаянные дни» И. Бунина, «Царство Антихриста» Д. Мережковского, «Черная книжка» З. Гиппиус, «Солнце мертвых» И. Шмелева, «Хождение по мукам» Л. Толстого, «Бич Божий» Е. Замятина... Во всех этих названиях — ощущение смуты, охватившей страну, неуправляемых стихий, губительных для человека, рождение нового и гибель старого мира, движение масс, новые двенадцать апостолов, за стихийной жестокостью которых Блок провидит Лик Христа,— короче, во всех этих произведениях чувствуется накал почти космической катастрофы. И даже в таком внешне нейтральном заглавии, как «Конармия» И. Бабеля, если вдуматься, скрыт тот же смысл — пробудившейся стихии. «Конармия» есть сокращение от «конной армии», т. е. ударной силы Степи, кочевников, варваров, вновь обрушившихся на цивилизацию городов. Сам Бабель, думается, именно так и понимал название своей книги. В его недавно опубликованных дневниковых записях периода, когда он был участником похода буденновской конницы, эта мысль и впрямую выговорена: «Это не марксистская революция, это казачий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть... к богатым, к интеллигенции, неугасимая ненависть»⁴⁵.

Сами большевики, говоря, что они совершают социалистическую революцию, называли себя выразителями нужд и интересов народа, а поначалу и в самом деле сливались с народной стихией, на ее гребне взлетая к власти. Бунин зло иронизировал: «Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшее чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром»⁴⁶. Россия переживала «пугачевщину», но «пугачевщину» особого рода. Жозеф де Местр как-то заметил, что России следует опасаться Пугачева с университетским образованием, ибо он сможет довести бунт до победы, а перед Европой закамуфлировать суть происходящего привычными для европейского слуха понятиями. Таким человеком оказался Ленин, взявший на вооружение европейскую теорию марксизма, не имевшую никакого отношения к реалиям России (по словам самого Маркса). Объявив русский бунт социалистической революцией, он посеял смущение в головах европейских прогрессистов, поддержавших Октябрьский переворот и Советскую Республику. *По сути де-*

⁴⁴ Булгаков С. Н. Ук. соч. Т. 2, с. 580. Курсив С. Н. Булгакова.

⁴⁵ Бабель И. Конармия. М., 1990, сс. 178—179.

⁴⁶ Бунин И. Окаянные дни. С. 96.

ла, Октябрьская революция явилась первым в русской истории победившим бунтом. Даже близкий к большевистским вождям Максим Горький так оценивал происходившее в 1917 г.: «В этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов социальной революции. Это русский бунт»⁴⁷.

Не случайно и Бердяев выводил диктатуру большевиков из специфики русской истории, видел идейные корни «русского коммунизма» в русской, а не европейской мысли, говоря, что объяснить «русские события» (революцию, гражданскую войну и дальнейший террор) можно (и нужно) прежде всего через русские реалии — склонность к стихийности, бунту, нигилизм, произвол и т. п. Большевики уверяли весь мир и самих себя, что их революция есть событие совершенно небывалое в истории человечества — по замыслу и новизне форм. Сошлось опять на злонаблюдательного Бунина: «Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все *старо* на Руси и сколь она жаждет прежде всего *бесформенности*. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь, классическая страна буяна»⁴⁸. На несколько лет в нашей стране воцарился повсеместный произвол. Пределов насилия не было. Все списывалось на ситуацию революции и гражданской войны. Поначалу большевикам было выгодно это всеобщее разрушение прежних структур управления, могущих возглавить отпор им самим. Но потом стихия стала грозить и их собственным претензиям на власть. Из партии разрушителей они стали партией собирателей, по сути дела, взяв на себя функции самодержавия.

Организация большевиков была достаточно амбивалентна. Выросшая в подполье, строившаяся на принципе произвола по отношению к обществу и историческому процессу, она была притом спаяна — в отличие от разбойничьей вольницы — железной дисциплиной и могла стать (и стала) костяком нового, но не менее, а более деспотического государства. К этому добавим, что установка большевиков на произвол и насилие оказалась в данном случае организующим и структурирующим ферментом: они, как некогда татары, собрали распадавшуюся Россию. Идеи коммунизма как бы санкционировали насилие и оправдывали его в глазах Европы.

Стихия народного произвола была страшна. Но большевики жестокостей не боялись. Все рассказы о бессудных расстрелах в чрезвычайках сегодня подтверждены документально. Существует устойчивое представление, что большевики поначалу расстреливали только оппозицию да представителей правящих классов. Действительно, в первые годы острие красного террора было направлено в эту сторону — с полного одобрения народа, видевшего в интеллигенции и всех обеспеченных слоях своих врагов. Однако здесь необходимо важное уточнение: большевики с самого начала уничтожали *всех, кто был против их линии*, невзирая на социальное происхождение. И степень их жестокости — в своей методичности и целенаправленности — превысила степень стихийной народной жестокости. Произвол был побежден еще большим произволом. В своих воспоминаниях кадет и бывший «веховец» А. С. Изгоев, арестованный в первый же год нового режима, приводит многообъясняющую фразу своего сотоварища по советскому концлагерю 1918 г. Собеседник Изгоева был полон иронии к кадетам и другим либералам — западникам, но с почтением относился к большевикам. «Русскому народу, — нередко говаривал он мне, — только такое правительство и нужно. Другое с ним не справится. Вы думаете, народ вас (т. е. кадетов. — В. К.) уважает. Нет, он над вами смеется, а большевика уважает. Большевик его каждую минуту застрелить может»⁴⁹.

Новая власть инстинктивно ощущала, что должна, пользуясь выражением Салтыкова-Щедрина, «ужаснуть народ». А потом возник миф о единстве партии и народа, так напоминавший старую формулу о единстве православия, самодержавия и народности. Сработал архетип единства народа и власти во имя борьбы с общим врагом — «буржуазным окружением». Большевики же даже против народа действовали «во имя народа» и «именем народа». Поэтому обманутый и ограбленный народ, снова отброшенный в сторону от благоустроенной, цивилизованной жизни, был тем не менее убежден, что он — главный, что он самый великий и счастливый народ в мире, ибо все делается ради него, а жестокость по отношению к себе он прощал, понимая произвол власти как суровую необходимость для усмирения его соб-

⁴⁷ Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990, с. 99.

⁴⁸ Бунин И. Ук. соч. Сс. 163—164. Курсив И. Бунина.

⁴⁹ Изгоев А. С. Пять лет в Советской России. В кн.: Жизнь в ленинской России. London, 1991, с. 72.

ственного произвола. Иными словами, из рабства рождается произвол, а из произвола — снова рабство. Ибо сталинский тоталитаризм можно определить еще и как застывший, непрекращающийся произвол.

Искать сегодня конкретные причины поражения либерально-демократических, так сказать, «европейских» тенденций, пробивавшихся в начале века в монархической России, занятие, с одной стороны, бесперспективное, но, с другой, — поучительное. Бесперспективное, поскольку все гадания типа «а что было бы, если бы...» нелепы. Произошло то, что при том раскладе сил не могло не произойти. Поучительно же — чтобы понять, работают ли сегодня те же механизмы, которые вызвали взрыв стихии в начале века.

в) Причины победы бунта в 1917 г.

1. Неминуемо первым фактором, создававшим напряжение в стране, следует назвать социальное расслоение, возникшее с реформ Екатерины II с «первой русской приватизации», когда значительная часть народа оказалась в рабском положении и даже не попробовала, что такое частнособственнические отношения, *не прошла через опыт владения частной собственностью*, как прошло практически все население Западной Европы. Иными словами, большая часть народа не искала своих прав, *ее реакция на гнет была одна — чисто разрушительная*.

2. Ситуацию усугубила война, причем война не локальная, а мировая, требовавшая массовой мобилизации, поставившая под ружье и приучившая несколько миллионов русских людей к убийству. К этому надо добавить голод и разруху в тылу, отсутствие патронов и военного снаряжения на фронте, в результате ряд серьезных военных поражений и озлобление к собственному правительству.

3. Военные неудачи всегда приводили Россию к либерализации и социальным, и политическим реформам. Но обычно это происходило на фоне сравнительно спокойных европейских дел, а также прекращения военных действий в обстановке мира. На этот раз недоверие к правительству и требование реформ возникли во время войны, да к тому же в ситуации *военного безумия самой Европы*. Европа не только не понимала опасности русского бунта, напротив, *провоцировала его*: в данном случае речь идет о Германии, пытавшейся поддержкой большевиков разрушить Россию изнутри («пломбированный вагон», в котором приехал Ленин со товарищи, немецкие деньги большевикам и т. п.).

4. Российский *мессианизм*, возникший, очевидно, не случайно — по причине скрещения мировых противоречий на тот момент в России (противоречий, свойственных Западу и Востоку, капитализму и крепостничеству и т. п.). Россиянам казалось, что Россия укажет дорогу всему миру. На волне такого мессианизма возможны любые потрясения.

5. Историческое вырождение монархической системы правления, выразившееся в *бессилии* царизма остановить народное возмущение, в *отречении* в самый критический для России момент правящей династии от трона, что лишило страну во время войны единственной — легитимной — на тот период власти и основы государства.

6. *Заискивание* всех пришедших в феврале к власти *партий перед народом*. Это привело, во-первых, к развалу армии (издан приказ № 1 о разрешении смещать и назначать командиров выборным путем, что неминуемо вело к превращению армии в разбойничью вольницу). Во-вторых, постоянные призывы отбирать у помещиков землю, не дожидаясь правовых решений, т. е. методами насилия, что развращало народ, лишая его всякого уважения к закону. В-третьих, упразднение органов правопорядка (уже в марте была распущена полиция, что должно было символизировать победу над «царскими сатрапами и насильниками»), а на деле означало разрешение на грабежи и разбой всем темным элементам).

7. *Решение постфевральским правительством всех проблем неправовым путем*. Коренные вопросы национальной жизни решались не конституционно, не на основе закона, а посредством декретов и указов, утверждая в народном сознании идею произвола, психологически подготавливая народ к большевистским методам.

8. *Нелегитимность Временного правительства*: обстановка, которое само Временное правительство постоянно подчеркивало, а потому его указы могли нести лишь разрушительную энергию, но не созидательную. Нелегитимное, не избранное народом правительство и не может быть правовым: существование его — нонсенс.

9. *Закономерность победы большевиков, ибо нелегитимно править может только диктатура*.

3. О возможности цивилизации сегодняшней России

Желая и предчувствуя крах большевистской диктатуры, русские философы-эмигранты вместе с тем тревожились, как переживет Россия эту новую ломку. «Момент падения коммунистической диктатуры,— писал Г. П. Федотов,— освобождая национальные силы России, в то же время является и моментом величайшей опасности»⁵⁰. Всякий конец сложившегося образа жизни, пусть и тяжелейшего, но к которому народ притерпелся, чреват неожиданностями. Более всего виделась опасность нового стихийного бунта, который породит неминуемо новую диктатуру. Отчасти об этом слова Н. А. Бердяева: «Внезапное падение советской власти, без существования организованной силы, которая способна была бы прийти к власти не для контрреволюции, а для творческого развития (...), представляла бы даже опасность для России и грозила бы анархией»⁵¹. Ожидаемое падение свершилось. Причем не революцией, не нашествием извне, а в результате самоизживания, естественного ослабления режима.

Что же у нас произошло? Началось все с переворота внутри партаппарата, переворота, который сегодня называют «аппаратной революцией», а еще недавно у нас и во всем мире называли «перестройкбй». Переворот, совершенный партийной верхушкой, преследовал вполне конкретные прагматичные цели. По сути дела, проиграв «третью мировую», партаппарат решил пожертвовать трупом Ленина и идеологией марксизма, чтобы достигнуть компромисса с Западом. Александр Ципко объявил виновником всего пришедший к нам с Запада марксизм, словно бы и не поняли русские мыслители-эмигранты уже в конце 30-х годов, что марксистами были не только большевики, но и их самые активные противники — меньшевики, что «большевизм может произрастать не на одной марксистской почве. Ленин был сомнительным марксистом. Сталин вообще никакой марксист. В России Маркс только имя без содержания... Большевизм — это культура тоталитарной злобы»⁵². Но под прикрытием борьбы с марксизмом происходил более серьезный процесс: партийная бюрократия старалась приобрести иной социальный статус, связанный не только с пребыванием во властной иерархии (как правило, недолговечным), а ценностями более прочными и долговременными, которые можно передать по наследству. Под видом демократизации и создания экономики наподобие западной партийно-государственная номенклатура постаралась использовать свою политическую власть для *приобретения капитала*.

При этом, конечно, не допуская народ до «второй русской приватизации» — дележа на «частные куски» государственного пирога. Но аппаратная революция, т. е. перестройка, логикой движения поневоле вовлеченных в аппаратные игры масс приобрела отчасти и реформаторское направление. Не говоря уже о возникшем желании немалой части народа тоже получить собственность, ее сломали два движения: во-первых, сепаратистское — бывших республик империи; во-вторых, демократическое. Нынче демократы расстраиваются, что аппаратчики прикрылись их лозунгами для достижения своих корыстных целей и тем самым опорочили идеи демократии, попутно совратив и купив кое-кого из демократических деятелей. Демократия, однако, стала оценочным критерием деятельности нынешних правителей. И этого критерия большинство из них не выдерживает (стоит открыть любую газету). Хотя, конечно, тем самым идеи западного демократизма оказались подорваны беззащитной коррумпией псевдодемократов.

В результате в массовом сознании идеи вестернизации прочно связались с торжеством коррупции, мафиозных игр разнообразных нынешних властей, с развалом экономики и заметным снижением уровня жизни. Разумеется, к действительно европейскому происходящее у нас в последние годы имеет пока что мало отношения, ибо европеизм там — не могу не согласиться с Л. Баткиным,— «где модернизируется экономика, политика, все жизненные отношения и возникает принципиально открытая, сознательно спорящая внутри себя, актуально не совпадающая с собой культура... «Запад» в конце XX века — не географическое понятие и даже не понятие капитализма... Это *всеобщее определение* того хозяйственного, научно-технического и структурно-демократического уровня, без которого немислимо существование любого истинно современного, освобожденного от докапиталистической архаики общества»⁵³. У нас пока слишком много оснований для тревог, недовольств и

⁵⁰ Федотов Г. П. Лицо России. Paris, 1988, с. 287.

⁵¹ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 120.

⁵² Федотов Г. П. Защита России. Paris, 1988, с. 203.

мрачных предчувствий и пророчеств. Ясно, однако, причем всем, что возврата не будет. Слишком много произошло необратимых событий, показавших в том числе снижение эдгерийного уровня стихийности, до сих пор служившей одним из препятствий укрепления цивилизованных, а в этом смысле и европейских принципов жизни.

Поэтому постараемся не обращать внимания на взаимоотношения властей и бывшего партаппарата, бывших диссидентов и так называемых «демократов по убеждению», коммунистов, националистов и фашистов... Все это рябь на воде, не определяющая течение, поверхностные, внешние характеристики происходящего процесса, а не его сущность. Если отбросить все слова о якобы складывающемся у нас капитализме и возврате к дореволюционной России, мы увидим, что на самом деле произошло лишь одно: распад империи, т. е. мы второй раз после февраля 1917 г. вступили в полосу тяжелейшего кризиса определенной структурной организации, стабилизировавшей в свое время взаимоотношения разнородных недоцивилизованных, не преодолевших еще свою стихийность элементов на одной шестой части суши. Однако на сей раз этот распад не имеет лекарства вроде интернациональной идеологии марксизма, ставшей инструментом постреволюционного собирания империи. И, что существенно, кризис проходит в другой геополитической и культурной обстановке. Во-первых, Европа сегодня не враждебна России, напротив, заинтересована в ее стабильности как державы, обладающей ядерным оружием и огромным количеством АЭС. Во-вторых, нет пока что внутренних катаклизмов, которые в начале века проходили под лозунгом борьбы труда и капитала. А войны, которые шли и идут на окраинах бывшего СССР, хоть и дестабилизируют ситуацию, не совпадают по своей направленности с противоречиями Центральной России.

Об идущем распаде традиционных структур, державших империю, пишут публицисты, пишут ученые. На самом деле распад, чреватый взрывом, катастрофой, произошел в 1917 г. и диктатура большевиков была реакцией архаического общества, пытавшегося отсрочить свою гибель. Это был последний выброс архаично-варварской стихии с самым большим за всю историю России энергетическим потенциалом, выброс, длившийся почти полвека (1917—1956), когда сметались и уничтожались целые пласты традиционного русского общества. Сегодня мы присутствуем при завершении этого процесса, который пришел к тому, с чего начался: к распаду империи. Можно предположить, что, пережив такую страшную эпоху господства враждебной личности стихии — сначала во взрыве народных страстей, а потом в форме сталинского террора, — Россия получила своего рода прививку от новой Смуты, а также шанс на построение нового, непривычного для нее типа общества.

Сказать, что этот процесс будет легким, петь ему дифирамбы и утверждать, что он быстро приведет нас в благоую жизнь, было бы непростительным легкомыслием. Тем менее возможно думать, что этот процесс пойдет более гладко, чем он шел в Европе, и займет небольшой промежуток времени, что мы проскочим за несколько лет тот путь, которым Европа шла столетия. Такого рода самообман уже был в Октябре семнадцатого. Процесс этот будет долгим и, пожалуй, непохожим на европейский. Потому что и история у нас была другая. Можно, однако, кое-что предположить, исходя из опыта прожитой нами советской эпохи.

Эту эпоху ведь нельзя вычеркнуть из нашего сознания, мы в ней росли и развивались, и, полностью отрицая ее, мы тем самым отрицаем и себя, и возможность дальнейшей жизни нашего общества, в том числе и возможность европеизации, понятой как развитие свободных, самостоятельных сил России, которая в своем генезисе была составляющей частью Европы, к ней и идет. Своеобразие русской культуры в полной мере проявилось после петровского возврата к европейским началам, именно в постпетровскую эпоху Россия стала одной из влиятельнейших культурных сил мирового процесса. И в советский период российской истории отношение к Западу, западной культуре и свободе не было однозначно негативным. Отрицая его, у него учились, проклиная его, старались заимствовать отсюда технологию... Даже идеология — при всех издержках тоталитаризма — была ориентирована все-таки на европейскую философскую доктрину — марксизм. В русской историософии существует устойчивая точка зрения, что, начиная с Петра I, внедрение европейской культуры шло сверху. Образно говоря, сначала была построена крыша, потом верхние этажи, но все строение как бы висело в воздухе, не имея опоры в народной почве. Октябрьская революция мощным ударом стихии разрушила эти

⁵³ Баткин Л. Стань Европой. Век XX и мир. 1988, № 8, сс. 30, 31.

этажи и крышу, но парадокс постреволюционных лет состоит в том, что, несмотря на жесточайший террор, фундамент советской культуры строился из обломков культуры европеизированной «царской» России: образование, провозглашенное неотъемлемым правом советского народа, ориентировалось на европейскую науку, а нравственные принципы наследовались от русской классической литературы, воспитанной на идеале западноевропейской свободы. Все это в конечном счете создало многомиллионный слой советской интеллигенции, ставшей реальной силой в первые годы перестройки, пытавшейся демократизировать Россию, внести в народное сознание элементы правового порядка, перестроить на правовой основе отношения собственности, чтобы через опыт частнособственнического владения прошел весь народ и т. п.

Что же в результате? Очередная историческая неудача? Экономика пока в развале, общество нищает... Однако нынешнее разочарование в том, что происходит, постоянно *публично выражаемое*, свидетельствует о возникшей в обществе способности к самокритике — явлении, невиданном в советский период, а значит, и о европейском в конечном счете векторе движения. Пока это наш единственный гарант от застоя и возвращения на прежние круги. Сам факт этого сызнова (после гибели петербургской России) возникшего движения говорит, что в исконной российской борьбе между стихией и цивилизацией, возможно, наступил перелом в пользу цивилизации. Во всяком случае, понятно, что иная, противоположная направленность развития приведет к войне, тем самым к мировой катастрофе, а стало быть, обсуждать *этот* путь бессмысленно. Ибо ядерный апокалипсис находится за пределами историософских конструкций.



Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

Стихи и проза

ДВЕ ПРОГУЛКИ С ПАМЯТНИКОМ ПУШКИНУ

1

...И у стихов бывают юбилеи. Правда, отмечать их обыкновенно забывают. Наверно, потому, что не привыкли запоминать дату под словесным столбцом. Тем более — видеть в ней не машинально проставленное число, но нечто иное. Например, последнюю строку стихотворения.

Двести пятьдесят лет назад появилось первое переложение на русский язык одного из самых знаменитых сочинений мировой поэзии. Тридцатой оды Горация, обращенной «к Мельпомене». В литературном обиходе эти стихи традиционно именуется — «Памятник». Не обходится без недоразумений. Только попробуй назвать «Памятником» что-либо из написанного — оглянуться не успеешь, как его уже разобрали по косточкам и перемывают, сопоставляя и сравнивая не столько с античной одой, сколько с разнообразно-славными вариациями на тему оной. Доказывая тогда, мол, никаких ассоциаций и параллелей не имел в виду — кто поверит...

До Ломоносова, переложившего стихи Горация в 1747 году и годом позже включившего их в свое «Краткое руководство к красноречию», ничего подобного в русской поэзии не было. И не могло быть. Дело тут вовсе не в таланте стихотворца, которым Господь Ломоносова не обделил, а на предшественников не расщедрился. Просто такого рода «памятник-автопортрет» возможен стал не раньше, чем сознание художника обратилось на него самого, сосредоточилось на нем, обнаружило черты, никому другому не присущие. Каноническая «парсуна», знак в ряду исторических знаков, уступила место частному, уникальному «портрету».

В русской живописи, много прежде словесности бравшей европейские уроки, это произошло на исходе Петровской эпохи. Свидетельство тому — «Автопортрет с женой» Матвеева и «Автопортрет» Никитина. Поэзия опоздала ровно на столько времени, сколько понадобилось ей, чтобы из многообразия иноязычных опытов стихосложения выбрать наиболее подходящий к строю и звучанию русского языка — и усвоить его. Но, предвижу вопрос, какое отношение сказанное имеет к Ломоносову? Он-то ведь не собственные стихи слагал, а чужие перелагал, переводил — всего лишь в качестве образца «красноречия».

Не мни, переводя, что склад в творце готов:
Творец дарует мысль, но не дарует слов,—

предостерегал современник Ломоносова и его непримиримый литературный недруг Сумароков.

Ломоносов это знал и без напоминаний. Перелагая Горация, выбирал словарные значения, эхо которых касается и его самого, в чужих стихах едва уловимо проступает «автопортретное» звучание:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
.....
Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззатной род препятством не был,
Чтоб вносить в Италию стихи Еольски
И первому звенеть Алцейской лирой.

Вместо «меди» вернее было сказать «бронзы», ближе к Горацию. То, что Эллада ваяла в мраморе, Рим отливал в бронзе (кстати, Шервинский, античность знавший замечательно, переводя оду, так и сказал, без сомнений: «...бронзы литой прочней»). Ломоносов, как и многие русские переводчики оды, предпочитает, мне думается, более эффектный металл, красные, медные отсверки солнечных лучей ярче в не по-итальянски тусклом Петербурге, чем бронзовые блики. Яркость подражается, «крепче» — синоним «вечности», о которой два следующих стиха. Но это — вскользь, дальше — важней: «Что мне беззатной род...» Гораций говорит проще: из ничтожества, безвестности достиг права на бессмертие: «Я первый в Италии ввел Эолийское (т. е. греческое, классическое. — В. П.) стихосложение!» («Подумаешь, какой подвиг», — заметил Ходасевич, впрочем, не всерьез.)

Это ему, Ломоносову, «беззатной род» не помешало добиться признания во многих областях. А в поэзии у него, в сущности, «горациева» заслуга: *привил* силлабо-тонику (начал Тредиаковский, да поэтический калибр оказался не тот) к неповоротливой российской силлабике. И потому — первый претендент на лавры русского Алкея.

Полвека спустя Державин, чьи государственные заслуги были отмечены россыпью орденских звезд на груди, — казалось бы, по одному по этому вправе он рассчитывать на славу в веках, — заводит речь об иных своих отличиях. Сочиняет — в подражание Горацию — свой «Памятник». Переложение наподобие ломоносовского ему тесно, намеки недостаточны. Говорит от себя, в шестнадцать стихов «оригинала» уложить свое «самохвальство» не старается, и двадцати едва хватает, рифмуется искусно и звонко, созвучиями выделяя самые значащие слова. Увлекает читателя-слушателя патетически-темпераментным напором трех первых строф, чтобы, дойдя до размаха великанского:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея летет Урал,
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал...—

пообещать взрыв, но следует резкий спад, голос становится естествен, интонация — сама кротость, образец не красноречия, а простодушия:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

Что до «сердечной простоты» — возможно, намеревался, да получилось не совсем так. Совсем не так, скорей наоборот:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!

Прочее выглядит достоверней, но и тут не обходится без лукавства. Державин не так прост, как говорит: «В забавном русском слоге...» То есть стал писать оды простым языком, не чураясь иронии, «Фелица» — пример неотразимый. Но... есть и «Благодарность Фелице», и «Изображение Фелицы», где ровным счетом ничего «забавного»! Зато видится весьма неожиданный комментарий к эпитету — «русским». В последней из «екатерининских» од поэт обращается к Рафаэлю, дает ему преподробные — в четыре с половиной сотни строк — указания: *как* изобразить Фелицу — целую галерею картин.

Но такая галерея существует. Принадлежит кисти другого, тоже неплохого художника — Рубенса. И посвящена Екатерине Медичи, французской Grande Cathérine. В Лувре. Там есть и всадница — «Чтоб конь под ней главой крутился И бурно броды опенял», и многое другое — сходственное, и даже «Фелицею» — в подписях — героиня названа...

Державин, известно, в Париже не бывал, музея королевского не видывал. Да и без надобности — гравюры с картин Рубенса не Бог весть какую редкостью считались, что в Европе, что в России. Тем паче — эти, двором французским растиражированные. Незнакомство с ними российской императрицы и ее кабинет-секретаря, по совместительству — первого поэта, слишком маловероятно, чтобы принимать в расчет. Так что слышится тут лисья лесть: Рубенса русской Фелице не надобно, он другую писал, ей Рафаэля подавай...

Да, не забыть бы еще одну строку, даром что последнюю: «И истину царям с улыбкой говорить». Потому что сатиры и филиппики, спору нет, звучат красиво, героический ореол примерять — соблазн немалый. Однако занятие это неподотворно, ораторство целью становится, не средством. А вопрос в том, что для поэта су-

щественнее: сказать или быть услышанным? Если второе, то рецепт он предлагает очень хороший...

Пройдет еще двадцать лет — и умирающий Державин усомнится в своем праве на бессмертие, какое так решительно утверждал «Памятником». Выведет коснеющей рукой на грифельной доске:

...А если что и остается
 Через звуки лиры и трубы,
 То вечности жерлом пожрется
 И общей не уйдет судьбы...

Безнадежно уравнивает «лиру» поэзии и «трубу» государственных деяний. И не оставит места исключениям из правила.

Его опорит Баратынский — в стихах, с «Памятником», по видимости, мало общего имеющими. Но, вдуматься, о том же:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
 Но я живу, и на земли мое
 Кому-нибудь любезно бытие:
 Его найдет далекий мой потомок
 В моих стихах. Как знать? Душа моя
 Окажется с душой его в сношенье,
 И, как нашел я друга в поколенье,
 Читателя найду в потомстве я.

Этот свободный поиск души, «негромко» окликающей стихами — во времени и пространстве — всякого, кто способен услышать, далеко не так наивен и неприязнтелен, как может показаться, как помстилось некогда еще при жизни поэта, заговорившим — и по сию пору, устами наших современников, не умолкающим — о поразительной *скромности* Баратынского, отличающей его от прочих соискателей благосклонности Музы, или, если угодно, Мельпомены.

Но речь, пожалуй, вернее вести о смирении, которое, как известно, пуще гордости. Тут проступает честолюбие особого рода, более *прищельное*, конкретное, нежели обоснование права своего на бессмертную славу — былыми заслугами, чтимыми потомством по городам и весям.

Баратынскому такая историческая общеизвестность ни к чему. Он говорит о меньшем, но хочет едва ли не большего. Чтобы читали стихи — *его стихи*. Пусть один-единственный читатель, зато «далекий потомок», которому «любезно» сжатое до размеров *собрания стихов* и высвобожаемое читательским усилием, разворачивающееся перед ним «бытие» поэта. Сущей малости, всего двоих, совершенно достаточно, чтобы жизнь продолжилась, продлилась за умозримый предел. Кто не читал про это в Книге Бытия...

Он и о музе своей — в хрестоматийно-известном «Не ослеплен я музою моею...» — говорит примерно то же: не блистает, не красавица, не способна, да и не тщится покорять всех подряд. Только и отличается от остальных — «лица необщим выраженьем». Не подверженным переменчивой моде на стереотип красоты и привлекательности. Но однажды увидит ее далекий потомок. И — как знать?..

О таком личном, даже более того — интимном бессмертии русский поэт заговорил впервые. Баратынский никому не предложил, но для себя выбрал свой вариант *памятника*, какой возможен только у поэта. В честолюбии он мог бы поспорить с самим Горацием. Однако публику легко ввел в заблуждение, говоря вполголоса и вроде бы не пытаясь привлечь к себе внимание.

Поэтов, впрочем, провести не удалось. Они отлично поняли — и сказанное, и оставшееся в подтексте. С тех пор, как бы уравнивающая пафос переводов латинской оды и подражаний ей, возникают и множатся ритмические, созвучиями оснащенные размышления стихотворцев о стихах своих и о будущих читателях, о сомнительности *громкого* публичного успеха и о *тихом* вступлении — туда же, в бессмертие. Не всякий рискнет объявиться об руку с Горацием, но не могу назвать значительного поэта, у кого не было бы своего «эскиза памятника». Мысль о вечности не оставляет художника в покое. И он проговаривается. Хотя и делает подчас вид, что говорит о другом.

Впрочем, что у поэта — на уме, у графомана — на языке. Было бы поистине удивительно, если бы на предназначенной под памятник площадке не появился прославленный совершенно бесталанностью — или бесталанным совершенством — Хвостов. Но граф, обуреваемый манией стихосложения, разумеется, не подал повода удивляться. Он сочинил нечто, как всегда у него, замечательное. Поначалу назвал: «К моему портрету». Потом, помещая творение в очередной том своих опусов, уразумел, что требуется иное заглавие, более приличествующее в разделе «Надписи к портретам», чтобы слова не повторялись. Например, «В мой альбом».

Всего десять строк, достойных, на мой взгляд, дословного воспоминания, никакий пересказ до них не дотянется. Заодно и заключенное там сокровенное желание автора можно потешить. Итак:

Семидесяти лет, старик простосердечный,
Я памятник, друзья! воздвигнул прочный, вечный;
Мой памятник, друзья, мой памятник — альбом.
Пишите, милые, и сердцем, и умом!
Пишите взапуски, пишите, что угодно,
Пусть кисть и карандаш играют здесь свободно,
Рисует нежность чувств стыдлива красота,
Промолвит дружбы в нем невинной простота;
Я не прошу похвал, я жду любви — совета,
Хвостова помните, забудьте вы поэта.

И рады бы забыть — не получается. На то и *памятник*. Не стихам, так имени, ставшему нарицательным.

Не иначе как по склонности истории литературы к юмору эти вирши появились на свет почти одновременно с восьмистишием Баратынского. Комическое впечатление от них не ярче и не тусклее, чем от прочих произведений того же автора. Надо отдать графу должное: заметные качественные перепады его творчеству не свойственны. За неимением других достоинств приходится отметить разве что бросающуюся в глаза искренность, которую почему-то принято — в разговорах о стихах — числить признаком похвальным.

С непосредственностью, которой — у семидесятилетнего! — впору позавидовать, Хвостов, напомнив во второй строке державинский «Памятник» — и рифму оттуда позаимствовав, — излагает заманчивое предложение: возвести монумент ему, Хвостову, чужими усилиями. Пускай друзья потрудятся. Он все дело сделал — альбом завел. В неуспехе повинны будут они, исполнители. А успех на сцену вытолкнет его — автора замысла. Придуманно прелестно, под стать изложению. И удобно: в случае чего призыв можно и повторить.

Десять лет спустя он так и поступил. Переменил слегка первую строку — и по новой: «Осьмидесяти лет, старик простосердечный...» — и далее, с несущественными поправками. Доживи до девяноста, любопытно, как управился бы с версификационной проблемой: в числительном и слога не хватает, и ударение не там, где требуется. Однако обошлось...

Как ни парадоксально, этот случай претендует на большее, нежели пополнение нескудной копилки графоманских курьезов. Сам того не ведая и не желая, граф Хвостов пародирует... оба устремления в вечность. Вместо памятника — альбом (вероятно, с бронзовыми застежками, мне такие в архивах попадались — как раз из тех времен). Вместо собственных сочинений — чужие. Фарсовость ситуации говорит о том, что поэтическая традиция, начатая Ломоносовым, блистательно продолженная Державиным, по-своему поддержанная Баратынским, уже почти сделала злполучный шаг от великого к смешному. Убереечь ее лишь гению под силу.

Стихотворение Баратынского напечатано в «Северных Цветах» на 1835 год. Вне видимой связи с этой публикацией год спустя Пушкин написал стихи, воспроизводить которые лишний раз — читателя не уважать, выражать недоверие к его памяти и школьному прилежанию. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

Вообще говоря, когда б не Пушкин, весь интерес к этой *теме с вариациями* ограничился бы, я полагаю, сугубо академическими рамками. Возможно, добавилось бы два-три перевода оды к тем двум десяткам, что имеем, от Капниста до наших дней, специалисты обсуждали бы время от времени новые опыты передачи по-русски ритмических особенностей латинского стиха и прочее в том же роде, а читатель даже не подозревал бы о сей бурной научной деятельности. Пушкин с обычной, с какой-то небрежной даже непринужденностью вдохнул в эту тему жизнь на многие десятилетия, отбросил двойной свет в обе стороны от своего шедевра, назад и вперед. Уже и целая литература про все про это существует и продолжает пополняться, конца не видать. Критики, стиховеды, историки литературы дружно поименовали стихотворение «Памятником». Превратили его — своими рассуждениями — в «Памятник, воздвигнутый поэтом самому себе». В Памятник Пушкину.

Повод, правда, у него же и взяли, наверно, неосознанно. Резко выделенное в первом же стихе, как ни у кого до и после, под ударение, усиленное цезурой, вдвинутое — «себе». Этому слову непросто найти такое место в стихе, чтобы избежать эффекта побочного, слегка комического. Попробуйте сами «подвигать» его слева направо и обратно — всюду некоторая неловкость чувствуется. Пушкина сие, похоже, не смущает, он вколачивает неуживчивое слово в центр внимания. Школьникам опять же забава: резануть строку посередине, после шестого слога. Дескать, я и есть памятник. Себе.

Заглавия Пушкин стихам не дал. По глухим свидетельствам современников судя, намеревался назвать «Портрет», то ли «К моему портрету». Да не стал ассоциа-

цию с Хвостовым выявлять. Однажды уже бросил ему «патент на вечность» — мимоходом, в «Медном Всаднике» обмолвившись о поэте, «любимом небесами», и его «бессмертных стихах». И довольно с него. Не более чем догадка, конечно. Последняя авторская воля нам не известна.

Два источника своего сочинения он указывает недвусмысленно. Эпиграф взял из Горация. Державинским шестистопным ямбом воспользовался, да и другими видимыми сходствами не погнушался; про то уже немало понаписано, желающие могут ознакомиться. «Гений берет свое везде, где находит», — гласит французская поговорка. Однако, найдя, он с первого же стиха уходит от предшественников в сторону. В свою.

«Нерукотворный»... Этого слова никто, начиная с римского поэта «золотой середины», не употреблял. Пристальные пушкинисты не заметят его, понятно, не могли. Стали думать и гадать. Появилась даже такая работа (И. Сурат. О «Памятнике». Новый мир, 1991, № 10), где всем нам разъяснили, что подразумевается тут церковно-славянское «нерукотворенный» и восходит оно к Евангелию от Марка, даже еще дальше, читай — выше, к Спасу нерукотворному. Из чего следует, что стихотворение, в последний год жизни писанное, итоговое, знаменует решительный приход Пушкина к христианству, погружение в него. Помирать, правда, Пушкин не собирался, несчастный случай его подстерег. Но таково свойство стихов, оказавшихся предсмертными, — в них проступает смысл особый, пророческий.

Возразить как будто нечего. Кроме того, что Пушкин хорошо умел писать стихи. По черновикам его можно убедиться, что не знал устали, доискиваясь точного, единственного слова, чаще всего эпитета. Надо думать, если хотел сказать «нерукотворенный», так и сделал бы: ни лишний слог, ни сдвиг ударения ему не помеха, не Хвостов, чай. Может быть, все проще — и не впервые Пушкиным говорено? Например, что рукопись — *рукотворную* то есть — можно продать. Но не вдохновенье...

Дальше в стихах — ни «бронзы/меди», ни «пирамид»: Вместо этого — «народная тропа» (про «народ» еще будет, десять строк спустя) и петербургский «Александрейский столп». А бессмертие обозначено щедро — на полторы строки: «доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит». Ни от царя не зависимо — ни от народа.

Затем державинский взмах, с Севера на Юг: «Слух прйдет обо мне от Белых вод до Черных», — переkreщен своим, шире, с Запада на Восток, от «финна» до «тунгуса». Наконец: «И долго буду тем любезен я народу...» Отнюдь не вечно... Память немедленно подсказывает нечто противоположное — и тем же шестистопным ямбом сказанное: «Поэт, не дорожи любовью народной...» Не отрицание — оборотная сторона медали. Pro и contra. Но цитата — не доказательство. Цитаты можно подобрать под любое свое утверждение.

Ловить таким образом поэта на противоречиях — занятие столь же эффективное, сколь бессмысленное. Однозначностью, то есть ограниченностью, не стихи вызываются к жизни, но политические постулаты. Художник себе не противоречит. Его ведет «талант двойного зренья» (Георгий Иванов). Он видит всякое явление с разных точек — и подчас одновременно. Он отличается от прочих людей, в частности, тем, что живет, не раздваиваясь, в двух временах. В своем, с его социальными и нравственными проблемами, бытом и политическими коллизиями, так или иначе проникающими, пусть неузнанно, в его личную жизнь и в его искусство. И в пространстве-времени мировой — и национальной — культуры. Потому двулик, не путать с двуличием.

И вот что любопытно: при том, что издавна подчеркивается, даже утрируется *народность* Пушкина, неизменно сохраняется некоторое расстояние между ним и нами, ближе не подойти. Можно видеть — нельзя потрогать, по плечу хлопнуть. Это трудно описать, но отчетливо чувствуется. Не случайно Некрасов, изображая светлое, просвещенное будущее, когда народ «Белинского и Гоголя с базара понесет», Пушкина не назвал. Слово помешало — «базар». Пушкин и на базаре — Пушкин, среди других не затеряется, в руки не дается, дистанцию соблюдает естественно, не стараясь.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

Привычное и словно бы растянутое ударение — «чувства добрые». Экая заслуга — да кто только этим ни занимался (или думал, что занимается)! И кто когда признавался в намерении пробудить «чувства недобрые»? В том и суть у Пушкина, что — *лирой*. Подобно Орфею.

«Орфические» мотивы у Пушкина — не Бог ведь какое открытие, но здесь... Напоминать, *кого* усмирял и облагораживал, чтобы не сказать — очеловечивал, Орфей звуками своей лиры, излишне, уж настолько-то мифология знакома всякому читающему. Если это кого смущает, напомню — из «Капитанской дочки» — о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте, о дикости разгула, необузданного просвещением и культурой. Или не в стихах — не так обидно?..

Впрочем, эта самая игра на лире, довольно неожиданно зачисленная в гражданские — перед народом — заслуги, звучит и полемически.

...Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства,
Зато найдешь живые чувства:
Я не Поэт, а Гражданин.

На полуслове прерванный спор с Рылеевым, с чеканно-жесткой формулой его, разрешается — буквально — одним словом. Хотя и не всех оно убеждает. «Поэтом можешь ты не быть», — вернется к теме Некрасов. Что тут возразить? *Обязанности* быть поэтом нету. Но и, может быть, противостояния, из-за которого ломаются копыя, тоже. Какой резон непримиримо сталкивать этику и эстетику...

Тем временем Пушкин продолжает, дополняет, перебирает струны:

Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Было: «вслед Радищеву восславил»... Правка — не из-за будущей цензуры. Радищев — уже не слишком запретное имя, можно даже «Путешествие из Москвы в Петербург» сочинять и рассчитывать на публикацию. «Вслед» кому бы то ни было, в том числе Радищеву, который и на лире, прямо скажем, играл похуже, — не в духе стихотворения, где главное — не сходство, не следование, но отличие от всех других, не исключая Горация. А «милости к падшим» достаточно, чтобы читатель подумал не только про декабристов...

Теперь вернемся на девять строк: «И славен буду я...» Собственно говоря, за что? Все предшественники объясняли: ввел «эолийское стихосложение», перешел на «забавный русский слог» и т. п. Пушкин попытался сделать то же самое: «Что звуки новые для песен я обрел»... Но строка оказалась не на месте, к «славе» не отнеслась, а народу «быть любезну» за такое — да еще «долго» — едва ли. И стих отброшен, заменен. Важнейшее, центральное — и для Горация, и для его переводчиков с подражателями — место у Пушкина пустует.

Какова же завораживающая сила его! У любого иного мы бы давным-давно заметили, что право на объявленное во всеуслышание бессмертие ничем не обосновано. Про долгую народную память — очень подробно. А это, первейшее, ради чего и стихи писаны, — никак. Неужто и впрямь, что другому не дозволено, Пушкину можно, легко сходит с рук, он и к возражениям приготовился на славу: «И не оспаривай глупца»? Только сунься — клеймо тебе уже раскалено, дожидается.

Нет, конечно. Он сказал то, что хотел, все, что хотел. Не прямо, не нажимая, не внушая, намекнул, упомянул, дал понять: «душа в заветной лире»... В следующей строфе уточнил, какова эта лира, намекнул, с кем он соперничает, играя на ней. Между названием и повтором словно ток прошел, след остался, мы и не заметили, как усвоили, поверили, признали: Орфей... Быть Горацием ему мало...

2

В 1880 году благодарная Россия преобразила «нерукотворный» памятник, вздвигнутый — себе — поэтом, в самый что ни на есть реальный. В бронзовый, как раз в такой, с каким сравнивал Гораций свой поэтический монумент. В Памятник Пушкину.

Готовились загода и основательно. Конкурс провели. Место выбрали. Скульптор Опекушин пробную установку сделал — поглядел, подумал. Не понравился ему поворот головы, что-то там с освещением полуденным нескладно получалось. Он переделал голову, перелил, благо, денег хватало.

Тут же и легенды, предваряя событие, стали клубиться. Одна из них, угодившая в блике факта на страничке солидного издания, чуть ли не энциклопедии, гласила, будто при доставке статуи в Москву повстречалась она с малолюдной процессией, провожавшей в последний путь Анну Керн. Поэтам, конечно, — раздолье. А достоверность происшествия — не для обсуждения. Несложно подсчитать, что ради символической встречи с былым мимолетным возлюбленным, в металле увековеченным, покойной старушке пришлось бы дожидаться похорон самое малое год...

Любопытно, что ни к какому юбилею вопреки обыкновению сотворение памятника приурочено не было. Год ожидался ничем не примечательный. Тем не менее не медлили. Возможно, опасались, что последние пушкинские современники ждать не могут, лета не те, а хотелось, чтобы почтили присутствием, олицетворили связь поколений. Или, может быть, чувствовалось, в воздухе носилось, что относительные покой и благоденствие к концу идут, другой случай нескоро представится. Годом позже грохот бомба в Петербурге, на санном выраже у Спаса на Крови — не до Пушкина станет.

«Странно у нас все устроено,— говаривал поэт, с которым повезло мне дружить,— про Ивана Грозного, параноика, садиста и убийцу, песни в народе поют по сей день, а царю, который крестьян освободил, бомбой ноги оторвали»...

Отношение к предстоящей акции повсеместно было одобрительным, со склонностью к грядущим восторгам. Царапнуло, правда, диссонансом мнение графа Льва Толстого, впоследствии печатно изложенное. Не понимает он, за что — памятник? Писал человек (как если бы «пахал вприсядку») стихи, подчас непристойного содержания, потом погиб на дуэли, то есть собирался убить другого, да сам нарвался. Никто на Толстого за это даже не обиделся. У гениев — свои причуды. Неодобрительное отношение его к Пушкину и раньше секрета не составляло. Но Шекспиру, например, и почище доставалось...

Словом, ничто не могло омрачить предстоящих торжеств. И они состоялись. Длелись три дня и, говорят, три ночи. Ничего подобного Россия не видывала.

Все это давно описано, опубликовано, перепечатано. Хорошо известно. И, вероятно, поэтому мимо мысли проскользнуло: что, собственно, случилось в те три дня? Пушкин опять собою все заслонил.

А произошла смена эпох. Была проведена граница между ними.

Как правило, пределы их размыты, времена наплывают одно на другое, длительность человеческих жизней разны, старые перемешиваются с молодыми, не распутать. Лишь много позже пытливые историки не без труда и весьма условно очерчивают эпохи, дают им условные имена. Но все, что с Пушкиным связано, — исключение из правил, нам не привыкать. Даже если не самолично присутствует, но лишь Памятником своим.

Шестое июня. Перерезана ленточка. Покрывало соскользнуло. И многотысячной толпе предстал Он. Ликование — без конца и без края.

Седьмое июня. Тургенев патетически подводит итог Пушкинской эпохи. Его речь — надгробное слово. И, следуя законам жанра, пестрит превосходными степенями и батальными метафорами. Он говорит о завершающемся — как о безвозвратно минувшем. Потом — все за стол, силы подкрепить. Островский поднимает тост: «...Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Мы выпьем очень весело этот тост: нынче на нашей улице праздник!»

Восьмое. Черед Достоевскому. Его слову о Пушкине, где слышится усилие представить себе — и предказать — будущее. Обозначить роль Пушкина в том, что грядет. Это последнее появление на публике, выступление Достоевского, его «писательское завещание». На следующий день он почувствовал себя худо. И уже не оправился. Спустя полгода его не стало.

Пророчествуя о предстоящих временах, он, конечно, не подозревал, что их главные действующие лица уже «на подходе». Это — год рождения Блока и Белого, а Брюсов справил первое свое семилетие.

Пройдет четыре десятка лет — и на Пушкинских торжествах в Петрограде, не приуроченных ни к какой «круглой» дате, но полных предчувствия «надвигающегося мрака», Блок прочитает свое поэтическое завещание — «О назначении поэта». Подведет итог тому, что предугадывал Достоевский. И, сказав последнее слово, уйдет вместе с эпохой.

Классическая пьеса о смене Золотого века Серебряным. С прологом и эпилогом. Соблюдено единство времени, места и действия. Эпиграф напрашивается: «Мне время тлеть, тебе цвести»... И статуя — в центре. Не эхом ли странных сближений в лирике Блока трагически звучат «Шаги Командора»?..

Однако, поучаствовав в уникальном историческом действе, Памятник Пушкину начинает собственную жизнь, где по-своему все и логично, и связно, каким случайным на беглый взгляд ни казалось бы.

О прижизненном отношении Пушкина к христианству мнения расходятся. Посмертно разногласия упразднены. Его ставят лицом к православию. В конце Тверского бульвара, на Страстной площади, против храма. Сам собою возникает евангельский мотив: Страсти по Пушкину, мученическую, медленную смерть принявшему. Едва ли такое можно придумать нарочно, но подсознание не дремлет.

Семьдесят лет спустя Памятник переставят *на место — в место*, — наконец, слитно: *вместо* снесенного собора Страстного монастыря. Но про это — позже...

Очень похоже на то, что открытие Памятника Пушкину стало одновременно и торжеством, пусть недолгим, пресловутой уваровской триады: Православие (Страстной монастырь) — Самодержавие (устанавливающее монумент) — Народность (несметной толпы стечение). При жизни Пушкин ни Уварова, ни его словотворчества терпеть не мог. Но тут ничего не поделаешь — приходится.

С тех пор он остается в гуще событий, ничто существенное его не минует. То ли свидетель, то ли участник — не разобрать. Потому что по мере течения времен — вместе с ними — меняется он, его роль, его место.

Раньше, вначале, было так. Оконечность Тверского бульвара, небольшой квадрат с гранеными газовыми фонарями по углам. В центре — бронзовый Пушкин.

Его взгляд — через неширокую тогда Тверскую — на Страстной монастырь, слева от которого — знаменитый московский «дом Фамусова» («Грибоедовская Москва»). А между, вглубь, можно разглядеть на углу Малой Дмитровки дом Каткова, место «невстреч» печатающихся в его «Русском вестнике» Толстого и Достоевского. И совсем рядом, в летнем небе, словно растворившимся голубые купола, — невесомость золотых крестов храма Богородицы в Путинках.

По правую руку Памятника возносится первый московский «небоскреб», дом Нирнзее. По левую — на целый квартал вниз тянется двухэтажное сращение домов, неизвестные «нумера», «дно», «яма».

Никакого умысла на такое изобилие знаков и символов не могло бы хватить. Но и это не все.

Ночью четырнадцатого августа 1950 года нечаянным свидетелем переноса Памятника на другую сторону улицы Горького, бывшей и будущей Тверской, в центр освобожденной от монастыря площади, оказался Георгий Шенгели. И написал стихи:

...На прежнем месте в сторону Урала вы
Глядели, в те безвыходные дали,
Где пасынки одной зари коралловой
Во глубине сибирских руд молчали.

Вам не пришлось за ними вслед, подалее
Отправил вас блистательный убийца.
Теперь глядеть вам в сторону Италии,
Где Бог-насмешник не дал вам родиться.

Шенгели, увлекавшийся астрономией, географией, математикой, сориентировался мгновенно и точно: поворот на сто восемьдесят градусов переводит взгляд статуи с северо-востока на юго-запад. Остается лишь гадать, знали или нет создатели памятника об этом, сознательно ли установили его так, чтобы глядел в Сибирь? Во всяком случае, могли знать, изменение дневного освещения учитывали, значит, по солнцу выверяли свои действия.

Здесь, на Тверском бульваре, — точка пересечения множества силовых линий российской истории. Она примагничивает происходящее, и миновать ее невозможно.

В семнадцатом на пушкинском постаменте хрипнут, надрываясь, ораторы нескончаемых революционных митингов.

В тридцать седьмом невероятной пышности торжества по случаю столетия *смерти поэта* становятся прологом к Большому Террору. Зимние, пушкинские номера литературных журналов открываются официальными статьями о разоблачении гнусных изменников родины и суде над ними. А в газетах столбцы, посвященные Пушкину, обрамлены «откликами» трудящихся, отнюдь не «милость к падшим» призывающих.

В сорок пятом мимо него, Пушкина, непременно надо прогнать колонну пленных немцев. Чтобы поглядел, порадовался. Он ведь тоже — победитель. У всех на слуху плюшевые качаловские радиомодуляции: «От Перми до Тавриды»... Или: «Москва, как много в этом звуке!»...

Наконец, летом сорок девятого — около него — новый всплеск ликования, стукот народной энергии, которую потом умелые «энергетики» направят равно и на «борьбу с космополитизмом», и на разведение паров другого юбилея, «вождя народов»...

Кстати, о «космополитизме». Довольно странно думать о том, что Пушкина и тут умудрились, так сказать, приляпать на знамена. Не потому странно, что в стихах его подходящих к случаю цитат не сыскать. Но ведь и сам облик его выделяется в писательской портретной галерее именно «нерусскостью» своею, во всех заметках и описаниях «арапство» упомянуто, если не подчеркнуто. Ему и это сходит с рук, он — Пушкин. Однако в памятниках, которые от главного, московского, беря начало, множатся, кругами расходятся все дальше и дальше, «нерусскость» пушкинская оборачивается «космополитизмом». В Сухуми, в Ереване, в Алма-Ате, в Улан-Удэ, в Шанхае, вот уже и за пределом «Руси великой», всюду добавляются — и уживаются с ним, в нем — едва уловимые «местные» черты, при этом узнаваемым остается — с первого взгляда.

Вообще-то *тиражирование* Памятника Пушкину — тема отдельная, нет смысла отвлекаться. Однако жаль не рассказать о таком, например, удивительном явлении, как бы его назвать, о *филиалах* Памятника, что ли. Вот — профиль пушкинский на мемориальной доске, сообщающей, что бывал он в этом доме у друга, поэта Вяземского (не последнего из русских поэтов, замечу, которому памятника нет и не предвидится). Еще один профиль — здесь Пушкин однажды читал «Годунова» у поэта Веневитинова...

Ну, и давно таимый мною неведомый шедевр — если угодно, «косвенный» памятник. «А это кто?» — поинтересовалась как-то в Одессе, указав на изваяние Воронцова, моя добрая знакомая у случайного попутчика, всячески выражавшего, впрочем, намерения стать неслучайным. «Это, — замаялся он на мгновение, — ну, как бы вам объяснить... в общем, с его женой Пушкин жил!»

Но пора обратно, на Страстную, на Пушкинскую площадь. Где в середине века эта обжитая сценическая площадка совершила поворот. Памятник перебрался через улицу, занял место, как уже сказано, собора. Святыня вместо святыни. С этого момента сюда, к нему, начинает постепенно смещаться центр столицы, а значит, и страны.

Когда большевики решили возвести храм важнейшего для себя искусства, кино, они расположили его за Пушкиным. И назвали «Россией».

Когда горстка диссидентов впервые вышла на демонстрацию в День Конституции, она, разумеется, направилась к Памятнику Пушкину. Справедливо видя в том единственную возможность быть замеченной, публично схваченной. Обратил на себя внимание — в надежде, что «из искры возгорится пламя».

Отказники могли неделями водить пикеты или, взявшись за руки, сидя голодать на Центральном телеграфе, их разгоняли — и только. Стоило им появиться на Пушкинской площади, тотчас хватили, запикивали в машины — и на Лубянку. Еще бы — оскорбление святыни, причем сознательное.

Никто и не заметил, как Памятник отделился от того, кому некогда был поставлен. От поэта.

В начале шестидесятых, в пору поэтической горячки, шумного успеха у публики даже вовсе не первостатейных стихотворцев, казалось, могла бы та волна доплеснуть до него. Но прокатилась мимо, забила у подножия Маяковского.

Никогда на моей памяти и никакие *неофициальные* литературные события не происходили у Памятника Пушкину. И представить себе не могу: кто бы, в здравом уме будучи и твердой памяти, стал бы около него свои стихи читать. Тяжело пожать бронзовую десницу...

Стоит ли теперь удивляться, что последние десять лет оказались богаты событиями в «монументальной» этой биографии. И перемен в нее привнесли множество. Началось, пожалуй, с того, что первый московский «Макдональдс» открылся в виду Памятника.

Потом елку ему стали — из года в год — устраивать под Рождество — там, где когда-то он сам стоял.

Потом окольцевали российской прессой, весь спектр по периметру площади представили: три газеты, считается, что разных, тонкий журнал политический, толстый литературный да глянцевиный ежемесячник.

И, конечно, банки со всех сторон, мигом — не меньше четырех видать, пригладеться — еще обнаружатся. Не считая казино и прочих блесков. Никак иначе нельзя — истинный центр Москвы.

Кое-что, впрочем, почти по-прежнему осталось. Свидания — если погода хорошая. Или «оппозиционные» сходки — теперь все больше с красными флагами, а то и со свастиками.

Пару лет назад вспомнили неожиданно о поэтах и поэзии — Пушкин все-таки! На версту сзади поставили — спиной — одного бронзового поэта. На полверсты спереди — вполборота, боком, — другого. Оба — с незарастающими народными тропами бульваров...

Памятник — вот он, стоит, где стоял. Рукотворный. Патиной смога подернутый. Памятник себе. Пушкин ускользнул от него, как всегда ускользал от памятников. От статуи командоров. Не пешком — Немедным Всадником, ладно и весело сидящим верхом. Под ним — не блоковская ли? — «степная кобылица несется вскачь». И по доколю изподкопытному лентою вьется строка: «Я еду, еду, не свищу...»

Куда несешься ты?..

«И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (Достоевский).



Александр ЛЮСЫЙ

Ангел Утешенья

О ЧЕМ БЕСЕДУЮТ ФОНТАНЫ БАХЧИСАРАЯ?

*Вдруг вспомнил все,
что знаю о фонтанах.*

Р. М. Рильке

В фонтанном дворике Бахчисарайского ханского дворца находится воспетый поэтом Фонтан слез.

Журчит во мраморе вода
И каплет холодными слезами.

Но здесь вода только каплет, а журчит вдалеке, в оставшемся у входа в мечеть Золотом фонтане.

Золотой фонтан на три десятилетия старше Фонтана слез, ставшего в 1764 году памятником загадочной любви Крым-Гирея. Он сооружен в 1733 году при другом хане, Каплан-Гирее.

Не являются ли эти реальные архитектурные сооружения двумя полюсами поэтической символики поэмы «Бахчисарайский фонтан»? Сам-то сюжет возник в хронотопе легендарных споров о национальности Крым-Гиреевой супруги — то ли она была грузинка, то ли черкешенка, то ли полячка. А поэт взял и примирил те «международные споры» наличием двух любимых жен, драматических персонажей поэмы «Бахчисарайский фонтан». Хотя по рождению Зарема тоже христианка, в поэме она — олицетворение земной магометанской страсти, тогда как Мария — носительница небесного идеала Мадонны.

Чью тень, о други, видел я?

Вместо того чтобы дать ответ на этот вопрос, поэт вспоминает:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую.

В этой лирической недосказанности (к кому относится это «столь же»?) кроется, по мнению А. Слонимского, и лирический синтез представленных в поэме различных начал «чистой души» и «земной красоты», идеал Мадонны, не ставшей в отличие от канонического прототипа «выше мира и страстей».

«Радуюсь, что мой фонтан шумит,— писал Пушкин А. А. Бестужеву 8 декабря 1824 года.— Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины».

Кто же была эта женщина, внушившая такое доверие? Исследователи в последнее время склонны разделить мнение Л. Гроссмана, что это была Софья Потоцкая (в замужестве Кисилева), жившая летом 1820 года в гурзуфском имении своей матери, тоже Софьи, знаменитой польской авантюристки. Согласно этой концепции, Пушкин как бы разместил среди конкретных, основательно обветшавших реалий дворца привезенную сюда через Гурзуф из Петербурга легенду, после чего осталось только написать поэтический текст, что и было сделано в Молдавии. Два фонтана — олицетворения молчаливой Марии и страстной Заремы — вечная архитектурная параллель двум воплощенным в слове идеалам.

Любопытная и до сих пор неизвестная в полном объеме широкому читателю гипотеза происхождения «Фонтана» принадлежит перу оригинального, но еще не вышедшего из забвения русского мыслителя Дмитрия Сергеевича Дарского (1883—1957).

Несколько слов о самом Дарском. Сын священника, изучал историю и философию в университетах Москвы, Петербурга, Мюнхена, учительствовал в Москве и провинции. В 1916 году попытался реализовать мечту о своем издательстве, в 1917-м издавал и редактировал на паевых началах кадетскую газету «Свободная мысль», ведя идейную борьбу с большевиками. Затем музейно-библиотечная «ниша». В 1937—1940 годах — зав. библиотекой Государственного Литературного музея, откуда был уволен, несмотря на заступничество В. Д. Бонч-Бруевича. Более поздние биографические сведения скуд-

ны и отрывочны. В 1954 году ходатайство Бонч-Бруевича помогло-таки Дарскому после смерти жены попасть в Дом инвалида в г. Клине, где он и окончил свои дни.

Литературный «патрон» Дарского — Валерий Брюсов, рекомендовавший работы Дарского журналу «Русская мысль» еще в 1913 году, хотя творчество самого Дарского развивалось под воздействием идей едкого критика Брюсова В. Соловьева и принципов «имманентной критики» Ю. Айхенвальда. Успехом пользовались все три изданные до революции работы Дарского — «Чудесные вымыслы». О космическом сознании в лирике Тютчева (М., 1913), «Маленькие трагедии Пушкина» (М., 1915), «Радость земли». Исследование лирики Фета (М., 1916).

Оживленную полемику вызвало его выступление на заседании литературной секции Государственной Академии художественных наук и Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности в 1923 году с изложением своей гипотезы об утаенной любви Пушкина. Доклад Дарского был подвергнут критике в выступлениях В. Саводника, В. Вересаева, М. Цявловского, тогда как В. Брюсов в своей рецензии высоко оценил поставленные Дарским перед пушкиноведением новые вопросы.

Современники обвиняли Дарского, с одной стороны, в злоупотреблении биографическим методом, в чрезмерной свободе интерпретации, имеющих не столько научное, сколько импрессионистски-поэтическое значение, а с другой — в попытке разрушить стихи в общепонятную философскую прозу (Ю. Тынянов).

Весьма велик портфель неопубликованных рукописей позднего Дарского. В ЦГАЛИ (ф. 2113, оп. 1, д. 10) хранится и его «филологический роман» «Три любви Пушкина» (2-й вариант — 1949 года), в центре которого развитие версии «утаенной любви» в Крыму, предмет нашего обозрения.

Среди особенностей художественного мышления Пушкина Дарский подчеркивает то, что поэт «не населял морских глубин игрою и прихотью своей фантазии и не переносил в свои стихи поэтических образов, господствующих в литературной среде: волшебною силою песнопения он преобразовал воистину существовавшее лицо, бедную обитательницу земли превращая в бессмертную красоту полубогини». В то же время именно в связи с крымской («утаенной») любовью «с какой-то болезненной тревогой или рыцарской строгостью охранял он от чужого взора тайну своего сердца».

Дарский, как и многие предшественники, ищет истоки «Бахчисарайского фонтана» в Гурзуфе, но только в отличие от всех в имении европейца по воспитанию и образованию, русского миссионера и культуртрегера, черкеса по национальности А. И. Султана-Крым-Гирея.

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно Ангел Утешенья...

Дарский считает, что Пушкин встречался в уютном гроте, как бы внутреннем пространстве фонтана, с сестрой А. И. Султана-Крым-Гирея Анной Ивановной, девушкой утонченного вкуса и ума, европейски образованной и чуждой светской жизни, уже тогда тяжелобольной, страстно полюбившей поэта, но не сразу давшей волю своим чувствам. Именно здесь и был вручен поэту в качестве залога вечной любви воспетый им талисман с прямо читавшейся надписью из Корана, а от Елизаветы Воронцовой, с которой эта тема связывается, была получена обыкновенная печатка, которую нужно было переводить на бумагу.

Златой предел! любимый край Эльвины,
К тебе летят желанья мои!

.....
Где в тишине простых татар семьи
Среди забот и с дружбою взаимной
Под кровлею живут гостеприимной.

Речь идет о традиционном местном жилище, а не об аристократической вилле, доме новороссийского губернатора Ришелье, где вместе с Раевскими жил Пушкин. В рукописных редакциях поэт вспоминал о склонах Аюдага, о хижине, где горит поздний огонь и с седоком

...приморскою дорогой
Привычный конь над бездною бежит.

Обитательнице «хижины» поэт дает условное поэтическое имя — Эльвина. Однако, полагает Дарский, в Гурзуфе, еще до посещения Бахчисарая, в творческом воображении появляется Зарема, и не как легендарный образ еще не начатой поэмы, а как реальная женщина, истинная «таврическая звезда». Кстати, по-татарски название Венеры — Заре, отсюда русифицированное Зарена у С. Боброва и Зарема у Пушкина.

Долгие годы бесспорной истиной считалось, что Пушкин в сентябре 1820 года навсегда покинул Крым (уточнялось лишь число). Но всегда ли «крымская» дата на стихотворениях, написанных после 1820 года, является мистификацией? Только ли в воображении оказывался здесь поэт еще раз? Дарский считает вполне вероятным, что, отправившись у генерала И. Н. Инзова из Кишинева в Одессу в 1821 году, Пушкин в действительности отправлялся морем... в Крым! И он не забыл для решающего любовного объяснения захватить с собой только что оконченную поэму «Кавказский пленник».

«Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые», — писал он А. А. Дельвигу 23 марта 1821 года из Кишинева. В стихотворении, отмеченном этим годом, «Эллеферия...» за обращением к свободе как будто слышится обращение к женщине.

Тебя пугает света шум,
 Придворный блеск ей неприятен:
 Люблю твой пылкий, правый ум,
 И сердцу голос твой понятен.
 На юге, в мирной темноте
 Живи со мной, Эллеферия,
 Твоей... красоте
 Вредна холодная Россия.

Здоровью этой женщины была вредна холодная Россия, как был «вреден север» для поэта, что отчасти и предопределило драму любви.

В твою светлицу, друг мой нежный,
 Я прихожу в последний раз.

Вдохновленная прототипом самой Заремы и задуманная при посещении Бахчисарая «крымская» поэма Пушкина была начата в 1821-м и написана в 1822 году; работа над ней шла параллельно течению самого «романа» и была завершена в канун разлуки. «Это памятник, который Пушкин поставил, подобно влюбленному хану, на могиле своей незавершенной любви», — считает Дарский. Реальная Зарема стала и соучастницей творчества, и натурой, с которой написан жгучий идеал страсти, тогда как Мария была образцом одухотворенного поклонения, «который он хранил в заветной часовенке, не докучая мольбами, а только издали благоговей перед святыней красоты».

Давно замечено, что Пушкин очень сдержан в «Бахчисарайском фонтане» — не только опустил «любовный бред», но и иные переживания изобразил в окончателном варианте поэмы тоньше и сдержанней, чем сначала, без феерических порывов. В объяснении такой художественной таинственности Дарский идет дальше, чем кто бы то ни был. По его мнению, поэт в июле 1822 года вновь отправляется в Крым. И тут, решительно заявляет исследователь, «Эльвина стала принадлежать наконец Александру Сергеевичу». Неспроста дружил он тогда с отставным Корсаром, тайно перевозившим его через море. В набросках пушкинской «Тавриды», писавшейся вослед «Тавридам» С. Боброва и К. Батушкова, которая то ли не была написана целиком, то ли была уничтожена автором, ясно говорится о повторном посещении полуострова.

Ты вновь со мною, наслажденье...

С новым, третьим пушкинским путешествием в Крым в мае 1823 года связан как тот «роман» трех месяцев, о котором он упоминает в письме к брату Льву от 25 августа 1823 года, так и начало «романа в стихах» — «Евгения Онегина», который задумывался как повествование о южной любви. Да, прообразом Татьяны Лариной была крымчанка (как и у предшественника по теме, Семена Боброва, у которого Зарема его «Тавриды» превратилась при втором издании произведения в Сашену).

Анна была не только утаенной любовью, но и поэтической наперсницей, ценильницей плодов вдохновения Пушкина, который позднее вспоминал:

Она одна бы разумела
 Стихи неясные мои.

Но Пушкин, по мнению Дарского, не только сам тайно посещал столь тщательно утаиваемую любовь. В июне 1823 года он привез Анну в Кишинев и Одессу. А затем пришла разлука навсегда. Именно Анна проявила твердость характера и, несмотря на всю свою любовь, решилась разорвать связь. Дарский даже называет точную дату последнего свидания — 23 августа 1823 года, подозревая какой-то надрыв у обоих. У нее — не только горькое сознание необходимости расстаться, но и сердечную неудовлетворенность (понимание, что поэт, уже, вероятно, проявивший неверность, не будет целиком принадлежать ей).

Пушкин силится удержать Анну и в то же время сознает, что не создан для блаженства, и даже благословляет ее, если она будет любима другим.

Все кончено: меж нами связи нет,
 В последний раз обняв твои колени,
 Произносил я горестные пени.
 Все кончено — я слышу твой ответ.

Здесь же Дарский вспоминает фразу Пушкина о том, что он не только очень долго, но и очень глупо был влюблен, взгляды поэта на хлопоты любовной связи как на занятие должностное, как на скучную обязанность проверять ежемесячно счета своего дворецкого.

Как бы там ни было, разлука пришла, и отвез Анну в Крым по морю, по мнению Дарского, все тот же мавр Али.

Завидую тебе, питомец моря смелый...

Дарский нередко обрывает пушкинские строки на полуслове, не всегда точно цитируя их. Между тем в последующих строках говорится об особом родстве поэта и «питомца моря», приобретающем историософское качество.

Дай руку — в нас сердца единой страстью полны.
 Для неба дальнего, для отдаленных стран
 Оставим берега Европы обветшалой;
 Ищу стихий других, земли жилец усталый,
 Приветствую тебя, свободный Океан.

Готовясь расстаться со «свободной стихией», поэт прощался прежде всего с надеждой быть связанным с Анной.

«Бахчисарайский фонтан» стал памятником его южной любви. Он предчувствует, как, подобно Крым-Гирею, будет припадать к гробнице возлюбленной.

Придет ужасный час... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи.

И в Михайловском он вновь «посещает» Тавриду — теперь уже в воображении.

Все мрачную тоску на душу
мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии
восходит:
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь
идет она
К брегам, потопленным
шумящими волнами.
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней
не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенью
не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст,
ни персей белоснежных.

По мнению Дарского, Анна просила не посвящать ей стихи открыто и уничтожать ее письма, чему Пушкин свято следовал.

Прощай, письмо любви,
прощай! Она велела...
Как долго медлил я,
как долго не хотела
Рука предать огню
все радости мои!..

Наступили годы жизни без крымских божества и вдохновенья. Плодами своего труда поэт теперь «забавлялся одинокий» («Сцена из Фауста»). Но и Фауст, говоря о чистом пламени любви, вспоминал «тьень» и «сладкозвонкие струи».

А «Эльвина» отправляется в Италию. Но лечение безуспешно, чахотка, проявившаяся еще в 1820 году, неизлечима, и в 1830 году Анна Ивановна здесь умирает; смерти ее посвящена элегия «Под небом голубым». А в «Тавриде» поэт высказал уверенность, что и после смерти «Мой дух к Юрзуфу полетит».

Два фонтана, два идеала, две судьбы. Может быть, и явление двух строгих ангелов, запечатленное в черновиках 1828 года, а в окончательном тексте замененных безличным «воспоминанием» («Когда для смертного умолкнет шумный день»), тоже связано с Бахчисараем и его фонтанами?

И нет отрады мне —
и тихо предо мной
Встают два призрака молодые,
Две тени милые, — два
данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с
пламенным мечом.
И стерегут... и мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым
языком.
О тайнах счастья и гроба.

Гипотезы Дарского основаны прежде всего на внимательном чтении пушкинских текстов. Им нет достаточных по нашим временам документальных подтверждений, но и опровержений — тоже. Может быть, потому, что эта работа известна немногим. А известности она заслуживает. В ней куда больше как внутренней логики, так и продуктивного творческого воображения, чем у многих писателей, берущихся создавать художественные произведения из жизни поэта.

Фонтаны друг друга понимают, хотя ведут речь на разных языках. Что сумеем понять мы из их разговора?

г. Симферополь

Беглец

«Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печерин, или броситься в отчаянное православие, в неистовый славянизм...»

Александр Герцен

«...Правдивость патетического жеста в величественные моменты жизни».

Шарль Бодлер

«История,— произнес Стивен,— это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться».

Джеймс Джойс

Когда говорят «русская культура», обычно имеют в виду известно что (достоевский, ярославна, храмы, пушкин, еще раз храмы, чайковский, еще раз пушкин, кабаки, еще раз храмы, толстой, осень левитана, еще раз пушкин, есенин, еще раз храмы, кресты, «кресты», еще раз кресты, еще раз «кресты» и т. д.). Когда говорят (и говорят же!) «русская цивилизация», то имеют в виду все вышеперечисленное, но ограниченное в пространстве и охраняемое представителями трех сословий: Ильей из крестьян, Добрыней из служилых и Алешей из поповичей. Когда говорят «русская история», то что хотят сказать? «Жуткие были времена, но раньше было лучше». Такой вот консервативный прогрессизм.

А я, когда слышу эти словосочетания (сам не говорю), вижу только одно. Берется бесформенная, студенистая заготовка. Берется такими хищными клещами, похожими на головы имперского орла, ежели повернуть их клюв к клюву. И по этой массе начинают колотить молотом. Получается некая вещь; крест тот же самый, или звезда, или еще что. Вещь остужают в холодной воде и дают ей спокойно вылежаться. И тут-то, в духе кошмаров Артура Гордона Пима, форма вещи начинает саморазрушаться. Стремительно, словно мириады стальных муравьев отгрызают по кусочку, неровность покрывает края и углы, ущерб увеличивается, из глубины вещи всплывают и лопаются пузырьки, поверхность подергивается сеткой морщин. Пара спокойных мгновений — и перед вами снова кусок бесформенной массы. Пора приниматься за клещи и молот. Распад формы — не работа зловерных муравьев, червей и прочих посторонних жучков. Нет. Если присмотреться, это мельчайшие частицы, корпускулы той же самой массы не могут усидеть на своих закрепленных молотом местах; те, кто оказался снаружи, пробиваются к центру, бросают свои позиции, окопы пустыми, оставляя лишь названия. Имена. Нагие имена.

Проговорюсь: «русская культура». Говорю в первый и последний раз (т. к. не понимаю точно о чем). Русская культура от петровской проковка до большевистской являла зрелище нарастающего натиска маргинальных корпускул на центровые. В XVIII в. ситуация явно в пользу последних; сравните: Барков (?) и Державин (!); сами фамилии сигнализируют о преобладании державного пиита над барачно-барочным похабником. Вторая половина XIX в. уже перелом: кто таков мизантропичный (есть от чего) князь Вяземский против эпилептического Федора Михайловича? Под большевистским молотом потенциальные центровые Бунин и Набоков искрами разлетаются по окрестным кузням. Выкована новая форма, столь же недолговечная.

Чувствую, въедливый читатель возьмет меня сейчас за шкуру и, как котенка, начнет тыкать носом в лужу, известную как «Три этапа русского освободительного

движения». Уже чую, батенька... Только вот речь у меня о движении не освободительном, а броуновском, не классовом, а корпускулярном. Не о массах или классах, в коих Марксы и Веберы Максы делать пассы асы. О корпусулах. О тростнике мыслящем, подорожнике, иван-да-марье.

Речь о двухвековом натиске людей с сознанием маргинала, чужака, отщепенца, подорожника, если хотите. И дело, конечно, не в смене одного списка Фрейдových комплексов другим¹, а в поиске тех роковых подорожников, которые превратились вдруг в перекати-поле и покатались, и осыпалась насыпь клейнмихелевской железной дороги, и разъехались рельсы, и упал поезд, в котором везли что-то очень важное, но не довезли.

Одной из важнейших символических фигур постпетровской России; подорожником; перекати-поле без подорожной и (в отличие от своего омонима) без казенной надобности; зловредной для державной формы бунташной корпускулой стал Владимир Сергеевич Печерин (1807—1885).

Считается, что самым интересным в Печерине является его биография. Действительно, при знакомстве с маршрутом жизненного пути Владимира Сергеевича позеленели бы от зависти Калиostro с баронессой Будберг; сам же Печерин считал, что так себе, ничего особенного: «... дескать, в старые годы жил-был на Руси какой-то чудак Владимир Сергеев сын Печерин: он очертя голову убежал из России, странствовал по Европе и, наконец, оселся на одном из Британских островов, где и умер в маститой старости». Отдам всего Тургенева (Ивана Сергеевича, конечно) за «оселся на одном из Британских островов» и особенно за «маститую старость»!

Вот краткое изложение этой престранной биографии.

Владимир Сергеевич Печерин родился в 1807 г. в семье пехотного поручика. Воспоследовала бродячая жизнь офицерского мальчика, повидавшего за пятнадцать лет худшие из юго-западных окраин Российской империи. Гарнизончики, солдафончики, учитель-немец с идеями, книги, книги, книги. Недолгое пребывание в Киевской гимназии в 1822 г. Юношеская влюбленность, разыгранная по нотам «Новой Элоизы». Затем в незабвенном 1825 г. в столицу! В Петербург! Где его ожидала мельчайшая чиновная службишка. Двадцати двух лет Печерин поступает в Петербургский университет, корпит над классическими языками под присмотром академика Грефе. Он талантливо разыгрывает жизнь «юноши, тянущегося к изищному», кажется, даже живет в одном доме с Фаддеем Венедиктовичем Булгариним; а однажды Владимир Сергеевич видел на улице самого Федора Глинку. Успешно кончив университет, Печерин был к нему же и прикомандирован — библиотекарем, старшим учителем в первой гимназии и, по его собственному выражению, «ужасным любимцем товарища министра просвещения С. С. Уварова»². Несомненный филологический талант, переводы, напечатанные в столь нежно ценимых Пушкиным «Сыне Отечества» и «Невском альманахе», наконец, расположение начальства; все это сделало его кандидатуру наилучшей для отправки в 1833 г. в Берлинский университет для пополнения знаний, то есть в своего рода аспирантуру. Уваров со товарищи поступили опрочметчиво: в 1835 г. Печерин вернулся из-за границы «мрачный» (по выражению А. В. Никитенко) и, хотя тут же получил экстраординарное профессорство в Московском университете, поступил, как задумал: подкопил денег, изобрел предлог и навсегда покинул Россию. Любопытно, что в Берлине он сочинил следующие замечательные строки:

Как сладостно отчизну ненавидеть,
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Владимир Сергеевич вообще много стихов написал, например, поэму «Торжество Смерти», которую спустя тридцать лет опубликовал в своем самиздате Герцен.

Итак, в 1836 г. Печерин вновь на Западе, в ушах его звенит «Go West!», в карманах не звенит почти ничего. В карманах — брошюрки христианнейшего социалиста Ламенне. Печерин (словно создавая стиль жизни для позднейших политемигрантов) месяцами просиживает в кофейнях Лугано и Цюриха, проповеду-

¹ Читайте, читайте сочинение Игоря Смирнова «Психодиахронология. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней!» Узнаете массу околукушеточного о папеньках, маменьках, кастрационных страхах и шизонарциссизме русских литераторов. И каким историографическим оптимизмом дышит последняя фраза книги: «Дальнейшее психологическое исследование ранних форм культуры зависит от успехов стадиологического изучения сравнительно поздней духовной эволюции ребенка, совершающейся после того, как он выходит из периода кастрационных фантазий!» Все вперед! Скоро мы познаем истину!

² «Любимцем», конечно, не в прямом, а в переносном. Хотя, зная «педагогические» склонности графа Уварова, мог бы стать и в прямом. Так, из любопытства.

ет самый бешеный республиканизм и согласно новому контексту (и из-за отсутствия денег на цирюльника) отпускает бороду. Что бросил он в России? Профессорство, зажигательные лекции, горящие глаза студентов, статьи, статейки, статейки в «Современнике» (или в «Москвитянине»? Какая разница!), салонный треп с неблагонадежно бородатым Хомяковым, патриотизм в пятьдесят третьем и либерализм в пятьдесят шестом годах, похоронную процессию сквозь всю Москву, речи на могиле, два абзаца в Брокгаузе. Все. Точка. Что же он обрел?

Бедность и приятелей-коммунистов в Льеже. Случайные заработки и ощущение безграничной свободы; ведь свобода — это когда можно запросто завалиться с книгой на койку. И промечтать целый день. Впрочем, в 1840 г., к огромному изумлению местной публики, Печерин принимает католичество, а год спустя постригается в монахи редемптористского (а не иезуитского, как писал неразборчивый Герцен)³ ордена. И здесь он прекрасно уживается. Начав в тридцать три года новую жизнь, Печерин уверенно делает (не специально, а так, мимоходом) церковную карьеру: в 1845—1848 гг. мы видим его миссионером в милом английском Фальмуте, в 1848—1854 гг. он уже в Лондоне, где пользуется (особенно среди католических дам) невероятным успехом, а с 1854 по 1861 г. проповедует с не меньшим успехом уже среди простых ирландцев в Ламерике. Владимира Сергеевича прочат в кардиналы, как раньше прочли в русские профессора. Но в 1861 г. он внезапно переходит в самый молчаливый католический орден — траппистов, а спустя несколько безмолвных месяцев навсегда уходит из монахов. Карьера вновь сломана, сломана самим Печериным; по его версии — из-за дурных впечатлений от его поездки в Рим в 1855 г. С 1862 г. до самой смерти отец Печерин служит капелланом в дублинской больнице Mater Misericordiae. Умер он 17 апреля 1885 г. и похоронен в Дублине.

Но вернемся немного назад. В 1865 г. по просьбе своего племянника С. Ф. Пояркова и старинного друга Ф. В. Чицова Печерин начал писать воспоминания и посылать их в Россию. Он очень хотел видеть их напечатанными. Но судьба (на пару с русской цензурой) распорядилась иначе. Кое-что было опубликовано в акасовском «Дне» и несколько отрывков в «Русском Архиве». В 1875 г., отчаявшись что-либо еще напечатать, Печерин перестал сочинять «Записки», а в 1877 г. (после смерти Чицова) оборвал корреспонденцию с Россией.

Только в 1915 г. охочий до московских споров 30-х годов М. О. Гершензон частично опубликовал печеринскую автобиографию в «Русских пропилеях» под шпионско-томас-манновским заглавием «Отрывки из автобиографии доктора Фуссгенгера». Он же подготовил более полное издание, вышедшее после его смерти в 1932 г. под теперь уже вдвойне символическим названием «Замогильные записки». В издании Московского университета (1989) название приросло латинской фразой: «Замогильные записки (Apologetica pro vita mea)».

Герцен посвятил Печерину полную фальшивых сетований главу в «Былом и думах». Гершензон (в «Жизни Печерина») глубокомысленно заметил, что его герой «хотя и ничего не сделал, зато много и глубоко жил». А. А. Сабуров написал в 1940 г. о нем кандидатскую диссертацию и статью, а Э. А. Гиллер — целый роман, оставшийся неопубликованным. Л. Люкс в 1992 г. разбирает Владимира Сергеевича в духе модной в том году «русской ностальгии по Западу», а В. И. Мильдон в духе тропопо-топоровского сказочного структурализма именует Печерина «трикстером». Как-то успокоительно, в интонации душевительных «бесед о русской культуре». Почему не «трик-тракстером»?

Но что же интригует нас в этом человеке и его писаниях? Все: и писания, и поступки. Точнее так: Печерин-писатель, Печерин-жизнестроитель, мотивы поступков Печерина.

Начнем. Печерин — писатель... Какой? Хороший! Удивительны его риторические пассажи, не столько мощные, сколько сентиментальные⁴. Да, его сентимен-

³ Вот пример неряшливости великого Искандера: «Эллинист Печерин... сделался иезуитским священником и жжет протестантские библии в Ирландии». И иезуитом не был, и библий не жег.

⁴ Не буду голословным: «Я так воспламенился любовью к квакерам, что тут же брякнул по-французски письмо в Филадельфию к обществу квакеров, прося их принять меня в сочлены и прислать мне на это диплом, а также квакерскую мантию и шляпу!!! Какова штука? Вы смеетесь? «Какая колоссальная глупость!» А мне так плакать хочется. Ведь это просто показывает, что русский человек бьется, как рыба на мели, не знает, куда ударить головою». Искушенный читатель оценит неожиданно точное «брякнул по-французски письмо»; невинный англичанин «прислать мне на это диплом», три восклицательных знака, словно перья, венчающие квакерскую «шляпу», превращая ее чуть ли не в мушкетерскую; обидчивый вскид «вы смеетесь!» и прочие вещи, достойные быть предметом мистической беседы с Кончеевым.

тальная интонация — живая; слова порой изумительно точные и резкие, никаких голлизмов (что в определенной части русской словесности есть чудо); Печерин *не боится* быть сентиментальным, как не боится Саша Соколов в «Школе для дураков», как не боится в своих сочинениях Игорь Померанцев. Сентиментальность — для «малых голландцев» русской прозы. «Большие голландцы» боятся быть сентиментальными оттого, что боятся прослыть смешными. И оттого смешны. Именно над ними, «большими», изящно посмеялся Манделъштам: «Однажды бородатые литераторы, в широких, как пневматические колокола, панталонах, поднялись на скворечню к фотографу и снялись на отличном дагерротипе... Все лица передавали один тревожно-глубокомысленный вопрос: почему теперь фунт слоновьего мяса?» Возвращаясь к Печерину: его «Замогильные записки» — неверный оттиск с того направления русской прозы, которое не состоялось как «направление» и не могло состояться в силу своей штучности. Искуснейший повар не сварит борща на батальон.

Если начать размышлять о стилистике печеринского жизнестроительства, то тут же возникнет вопрос о Гершензоне. «Ну при чем здесь Гершензон?» — отмахнется раздраженный читатель и отвернется. Назойливо потянем читателя за рукав. Гершензон очень даже при чем. Во-первых, он Печерина издавал и писал о нем. Во-вторых... Вообразите себе Михаила Осиповича Гершензона — историка русской литературы и общественной мысли, публициста, философа, переводчика, любимца любого «Указателя имен» и «Словаря русских писателей». Почтеннейший, благороднейший человек, пушкиновед, друг Ходасевича, один из веховских обличителей русского интеллигентского нигилизма. Очки, борода, скрещенные руки пастернаковского портрета. А теперь вспомните нигилистические руссоистские выходы Гершензона в «Переписке из двух углов». Почему? Откуда? Да вот от Печерина. Только в отличие от своего героя Михаил Осипович боялся своей маргинальности и, боясь, стилизовал «почтенность», «культурность»; не умея плавать, устроился, так сказать, инструктором по плаванию. Заметил это, кажется, только Розанов: «В особенности «стилизируют» — Айхенвальд самого себя, Гершензон «прекрасного русского писателя»... Причем Гершензон несравненно умнее и талантливее Айхенвальда. Гершензона нельзя не любить, не читать и не иметь постоянного желания покупать все его издания⁵...

Он сделал себе «стиль человека» и выбрал, согласованно уму своему, великолепнейшее положение «человека с пером, серьезного, достойного, любящего свое отечество, занимающегося не легкомысленными темами, а все самыми серьезными и принадлежащего не к какой-нибудь легкомысленной партии, а к линии, традиции и категории людей, начатых Петром Киреевским, Иваном Киреевским и, далее, Чаадаевым». От себя добавим: и, конечно, Печериним. Но ведь и Печерин был из стильнейших стилизаторов⁶. Вот некоторые «стили человека»: «одаренный ученый», «пламенный революционер», «пламенный проповедник» и даже... «славянофил»: в 1865 г. он пишет в Россию: «Пора России перестать младенчествовать и обезьянничать Францией и Англиею». И откуда — из Дублина!

Владимир Сергеевич многократно и противоположно объяснял мотивы своих побегов. Самое раннее (и, быть может, потому самое искреннее) в письме графу Строганову за 1837 г.: «Я подписал свой окончательный договор с дьяволом, и этот дьявол — мысль». Но, полноте, мыслил ли он? Что называл он «мыслью»? Тут возможны два варианта. Первый: «мыслить» — это понимать, что в России очень плохо, а жизнь русская омерзительна. В таком случае Смердяков — мыслитель, а Розанов — нет. Это, быть может, покажется кому-то само собой, ибо, если вдуматься, отцом русского прагматического западничества был именно форсистый карамазовский бульонщик. Но, на мой вкус, ни жульен отечественного западничества, ни ши родного славянофильства никакого отношения к «мысли» не имеют. На вкус Печерина — тоже. Не та возгонка. Во втором варианте предположим: для Владимира Сергеевича «мысль» — это «жест». Вот что он сам говорит по этому поводу: «Я уверен, что мысль есть не что иное, как электричество, или жар, или что-нибудь подобное, а жар необходимо предполагает движение». Подытожим: а все вместе (жар+движение) есть жест.

Здесь мы вступаем в классицистические декорации Великой французской революции. Именно ее герои мыслили жестами. Вспомним Давидовых Горациев или его же «Клятву в зале для игры в мяч». Вспомним стремительно протянутую

⁵ Вопль небогатого библиофила.

⁶ «Если бы какая-нибудь буря занесла мой челнок на берег Цейлона и я бы нашел там приют в каком-нибудь монастыре буддистов, я бы так же ревностно исполнял все их правила и постановления...» Так вот почему фунт отборнейшей «русской ностальгии по Западу»?!

руку с головой казненного монарха, мощный кулак Дантона, разворот Бонапарта на Аркольском мосту... Эти жесты, рожденные словесами Века Просвещения, пробивали в них пустоты и тем самым комментировали их. Рефлексия посредством движения. В этом (и только этом!) смысле Печерин был истинным революционером, и не столько потому, что читал брошюры Ламенне, Буонарроти и Сен-Симона. Выросший из слов, живущий словами, воспроизводивший слова, он мыслил бессловесно — жестом. Его жестом было бегство.

Так куда же и зачем бежал Владимир Сергеевич Печерин? Совершенно не важно. Важно — «от чего».

Бегство Печерина, его «жест», было бегством от слов, из слов, из языка, из своей культуры, из своей страны; затем — из чужой культуры, наконец, из любого языка вообще. Несколько месяцев, проведенные Печериным в траппистском монастыре, — апофеоз его «жеста». Но, как мы знаем, он не выдвинул и постепенно вернулся: сначала к чужим словам, затем к чужой (ирландской, католической) культуре, затем — к своей, русской, культуре, наконец — к своему языку. В этот момент он и стал писать свои записки. Здесь «жест» заканчивается и начинаются «слова»⁷; заканчивается «вечное настоящее» и начинается «история».

Очень важно отметить тот момент, во всех смыслах исторический, когда Печерин снова «заговорил». Обстоятельства изложены в «Замогильных записках», как обычно, бесподобным языком, кудрявым синтаксисом: «В 1861 г. я носил белую одежду траппистов, работал с ними на поле в глубоком молчании, питался их гречневой кашею и молоком и ничем больше, и они были от меня в восхищении: “Ведь он, кажется, рожден для этой жизни! Как он легко ко всему этому приоровился!” Но это продолжалось всего каких-нибудь шесть недель, пока оно имело прелесть новости и пока я не услышал случайно от одной русской дамы⁸ о важных преобразованиях в России. Тут я не мог вытерпеть: “Как же мне живому зарыться в этой могиле и в этакую важную эпоху не слышать о том, что делается в России?”»

Прищучила-таки Россия, сиречь история, нашего героя. «Итак, 19 февраля, освободившее 20 миллионов крестьян, и меня *эмансипировало!*» Уж куда больше эмансипировать: от жеста, от вечного настоящего, от вечности. И пинком — в Историю. В ту самую Историю, к которой Владимир Сергеевич в детстве был так равнодушен, причем представил свое равнодушие в несколько хармсовском роде: «Кроме отца, у меня был еще другой учитель — флотский офицер с деревянною ногою — достопочтенный и незабвенный Залесский: он учил меня писать и рисовать носы и глаза. В одно прекрасное утро раздался гром пушек со всех укреплений, так что у нас все стекла треснули. Это было известие об изгнании французов из России». Итак, Печерин рисует носы, а История палит из пушек. В результате лопаются стекла.

Хорошо, но почему бы не рассадить кастратов по электрическим эдипажам? Почему не поискать причин печеринского бегства (или изгойства) ниже пояса — там, где под грубой рясой таится нежное либидо? Да он и сам будто уже расположился на психоаналитической кушетке и говорит, говорит: «...*другая* — была жена нашего полковника, хитрая и красивая полька, с которою отец имел почти открытую связь... Вот где узел моей жизни! Вот таинство моей судьбы! Вот греческая трагедия! Вот Орест, отмщающий за обиду не отца, а матери! Думала ли маменька, какое впечатление слова ее оставят на мне? Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство *мести* овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание *отделиться* от родительского дома, искать счастья где-нибудь в другом месте?» Итак, заботливый пациент все приготовил для присяжного фрейдиста: «греческая трагедия», «Орест», «темное бессознательное чувство»... Отец, жестокий и несправедливый, — Николай Первый; несчастная маменька, обиженная отцом, — Родина, Матушка Россия... Психоаналитик ласково кивнет головой: «Позитивная эдипальность»; Александр Эткинд напишет статью «Эдип в Дублине»; Борис Парамонов вынесет окончательный вердикт: «Кюстин наоборот» (Борис Михайлович объясняет привязанность маркиза к императору Николаю

⁷ «...жест не может сопровождаться словом, потому что он выражает только кратчайший момент, а именно: настоящее, спрессованное до отменяющей всякое развертывание точки.» (М. Ямпольский. «Жест палача, оратора, актера».)

⁸ Где он взял ее в траппистском монастыре?

гомосексуальностью первого). Боюсь, ради такой банальной каши не стоило и с печью возиться. С венского доминиона возьмем лишь крохотную дань. Фрейд (в сочинении «Тотем и табу») утверждал: история человечества начинается с запрета, которому подвергается бессознательное желание сыновей умертвить отца. Перефразируем: история для Печерина кончается, когда он, избегая бессознательного желания умертвить отца (императора), убежал из его дома (России)⁹, и вновь начинается, когда он убежал из траппистского монастыря.

А вот куда он прибежал: «...под деревьями меж опечаленных ангелов, крестов, обломанных колонн, фамильных склепов, каменных надежд, молящихся с поднятыми горè взорами, мимо старой Ирландии рук и сердец. ... Это Святое Сердце там: выставлено напоказ. Душа нараспашку. Должно быть сбоку и раскрашено красным, как настоящее сердце. Ирландия ему посвящена или в этом роде». На севере Дублина, если двигаться от Кингз-Инн по Филсборо-роуд, лежит Гласневинское кладбище. В одной из частей этого кладбища кучкой расположены четыре могилы. В трех из них похоронены ирландцы, в одной — русский. В двух из четырех покоятся знаменитые на всю Ирландию общественные деятели, в третьей — какой-то странный русский, четвертый покойник известен всему миру. Три из четырех могил натурально существуют; четвертая — литературного происхождения. Но хватит загадок. Надгробный камень Владимира Сергеевича Печерина находится на Гласневинском кладбище рядом с могилами великих политических вождей Ирландии XIX в.: Дэниэля О'Коннела (ум. в 1847 г.) и Чарльза Парнелла (ум. в 1891 г.). Именно их склепы описаны в цитированном отрывке из шестого эпизода «Улисса» Джеймса Джойса. «Каменных надежд, молящихся с поднятыми горе взорами», — это описание надгробного памятника О'Коннелу. «Святое Сердце там», — тоже про него: О'Коннел завещал похоронить свое сердце в Риме, а тело в Дублине. «Ирландия ему посвящена» — уже фраза из эпитафии Парнеллу. Но что делал Джойс в этом упокоилище страстей? Джеймс Джойс (в лице своего представителя Леопольда Блума) хоронил Падди Дигнама. Могила Дигнама — единственно всемирно известная на Гласневинском кладбище; потому что не настоящая, потому что литературного происхождения. Литература сильнее жизни. Печерин прекрасно понимал это и настоящей своей могилой считал не четыре на два метра на севере Дублина, а свои «Замогильные записки»: «...хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеева Печерина. Эта печатная страница была бы надгробным камнем, гласящим: *здесь лежит ум и сердце В. Печерина*».

Автор «Улисса» не зря появился в нашем тексте. «Дублин» — значит «Джойс». Первое, что приходит на ум; самое верное. Но есть еще и второе. Как и Печерин, Джойс — беглец; и беглец от того же. От «кошмара истории» (выражение, вложенное в уста Стивена Дедалуса). И тот, и другой бежали сначала от «кошмара национальной истории» (из России, из Ирландии), но это не помогло. Тогда они бежали от «кошмара истории вообще», маршрут этого бегства один — в эстетизм. В случае Печерина в эстетизм католический, обрядный¹⁰; в случае Джойса — в эстетизм литературный, флорберовский. Где начинается монастырь с его циклическим укладом времени, там история кончается¹¹. История кончается и у входа в монастырь литературного эстетизма, так как «прекрасное» исторически не обусловлено. Время эстета — циклическое, а не линейное, эстет в вечном ожидании «вечного возвращения» (пользуясь понятием великого эстета). Нет для него истории.

В конце концов Джойс оказался сильнее. Пробуждением от «кошмара истории» стала для него финнеганова побудка. Печерин не выдержал превратностей своего бегства и вернулся. «Вечное возвращение» не имеет к этому никакого отношения. Но география — тоже.

⁹ «Одной из... причин (принятия католичества. — К. К.) был непомерный страх России или скорее страх от Николая. Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным инстинктом самосохранения».

¹⁰ «Верь мне, друг, в звуках органа, сопровождаемых церковным песнопением, в дыме ладана, поднимающемся к небу сквозь солнечный луч, в любой иконе Богоматери больше истины, больше философии и поэзии, чем во всем этом хламе политических, философских и литературных систем» (из письма Печерина Ф. Чижову).

¹¹ «История монаха — то же, что история карманных часов. Вот ты их завел, и они идут: стрелка медленно передвигается от секунды до секунды, от минуты до минуты, от часа до часа в продолжении 24 часов. Вот так и жизнь монаха».

Вячеслав КУРИЦЫН

Бродский

Второй раз за полтора года существования «Записок литературного человека» я обращаюсь к очерку творчества поэта — первый раз это был Д. А. Пригов, сейчас И. А. Бродский — и в обоих случаях мои опыты падают на шестой номер журнала, который готовится к печати в обильные капелью, весной, а стало быть, поэтическим настроением апрельские дни и видят белый свет в июне, в светлые дни, осененные именем Пушкина. Нуждаются ли в специальных комментариях такие знаменательные совпадения?

Наиболее «геополитичное» из творений Бродского и одновременно свод созданных прямо в пространстве классики цитат — «Путешествие в Стамбул» — может пролить изрядное количество воды на мельницу патентованного постмодерниста. Бродский с редкой откровенностью противопоставляет христианский (линейный, абсолютистский, кочевнический, имперский — «Да и что, вообще говоря, может быть ближе сердцу вчерашнего кочевника, чем принцип линейности, чем перемещение по плоскости, хоть в ту, хоть в эту сторону») идеал — идеалам политеизма и оседлости («Тот или иной бог может, буде таковой каприз взбредет в его кучевую голову, в любой момент посетить человека и на какой-то отрезок времени в человека вселиться... Очаг не отличается от амфитеатра, стадион от алтаря, кастрюля от статуи... Подобное мироощущение возможно, я полагаю, только в условиях оседлости: когда Богу известен ваш адрес». Христианская линейность обнаруживается в баллистических фантазиях Циолковского и в политике-как-продолжении-войны-только-другими-средствами (в терминах автора этих строк — в авангардной воле переделывать мир), идолопоклонничество четко сопоставляется с демократией.

«Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма».

Инстинкт самосохранения переплетается с инстинктом, так сказать, теоретическим. В постмодернистской парадигме монотеизм невозможен потому, что невозможно внеположенность субъекта объекту, «чистое» описание из безвоздушного пространства (это изъяснялось Бахтиным, в качестве другого авторитетного источника часто используется квантовая механика, открывшая непременную зависимость объекта наблюдения от свойств наблюдателя и его аппаратуры). Цитата-лидер: «Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть что оно зачастую отражает скорее его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма — если не с полным недоверием. Единственное, что наблюдатель может тем не менее заявить в свое оправдание, это что и он, в свою очередь, обладает определенной степенью реальности, уступающей разве что в объеме, но никак не в качестве наблюдаемому им предмету» (к этой же теме — замечание, что для суждения о книге нужно знать возраст автора). Правда, здесь поэта беспокоят не столько права объекта не подвергаться описанию из внеположенной абстракции, сколько права субъекта располагать в этом описании себя. И инстинкт теории, и инстинкт самосохранения все же слабее инстинкта контекста: «В конце концов откуда я сам?» С Востока, из христианства, из великой культуры высоких смыслов и божественных внеположенностей. Политеизм может быть более симпатичен, но ради более разумного и симпатичного Бродский не забывает о

том, что его собственная судьба долгое время разворачивалась в других пространствах.

В мифе Бродского принадлежность к высокому контексту русской литературы играет решающую роль: и дружба с Ахматовой, и «величие замысла», и призрачный Санкт-Петербург, и несправедный суд, ореол мученика и изгнанника: во всем этом очень много вполне «линейной» метафизики.

И в многочисленных прижизненных-посмертных воспоминаниях-посвящениях друзья-знакомые описывают его юность как полную предзнаменований и символов: сразу было видно, какого масштаба растет поэт и какая ему назначена судьба.

И почти всю жизнь великого сочинителя его идолам и божкам не был известен его адрес.

И собственное его христианство — не только феномен контекстуальных пространств, но и продукт идейного выбора: «Я сначала прочитал Бхагавад-гиту, Махабхарату, и уже после мне попалась в руки Библия. Разумеется, я понял, что метафизические горизонты, предлагаемые христианством, менее значительны, чем те, которые предлагаются индуизмом. Но я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно...»

И, может быть, не без влияния христианских вертикалей Бродский позволяет себе такое «вертикальное» отношение к людям, с которыми его связывала судьба, что иначе чем неоправданным его назвать затруднительно (см. строки о любовнице в «Посвящается позвоночнику»).

И о высокой роли поэта в России Бродский говорит с уверенностью и достоинством: «Если поэзия и не играет роль церкви, то поэт, крупный поэт, как бы совмещает или замещает в обществе святого, в некотором роде. То есть он некий духовно-культурный, какой угодно, даже, возможно, в социальном смысле — образец».

И когда в критике становятся общим местом замечания типа — «Изображение общества как трусливого стада, напоминающего «полых людей» Элиота, постепенно становится обычным в стихах Бродского», — это воспринимается как медицинский факт, а не как оскорбительное для поэта предположение.

И если даже критик сравнит Бродского с «человеком среди вещей», который и «сам похож на вещь», то тут же будет уточнено: на радиоприемник. На вещь особую, обладающую недоступными иным вещам свойствами — в данном случае повышенной чувствительностью. На вещь, связанную с какими-то надвещными феноменами: в данном случае с таинственным эфиром.

В результате высота, которую набирает Бродский, степень его автономности от феноменов и внеположенности, степень его превосходства над земными вещами, становится еще более крутой, чем превосходство божества в неуютном монотеизме: «Ты Бога облетел и вспять помчался...» — сообщает он Джону Донну, вполне имея в виду и себя.

Обозревая с этой высоты ключи, замки, перила, решетки, набережные и дворцы, поэт в результате приходит к малоутешительному выводу, что «действительность сама по себе не стоит ни черта. Лишь восприятием выдвигается она в значащую степень. И существует иерархия восприятий (а следовательно, и значений), где те, что прошли сквозь самые чувствительные и уточненные призмы, занимают главенствующее положение. Утонченность и чувствительность придаются этим призмам источником их поставки — культурой, цивилизацией, чье главное орудие — язык».

Язык — главное средство, с помощью которого Бродский борется с тем, что он называет пространством, — во имя того, что он называет временем. С пространством более-менее ясно: это география и расположенные в ней предметы. Время же предстает как место обретения всяческих высоких смыслов существования, как просто обретение смыслов и самой способности к мыслепологаию — «мысль о вещи». Язык и история — союзники в деле абстрагирования, которое так любит Бродский, ибо считает его залогом динамичности. «Постоянное абстрагирование от своей единицы» описывается как высокая ценность. Между вещью и мыслью, по Бродскому, всегда предпочтительнее последнее — можно догадаться, почему — потому, что оно отстраняет субъекта мышления от скучной природы, утверждает силу его внеположенности, абсолютность его автономности. Ради такого высокого статуса можно объявить себя орудием языка — это хорошая возможность остаться при внешне скромной функции «орудия» подлинным хозяином ситуации, ибо кто же может лучше других представлять себе, чего и как хочет язык, если не поэт. Поэт при языке полновластен, как жрец при божестве, которое может выражать себя исключительно через жреца. Размещение во времени, которое мыслит о пространстве, есть род обладания пространством — то, что Алексей Расторгуев назвал «ренес-

сансным упорством оптимизма: я могу подумать об этом, значит, это мое». Вот почему мысль выше вещи.

Языку-времени у Бродского атрибутируются свойства высшей реальности, высшей — в сравнении с профанными пространствами пыльных и скучных вещей. «Речь выталкивает поэта в те сферы, приблизиться к которым он был бы иначе не в состоянии, независимо от степени душевной, психической концентрации, на которую он может быть способен вне стихописания». И у этой высшей реальности мало общего с постмодернистской политеистической виртуальностью, в которой кастроля родственна алтарю и в каждой теплой домашней вещице дышит возможность чуда, — в этой высшей реальности бьются друг о друга глыбы грамматических форм и разнообразные абстракции абстракций. Там живут, страшно сказать, какие-то абсолютные смыслы.

Однако этот мир абсолютных смыслов со временем обнаруживает свою тавтологичность (что, в общем, вполне естественно: абсолютность предполагает завершенность, закрытость). Упоминавшемуся выше Алексею Расторгуеву принадлежит занимательнейшее исследование о цитатах Бродского девяностых годов из раннего Бродского, преимущественно семидесятых. Взрывы агавы из «Новой жизни» обнаруживаются в раннем стихотворении «С видом на море», а структурно схожий взрыв рейейника — в одной из эклог. Папоротник пагод из «Путешествия в Стамбул» переглядывается с пагодами папоротника из той же эклоги. Повторяются чучело перепелки, мрамор для бедных, нью-йорки и кремли из бутылок, сравнение Корбузе с Люфтваффе, рифма «вера-стратосфера», мышь, вдыхающая гнилье отлива, и т. д. и т. д. Причем старые элементы могут соединяться — как это, скажем, случилось с пагодой и папоротником, в обратном порядке, мрамор для бедных может значить в одном месте снег, в другом песок, а в третьем, предположим, плохой мрамор — эти означающие вполне потеряли связь с означаемыми, как в постмодернистской виртуалке, — потеряли и безразлично тусуют себя по пространству письма, но автор-то искал не виртуальную, а подлинную реальность.

В виртуальной реальности, скажем, у Манделъштама повторы, варианты одного и того же — вновь наблюдение Расторгуева — «ведут то к схожим, то к несхожим результатам именно так, как в разных вариантах мифа герой действует по-разному, вплоть до того, что разным будет его конец или посмертная судьба», — виртуальность предполагает многомирие. «У Бродского же повторные ходы речи создают другое впечатление: герой его слога вдруг в какой-то момент совершает такое же действие, какое совершал давно или недавно, но при других обстоятельствах; и пейзаж был другим, и время дня, но есть какое-то место, куда стоит только посмотреть — и вдруг становится ясно, что все это уже было. ...Совпадение с собой... сужает круг бытия, возвращая любое образное впечатление обратно, к себе самому; этот род автономности не назовешь торжествующим».

Возможно, ему и не нужно было торжествовать. Готовность к поражению и печали, трезвые рассуждения в интервью о том, что ему не суждено дожить до нового тысячелетия, одиночество, полпачки сигарет каждый час. Статус великого поэта уверенно уходил из номенклатуры русской словесности. Его расшатывали лучшие сочинители: так, тот факт, что Рубинштейн — литератор, к которому идеально подошло бы определение «автор» — считался у нас поэтом, работал не только на успешность стратегии Рубинштейна, мотивировавшего таким образом свое родство с великим телом русской лит-ры, но и подрывал метафизичность фигуры поэта с большой буквы. Когда Бродский умер, самая продвинутая из наших культурных телепрограмм, «Намедни», интервьюировала Пригова, который сообщил, что Бродский был великим поэтом в эпоху, когда великие поэты не предусмотрены.

Оставаться великим поэтом в эпоху исчерпанности представлений о великой поэзии — счастливая и тяжелая судьба. Для великой поэзии, помимо всего прочего, мало осталось понятий и слов: может быть, потому Бродский, постоянно признававшийся в презрении к вещам, впал в истерику перечней. Его апелляции к физике-науке, к умным категориям, к перспективе и Лобачевскому юмористически ограничиваются программой десятилетки. Это «падает в вакууме без всякого ускоренья». Эти «кислород, водород» и даже «теперь представим себе» — картинки из школьного курса естествознания и даже риторика этого курса, его вводные фразы... — замечает Расторгуев. Это забавным образом похоже на то, как герой «Пушкинского дома» пытается сохранить целокупность смыслов великой русской культуры в рамках школьного курса словесности (я писал об этом в «Октябре» № 8 за прошлый год).

Однако великий индивидуализм может прочитываться не только в байроническом-романтическом контексте. Для россиян конца двадцатого века логично прочи-

тать его на фоне мифа о прайвеси. Партикулярность Бродского, частность его и автономность — то, что жадно ловил и в семидесятые, и в первой половине девяностых отечественный слух, тонуший в социально-идейных просторах. При манифестированной любви к большому хроносу Бродский превосходно умел создать образ частного пространства (здесь можно жить, забыв про календарь, глотать свой бром, не выходя наружу — стул, сливающийся с освещенною стеною — пленное красное дерево частной квартиры в мире — не выходи из комнаты — не совершай ошибки — за рубахой в комод полезешь и день потеряешь — сегодня ночью я смотрю в окно — и вообще очень много всяких взглядов из окна), пусть часто неудобного, хрупкого, но от этого лишь сильнее нуждающегося в защите.

Он — в соответствии с величием замысла — при жизни оплавился в миф о большом русском поэте, но — в соответствии с дыханием постмодернистской эпохи — эта жизнь кажется прожитой в жанре «проекта». Рыжему «делали биографию», и он, кажется, с готовностью располагался внутри этой делаемой биографии. Сочинял непреременный стишок на всякое Рождество. По воспоминанию Наймана, «вел себя на суде ровно так же, как на вечере поэзии, и говорил ровно то же, что в стихах. Процесс политический он превратил в поэтический...» Пытался объехать мир по пулковскому меридиану, возмещая отсутствие в родном городе. Став поэтом-лауреатом, настаивал, что антология американской поэзии должна лежать на тумбочках в отелях, как Библия, и продаваться в супермаркетах и аптеках. Умер в 1996-м историческом году, когда Россия стала из «посткоммунистического» превращаться в «буржуазное» государство.



Лавацца, белая лавацца...

НЕЗАКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ В РЕДАКЦИЮ НОВОЙ «СТОЛИЦЫ»

Привет, господа магнаты,
шеф-корреспонденты и текст-директоры!

Журнал ваш сделан не без шарма, сам видел – многие сограждане так и рвут номера друг у друга из белых рук. Курицын тут заявил как-то, что вы новый стиль для отечественной прессы открыли – «расслабленный» и «прогулочный». Полюбил, одним словом. Но, впрочем, моя-то песня не о том – не о любви. Нелегко прописаться в журнальной коммуналке. Того гляди забредешь в чужой монастырь. Понятное дело – охота и самому быть с усами, выдумать что-нибудь сугубым образом свое. Вот и замыслен был журнал

– не новостной (стоит ли при раз-в-недельном графике появления на людях гоняться за мгновеньем?);

– не политический (ну ее, голубушку, обрыдла);

– не аналитический (в таких тянутся из номера в номер скучнейшие расследования с привлечением высоколобых экспертов);

– не философско-эссеистический: даже утонченная «Новая юность» занудна без меры.

Ну, и, конечно уж, «Столица» – орган

– не эротический (легкий путь к дешевому успеху);

– не картинно-рекламный (знать, в карманах ветер не свищет);

– и вообще не «глянцевый» (где там! журнал печатается на благородной шероховатой бумаге).

Что остается за вычетом всех «не»? Ясно – *имиджи скрипторов**, хороших и неразнообразных. Узнаваемых, ярких и, главное, своих в доску – как ты да я, друг Сальери. К таким корешам можно запросто подвалить на улице и пригласить в ближайший паб, или прийти к ним в редакцию поговорить по душам, или... Немало сил и типографской краски в пилотном номере извели столичники на святое дело: чтоб читатель раз навсегда заотличал Вережана от Митрофанова и Арифджанова от Голованова. Тут тебе и бесконечные месседжи о перипетиях редакционной жизни (в навязчивой и приторно однообразной рубрике «По вызову редактора»), и докучливые упоминания в одной статье об авторах и содержании других, соседних. Раскрутка, промоушн, стармейкерство? Да, в читательском меню присутствуют все три дежурных блюда, вернее, такая кустарная баланда, дилетантская похлебка, эрзац-продукт, вроде экранных кушаний из программы «Смак». Знакомо: при виде эфирных священнодействий, камланий с котлами да котлетами слюнки, натурально, текут, а зуб, виртуально, неймет (под ложечкой же, фигурально, сосет).

«Центральный очерк» дебютного номера озаглавлен незатейливо: «Идиот». На фоне вязкой текстостки настоящие снимки советской поры. Простенький монтаж – и редакционные корифеи водворены рука об руку с героями войны и труда. Негромкий шепоток: смотрите, завидуйте – вот они, новые властители дум, кто же еще пособит пронцательному читателю бесповоротно впасть в нирвану без всякой там политики-аналитики (а еще того лучше – вовсе без дум)? Главное – покраснее рассказать о себе в *процессе* писанья, и тогда непременно окажешься на полшага ближе к шеренге великих. Стойкая ассоциация: сотворение стенгазеты в «Понедельнике...» Стругацких (таких людей как этот Брут поберегись они сопрут берите прут каким секут секите Брута там и тут...).

Значит, не важно, о чем там Колесников с Гончаренкой на сей раз напишут, лишь бы писали *они*, а не Василий Песков с Ольгой Кучкиной. Постой, постой (ки-

* Т. е. образы корреспондентов (перевод со столично-марсианского).

пит ваш разум возмущенный) – да нет же, *важно*, о чем – о Москве; городской ведь, понимаешь, журнал: переулки, высотки, хрущевки и прочее. Позвольте, но подобное сужение темы работает *против* замысла Лучшего Народного Журнала. Вообразим на минуту, что в «Поле чудес» соревнователи отгадывают слова только из обихода кулинаров или Ворошилов озадачивает своих брейн-киперов исключительно в области самолетостроения... Что, параллели непочетные? Но ведь обе помянутые незлым тихим телепередачи как раз и держатся только на ритуале разыгрывания некоего действия и на личности тамады. Убрать из «Поля» душку-Якубовича, что получится? Правильно, школьная развлекашка с отгадыванием слов, в народных массах издавна окрещенная «балдой». Ладно, согласен и на более пристойные сближенья. Обаяние творцов явно перевешивает материал во «Времечке» и на «Эхе Москвы». От чего заходится любитель-потребитель? Знамо дело – от огромных пуговиц Ольги Грозной и от похмельно-демократической хрипотцы Андрея Черкизова. Воля ваша, но ведь там еще и новости, и политика, и даже реклама с эротикой случаются...

О новостолличном слоге. Первое впечатление: стеб, ни слова в простоте, оскомина. Второе: тонкая ирония, молодцы ребятки, находок тьма. (Одна из лучших – подслушанные мысли Муму, вedomой Герасимом на казнь, но покамест сытой и счастливой: «по правую лапу – бассейн «Чайка»... – неужто Шухмин сам придумал?). И тут-то третье впечатленье окатывает холодной волною, девятым, знаете ли, валом: батюшки, да тут *абсолютно все* одинаково написано, от залихватски беспомощных вступительных речей главного редактора до заметки о падающих медленно в бездну московских мостах. Будто не разные особи сочиняли, а один коллективный спичрайтер. Может, и впрямь - все заметки, корифеями скорбно слагаемые ко чреслам руководства, по несколько раз перепахивает какой-нибудь «текст-директор»? Этакое синхронное плавание получается: один репортажник закладывает крутой фабульный вираж - глядь, и другой интервьюер норовит такой же галс вычертить. Тут не до Москвы, брат, пиши хучь о Гвадалахаре, лишь бы с параллельным мастерским вывертом. Мир, вытащенный из слова, застит дорогую мою столицу, ее насельников вкупе с хитровками и ходынками.

Ладно, знаете какой *самый лучший* пока что «столичный» материал? Сомнений нет – заметка Панюшкина о кофе *Лавацца*. Боже ты мой, чего тут только нет: притча об орле и вороне, лихо закрученный сюжет, тьма достоверных деталей (от римского аэропорта Фиумичино до бравого сыночка корреспондента, врезающегося в холодильник на роликовых коньках). Теща и та есть! А сколько словесного шарма в мастерски обыгранном лейтмотиве смеси, смешивания (итал. «мишелла»). Как муж и жена в смеси друг с другом рожают бодрое дитя, так, изволите видеть, разные сорта кофейных зерен смешиваются в напиток богов. Сколько калорий израсходовано журнальным талантищем, неужто только для того, чтобы убедить меня потреблять этот, а не иной «нового дня глоток»? (А коли не за этим, то, значит, – заради красного словца?) Нет, я понимаю, что реклама – отдельное искусство (сейчас для нас важнейшее из), но тогда уж давайте честно сочинять тексты о диоролах, марсах и «мощных наездниках». При чем тут Москва?

...Подбор московских сюжетов поражает убожеством. Ну, падающие мосты. Ну, неизбежный монстр Церетели (ругаемый без малейшей попытки нестандартного хода в разговоре). А уж о заметках про тоннель под Калининским да про католиков в Москве и упоминать стыдно. Плоско, предсказуемо, пресно. В каждой – колет глаз изысканное плетение словес, демонстрация мускульной силы в отсутствие угрозы нападения. Помните лоснящиеся склизкие тела культуристов? Их бы, голубков сизых, с подиума да в темную подворотню – честных девушек от совратительей защищать. Нет, не хочет «Столица» уступить читателю ни пяди типографской площади без особой изюминки. Удачные находки (панорамная фотография Москвы, например) соседствуют с дешевой (штуки с куклой Лужкова).

Коли дорогой редакции «журнала образцового содержания» все едино о чем писать, могу за небольшое вознаграждение, не сходя с места, предложить десятка два сюжетов. Значит, так: непроизносимые надписи на перегородах внутри интимных помещений в недрах Госбиблиотеки (бывшей имени Ленина), рассказ бомжа Левы с Миусской площади о грядущем нашествии крыс-мутантов, эссею о собирателях городского фольклора, коллекционирующих выкрики футбольных болельщиков. Наконец, гвоздь сезона: вкусовые предпочтения моего эрдельтерьера по кличке Хазар! Он, знаете ли, большой гастроном-книголюб: с завидным умением сокращает в числе мою домашнюю библиотеку. Строго по плану злодействует, чередует демократов с панславистами. Ежели, к примеру сказать, сперва кирпич академиче-

ского Чернышевского сожрет, то после наверняка на томик Хомякова позарится. А надясь сборник Аксакова схрупал, так что теперь я по ночам четырехтомник Писарева, не смыкая очей, патрулирую. Ну как, занято?

Ох уж эти изобретенные велосипеды!.. Наверняка не все еще позабыли жареные статейки Ваксберга-Рубинова-Щекочихина о мелочах московской жизни в «Литературке» семидесятых годов. Про телефоны-автоматы и почту, про преступные (т-с-с-с! – мафиозные) группировки да про нарушителей социалистической законности... Злоба дня на прежний манер сегодня кажется вымученной, высосанной из пальца. Вот и наскучивает стремительно журнал-мишелла, совокупивший в мучнистое варево тринадцатую и шестнадцатую полосы ветхозаветной «Литгазеты».

Покамест журнал уверенной поступью идет по пути превращения во всемосковскую развлекаловку. То поместит в приложении краткое практическое руководство по изготовлению бумажной шапки-пилотки (такими в конце шестидесятых покрывали свои горячие головы пляжные отдыхающие да футбольные болельщики), то инструкцию, оберегающую русского человека от американского сексуального харрасмента (так!). А то вот еще тиснули в «Столице» полезный в практически-ностальгическом отношении гимн Советского Союза. Первый куплет с припевом звучат так:

Кавказ, Тарибана, Чэмэн, Гурджаани,
Гиссар, Ахашени, Улыбка, Далляр,
Дербент, Саперави, Агдам, Мукузани,
Чашма, Копетдаг, Аштарак, Солнцедар.

Припев:

Цицка, Иверия, Белое крепкое,
Волжские зори, Сафеди, Памир,
Аист, Тринадцатый, Красное крепкое,
Лидия, Псоу, Гадрут, Кюрдамир.

Рискну попророчествовать: возможны ровно два пути. Либо «Столица» приобретет в скорейшем времени хрестоматийный «глянец», либо будет вынуждена воскрешать ненавистную аналитику и строже дозировать стеб. В первом случае журнал будут читать и почитать тинейджеры с пейджерами, во втором - высохшие в трудах брадатые доценты, нервно мусолящие скудные центы.

...Но как же быть с проектом Народного журнала? Эй, слышите, газетные магнаты-наследники, я знаю, что делать и кто виноват! Отпустил бы ты, гой еси, замглавредактора, своих шеф-корреспондентов на вольную волюшку. Ей-богу, не след их одним аршином мерить - пускай себе вразнойой пишут, как дышат. Тут-то и нахлынет из-за угла небо в алмазах...

Дмитрий БАК



Литература как времяпрепровождение

«Москва. Мелочи жизни» — так назывался цикл еженедельных фельетонов, который с 1897 по 1900 год вел в газете «Курьер» тогда еще неизвестный литератор и судебный репортер, печатавшийся под ироническими псевдонимами: Лев и Джемс Линч. Правда, с 1898 года о нем заговорили в тесном писательском кружке как об авторе недурного «пасхального» рассказа «Баргамот и Гараська», который заметил уже начавший купаться в волнах популярности Максим Горький, бывший нижегородский, самарский, казанский, одесский и прочая, и прочая газетчик, он же — Иегудиил Хламида. В первый год XX века после выхода книги писателя Леонида Андреева о нем уже знала едва ли не вся образованная Россия. На него с интересом посматривали корифеи — Толстой и Чехов, Михайловский и Скабичевский. И это был нормальный путь русского литератора тогда — из газетного болота на «Литературный Олимп» (так называлась книга статей известного критика Александра Измайлова, М., 1911, персонажами которой, сами понимаете, стали далеко не все тогдашние писатели, но Леонид Андреев среди них, разумеется, был). Этот нормальный для рубежа веков путь прошли и Бунин, и Куприн, и Чириков, и Зайцев, и Ремизов, и Арцибашев; но были и те, что его как бы «не дошли» и, по словам Скабичевского, остались помирать «пьяными под забором», потому что газетчина выжала их, как лимон, не оставив сил на реализацию чисто литературных дарований.

Но те, кто дошел до цели, несомненно, были обязаны газетчине не только знанием жизни и способностью бойко писать (Андреев, например, так и печатал свои вещи на машинке), но и, говоря филологическим языком, поэтикой своего творчества. Ведь все эти «безумства храбрых» и «красные смехи» вышли из специфического газетного лубка того времени, которое мы сегодня называем «серебряным веком», но которое было еще и «свинцовым», потому что никогда прежде российские газетные типографии не работали так интенсивно и рабочие в цехах не вдыхали столько свинцовой пыли. И если однажды из этих типографий начинали слегка приворовывать газетные шрифты и тискать ими в подвалах всяческие «Искры» и «Правды», то в этом, согласитесь, не было ничего странного. Будемте справедливы, господа эстеты!

Насколько же переверотилась сейчас эта ситуация! Нынче порядочный литератор, если он желает иметь деньги в кармане и не иметь тяжелых объяснений с женой и подрастающими детьми, должен именно быстрее всех скатиться с Литературного Олимпа и погрузиться по плечи в теплое журналистское болото.

Самое надежное — попасть на ТВ! Там, даже если ты никому не ведомый стихотворец (а может, и прозаитор? — не помню!) Александр Шаталов, тебе все равно, как поется в рекламном ролике, «гарантирован успех»: достаточно картинно побросать в мусорное ведро какие-нибудь нелюбимые тобой книжки или журналы — и не надо забывать себе голову тем, что вот кто-то же их писал, набирал, вычитывал, верстал — словом, занимался какой-то муравьиной и крайне старомодной работой. (См. об этом в № 3 «Октября» за этот год.)

Но на ТВ очень тесно. В этом болоте выживают жабы самые энергичные, с самым длинным отстрелом языка. Проще приспособиться ловить мух и комаров на радио. Но там и работа тяжелее, там нельзя однообразно квакать по десять минут раз в неделю — надо ежедневно быть на ногах, с трезвой головой и свежим дыханием. Меня, например, поражает Николай Александров с «Эха Москвы»! Он выпивал

вместе со мной на антибукеровском банкете, а через два часа я, лежа на домашнем диванчике, слушал его репортаж «с места события»... Без шуток: Николай — героический человек, и ведомая им ежедневная передача «Арбатский арс» отлично делается! Особенно рецензии в рубрике «Книжечки каждый день». Я-то понимаю: книжечки надо прочитать, рецензии написать да еще и прочитать артистическим голосом. Проще раз в неделю побросать книжечки в ведро и пойти смыть грим.

Но еще проще быть Газетным Писателем. Не писателем-журналистом, а именно — Газетным Писателем. Писатель-журналист — это Антон Уткин, чей яркий дебют в «Новом мире» (роман «Хоровод» в №№ 9, 10, 11 за прошлый год) пока ничего еще, кроме понимания, что литературная среда — штука сложная, странная и замороженная всяческими комплексами и предрассудками, ему не принес. Ни славы, ни денег. (Предсказываю, впрочем, что роман войдет в «лонг лист» — финальный список по-русски — премии Букера. Не войдет — тем плачевней для Букера. Писано в середине апреля 1997 года, когда состав финалистов еще не известен.— П. Б.) Зато статью Антона в еженедельнике «Столица» о «Шедеврах мировой литературы в пересказах» — это такой многотомный проект издательства «Олимп-АСТ», на который с рычанием набросились филологи и писатели, которых работать в этом проекте не пригласили,— при мне обсуждали две женщины в овощном магазине. Вот и задумайтесь: стоило ли писать «Хоровод», обижаться на критика Немзера, который роман поругал, браться с критиком Басинским, который роман похвалил, и ждать, как манны небесной, лстивых предложений от издательств, которые никаких предложений, разумеется, не сделали? Не проще ли вкальвать на черном рынке газетчины и печатать, как Игорь Клев в «Неделе», рецепты изготовления лобии и шашлыков? Словом, не проще ли работать писателем-журналистом, а на Литературный Олимп похаживать иногда полужгать семечки и поболтать с приятелями?

Но благо тебе, если ты в свое время поблистал на Литературном Олимпе и приходишь в газетное болото не писателем, а Писателем. Не будучи Писателем, Леонид Андреев печатал в «Орловском вестнике» рассказы под названиями типа «Он, она и водка». Когда он стал Писателем, то названия сильно изменились — «Океан» или «Жизнь Человека». И алкогольное свое прошлое следовало позабыть и работать на имидж эдакого Мастера в бархатной курточке, который даже особняк в Финляндии не может построить без выверта, а непременно в декадентском стиле, с громадным камином и офортами Гойи на стенах, чтобы подражали потом разные внозенские в переделкинах, расписывая свои жилища на авангардный манер. И в голову не могло прийти бывшему орловско-московскому журналюге, что течение моды повернет вспять и Писателям нового конца века придется вспоминать о «ней» и водке.

Как это сделал Евгений Попов, пристроившийся сейчас в газете «Неделя» в авторской рубрике под названием «С кем это я вчера выпивал?», то есть простите: «Та еще неделя». А ведь совсем недавно, в начале 90-х годов, он честно старался поразить читателей как бы «двойным Тургеневым», напечатав в «Волге» роман «Накануне накануне». Но и «двойной Тургенев» на рынке теперь не идет, и приходится вспоминать о более натуральных напитках.

Вот он пишет, как, с трудом одолев на машине ухабистую дорогу, попал наконец в галерею *«с актуальным названием «Сегодня», в которой друзья и читатели видного современного писателя ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА* (так набрано в «Неделе». — П. Б.) *собрались, чтобы отметить хорошее событие — выход его новой книги под названием «Государственное дитя»... Вячеславу Пьецуху был торжественно вручен орден «Белого таракана», а на обмыв заслуженной награды режиссер САВВА КУЛИШ пожертвовал писателю из личных запасов огромную бутылку какого-то экзотического напитка, прочитать название которого я не сумел, так как забыл дома очки.*

Понятно, что Евгений Попов, как говорится, «стебается»; но давайте и мы посмотрим на ситуацию «по-дурацки», как советовал в свое время Лев Толстой (то есть: смотреть на любые, самые запутанные ситуации взглядом наивного человека). Прежде всего легко заметить, что ЕВГЕНИЙ ПОПОВ и ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ полагают себя очень крупными ПИСАТЕЛЯМИ — в противном случае история с бутылкой и белым тараканом выглядела бы полной бессмыслицей. Ну, выпивали, ну, поздравляли друг друга Иванов, Петров, Сидоров — что с того! Но выпивали-то ЕВГЕНИЙ ПОПОВ и ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ! Люди непростые, с репутацией и проч. И это понятно...

Непонятно вот что. Подобным смакованием подробностей жизни и поведения знаменитых писателей должны бы заниматься обычные журналисты, возможно,

втайне терзаемые литературными амбициями, еще не состоявшиеся горькие и андреевы. Но смакует их сам Писатель! Одно из двух: либо он не вполне уверен в своей известности и старается ее хотя бы сымитировать; либо его Писательство — это тьфу в сравнении с лаврами и заработком журналиста.

Выбирайте, что хотите, но мне лично Евгения Попова, прозаика талантливо-го, но, скажем так, порастерявшего свою творческую энергию на ухабистой дороге писательской жизни, глубоко жаль! Как и Вячеслава Курицына, который в «Записках литературного человека» печатает подробные описания, как ему, Известному Критику, делают ежедневный массаж в литфондовской поликлинике...

Русская Литература существовала в разных качествах. Она была Свидетельством («Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», Летописи); она была Проповедью («Слово о законе и благодати», «Житие Аввакума», отчасти Достоевский); она заявляла себя как Служение (Пушкин) и как Служба (соцреализм). Она бывала и Ремеслом, если вспомнить, что уже Пушкин не стыдился зарабатывать стихами, а молодые Фет и Некрасов писали водевили. Кажется, сегодня она превращается во Времяпрепровождение. Достаточно стать Писателем (или хотя бы считать себя таковым) — и писать уже, строго говоря, необязательно; достаточно Проводить Время Как Писатель. Но лучше и озаботиться тем, чтобы о твоём Временипрепровождении кто-то написал, какой-нибудь газетчик. Если его нет — можно и самому. То есть, извините, Самому!

Что делать? Гоголь заметил: «Скучно на этом свете, господа!»

Но раньше-то хоть писать об этом свете было нескучно!



Давид БАЕВСКИЙ. ПАРАПУШКИНИСТИКА. (Б.м.), М.И.Р., (б.г.). (Б.т.).

Книга составлена из официальной переписки, рецензий и публикаций, возникших вокруг «Тайных записок» А. С. Пушкина — сочинения пусть и подложного, но более необходимого, чем десятки литературных памятников. По тому, как открещивались от него, как поносили и как обворовывали, можно нарисовать картину последнего десятилетия, историю приватизации литературы. Тогда (впрочем, и ныне), если сочинение подходило под требуемые стандарты, его признавали за существующее, в противном же случае объявляли суррогатом, подделкой либо и вовсе фикцией. Удивляет не то, что издания самой разной ориентации не были наделены обыкновенной совестью, а скорее то, что они были обделены чувством юмора. Пожалуй, лишь журнал «Октябрь» поместил на «Тайные записки» достойную их рецензию. К сожалению, это не отмечено в книге Д. Баевского. Однако переиздания, думается, следуют.

АПОЛЛОН. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь. М., «Эллис Лак», 1997. 25 000 экз.

Перенасыщенный терминами словарь при всей чрезмерности представляет особый мир — либо миры (если принимать во внимание, что скульптура, графика, живопись и дизайн — вещи слишком различные, порой противоположные). Однако едва ли не каждая статья любопытна, каждая вторая — открытие: еще бы, откуда узнать, как был устроен, например, караван-сарай? Иллюстрации, даже бедно воспроизведенные плохой краской на средней бумаге, значат не менее слов: так, в статье «Агитационный фарфор» тарелка работы младшего мирискусника С. В. Чехонина с надписью «РФР. Царству рабочих и крестьян не будет конца» дает понять, что такое агитация, и догадаться — что же такое искусство.

НЕИЗДАННЫЙ ФЕДОР СОЛОГУБ. М., «Новое литературное обозрение», 1997. (Б.т.).

Кто-то сказал: его стихи, когда бы ни сочинены, неотличимы. Сказано не в упрек, в похвалу. Парадокс: издай соловуговский многотомник (а такой обязательно должен явиться), увидишь то же — и в стихах, и в прозе он необыкновенно ровен, понятия «хуже», «лучше», «раньше», «позже» здесь неуместны. О том и дает представление объемистый том — тут собраны стихи, афоризмы, драма, письма, биографические материалы и воспоминания о писателе. Даже стихи о политике у столь, казалось бы, аполитичного сочинителя четко укладываются в общее целое. Они любопытны не выпадами против новой власти, а своевольностью, важной для автора «Творимой легенды», и намеренным выпадением из времени. Едва ли кто другой мог написать, педантично проставив снизу дату по старому и новому стилю — «19 декабря 1926 (1 января 1927)»:

Фараон, фельдфебель бравый,
Перекресток охранял.
И селедкой очень ржавой
Хулиганов протыкал.

Слава, слава фараону!
Многа лета ему жить!
Уважение к закону
Всем умеет он внушить.

Автор понимал значение странности в культуре, что видно хотя бы из его философского трактата: «Наша одежда безобразна. Обувь вся антиэстетична. Обувь не может восходить до совершенства. Ибо не имеет складок». Безусловно веря словесной точности, хочется возразить: а как же сапоги «в гармошку»?

Слонопотам ЛЬВОВ. ДРАЗНИЛКИ. Волгоград, «Станица», (б.г.). 5 000 экз.

Слонопотам Львов, он же Лев Слонопотамов, возник на страницах уже не существующего детского журнала «Простокваشا», где совершал много полезной работы: отвечал на письма, сочинял вступления и врезки. Придумывал он и дразнилки. И если в журнале он чувствовал себя вольготно, книжка — пусть самая маленькая — дело иное, недаром на задней обложке Слонопотаму приходится оправдываться: дескать, простите за плохое поведение, дразнилки — жанр фольклорный. Он прав, хотя и не в том, в чем хотел бы утвердить свою правоту. Сквозь надуманность, даже выдумку просвечивает истинная фольклорность, какую создает никто, аноним, а ценится она иногда чрезвычайно высоко.

У девочки Тани
Губы в сметане,
Нос в борще
И вообще!

Последняя строка по емкости своей, поэтической стати и неожиданности — почти законченный шедевр. Тут происходит выламывание из структуры классического стиха. И — прислушаться — можешь расслышать и лебядкинское лопотание, и стилизации обэриутов, и графоманское косноязычие, за которым вот-вот засияет невозможная свобода выражения.

В. В. РОЗАНОВ. ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ. М., «Республика», 1996. 10 100 экз.

Очередная книга из нумерованного собрания сочинений, куда вошли одноименная работа, «Литературные очерки» и статьи о писателях и писательстве, удивляет не тем, что Розанов, и противореча себе, последователен, пусть последовательность розановски разнонаправленна, удивляет количество созданного автором. Вероятно, и составитель не понимал, во сколько томов уложится собрание. Впрочем, подтверждается однажды сказанное тем же Розановым: русская литература — в первую очередь плод тяжелого труда.

Том ВУЛФ. ЭЛЕКТРОПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ КИСЛОТНЫЙ ТЕСТ. СПб., «Азбука — Терра», 1996. 10 000 экз.

Книга старая, ибо написана почти тридцать лет назад, и так же старо придуманное автором направление «новый журнализм», когда, применяя приемы художественной литературы, повествуют о действительно бывшем. Немолод теперь и главный герой — известный американский писатель Кен Кизи. Автор был прав тогда, в 1968-м: он заранее прощался с эпохой шестидесятых. Ныне его сочинение прочтает до конца едва ли не трудолюбивый историк. А время своехарактерно, недаром в послесловии российский критик, оговорившись, называет Джорджа Оруэлла — Джеймсом, ныне почти все равно. И не зря запоздавшее издание посвящено памяти Сергея Хренова и Сергея Курехина, лиц, известных в определенных кругах, — это свидетельство: кончилась еще одна эпоха. К счастью, в отличие от истории во времени не случается разломов.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ. В НАУКЕ Я ПРОСЛЫЛ ПОЭТОМ... Калуга, «Золотая аллея», 1996. 6 000 экз.

Он был гениальным ученым и поразительным человеком, но, несмотря на это, даже прочитав включенные в сборник отрывки из мемуаров и проект «Академия поэзии», при всей широте хронологии и тематики поражаешься неизбывной архаике поэтической речи. Впрочем, отдельные стихотворения и фрагменты по-настоящему хороши, явлены в слове, а того хватит.

В часы, когда Солнце вечернее — Атум —
Варит себе пищу в кипящих котлах
И пламенно-медные стрелы заката
Летят и сверкают в пылающих мглах, —

Драконы, чудовища, птицы и змеи,
Залитые кровью, стремятся в котлы,
И реют, и тают, огнем пламеня,
Среди огнедышащей розовой мглы...

Клайв БАРКЕР. КНИГА КРОВИ П. Жуковский, «Кэдмэн», 1996. 10 000 экз.

Сочинитель «страшных историй» скоро станет популярнее признанного умельца С. Кинга не только потому, что моложе, но и по той причине, что как литератор он умнее и сложнее соперника. Беллетристика давным-давно эксплуатирует современные мифы. Иногда она сама их порождает, но почти никогда не анализирует. Некоторые сочинения К. Баркера являются исключением. Если вспомнить превосходный рассказ «Запретное», искореженный в кинофильме «Кэндимен», — ведь сведение к рациональному разрушает легенду и сказку, — это утверждение делается очевидным. Мифический Конфетник, при появлении которого слышен гуд, ибо туловище его сгнило и в пустоте поселились пчелы, а вместо руки острый серп, не выдумка. Он плод городской среды, не отдельного сознания, страхов его и надежд, но и не явление бессознательного. Он — чаемое. Тут важно, где он явился. В районах богатых особняков совершенно иной фольклор, может быть, истории о привидениях и фамильном роке (даже если там живут нувориши). Конфетник вышел из районов серийной застройки. Здесь властвует тягостная усредненность, откуда людей и вырывает присутствие Конфетника. Люди боятся и жаждут его, он мессия, воздымающий среднего человека над собой посредством смерти. И в бессмысленном лозунге «Сладкое к сладкому» звучат ожидаемый лад, соответствие, гармония.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

*Читайте
в следующем номере*

книгу стихов ЮННЫ МОРИЦ
«ВЧЕРА Я ПЕЛА В ПЕРЕХОДЕ».

Музыка, лунный свет,
море у стен...
Некому слать привет —
край опустел.

Кладбищ цветут кусты.
Где криминал?..
Все времена чисты —
как времена.

Если остался здесь
кто-нибудь жив,—
бабочкой стал он весь,
чист и нелжив.

Крылья в золотой пыли,
лета слюда,
зверской мечты в лице
нету следа.

Кто-то завел часы,
по которым цветет лимон.
Все времена чисты —
после времен.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца 1997 года «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. «Родиться в России...» Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. Повесть.

Исаак ЗИНГЕР. Рассказы.

В. ЗУБЧАНИНОВ. Повесть о прожитом.

Всеволод ИВАНОВ. Дневники.

Вяч. Вс. ИВАНОВ. Воспоминания. Иосиф Бродский.

Борис Пастернак.

Юрий КАРЯКИН. Дневник русского читателя.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Письма к Господу Богу. Роман.

Александр МЕЛИХОВ. Высокая болезнь. Повесть.

Юнна МОРИЦ. Рассказы.

Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений. Рассказы.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки.

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ. Эссе.

Михаил ПРИШВИН. Дневники.

Михаил РОЩИН. Блок 1995–1996.

Уильям САРОЯН. Рассказы.

Алексей ЦВЕТКОВ. Просто голос. Поэма. Продолжение.

Асар ЭППЕЛЬ. Рассказы.

Следите за нашей рекламой!
